

Человек XV столетия: грани идентичности

Человек  
XV столетия  
грани  
идентичности



**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ**

**ЧЕЛОВЕК XV СТОЛЕТИЯ:  
ГРАНИ ИДЕНТИЧНОСТИ**

**Под редакцией  
А.А.Сванидзе и В.А.Ведюшкина**

**Москва  
2007**

**ББК 63.3**

**Ч 391**

**И**здание осуществлено в рамках программы фундаментальных исследований Отделения историко-филологических наук РАН «Власть и общество в истории»

**Рецензенты**

д.и.н. О.Е. Кошелева

к.и.н. Г.А. Попова

**Научно-организационная работа – А.А. Майзлиш**

При оформлении обложки использованы фрагменты росписи Беночцо Гоццоли в капелле палаццо Медичи-Риккарди во Флоренции. 1459-1460 гг.

**Ч 391    Человек XV столетия: грани идентичности. М.,**  
ИВИ РАН, 2007. – 301 с.

**ISBN 5-94067-214-0**

Сборник «Человек XV столетия: грани идентичности» включает материалы одноименной конференции, проведенной в Институте всеобщей истории РАН в 2006 г. Среди героев книги – короли и папы римские, аристократы и лидеры восстаний, гуманисты и чиновники, путешественники и историки. При всем тематическом разнообразии статей сборника их объединяет заостренность на актуальную в современном гуманитарном знании проблематику идентичности.

Для историков и всех интересующихся историей Средних веков.

© Институт всеобщей истории РАН, 2007

© Коллектив авторов, 2007

## ОГЛАВЛЕНИЕ

К читателю	3
<b>Государи, политики, аристократы</b>	
<i>Борисов Н.С.</i> Иван III и его окружение	9
<i>Щеглов А.Д.</i> Энгельбрехт Энгельбрехтссон: герой и его образ	17
<i>Бессуднова М.Б.</i> Верховный магистр Иоганн фон Тифен – «последний брат-рыцарь» во главе Немецкого ордена	26
<i>Ведюшкин В.А.</i> Труды и досуги маркиза Сантьяганы	43
<i>Майзлиш А.А.</i> Как Жан Бесстрашный стал фламандцем?	58
<i>Басовская Н.И.</i> Генрих V во Франции: нерожденная империя	69
<b>Идентичность и вера</b>	
<i>Логутова М.Г.</i> Фома Кемпийский: монах в гармонии с миром и с собой	81
<i>Курышева М.А.</i> Греческое монашество в Италии XV в.: способы сохранения идентичности	94
<i>Варьяш И. И.</i> Идентификация de morte	103
<i>Зеленина Г.С.</i> Две новохристианских семьи из Сьюдад Реаль: истинная идентичность и «видимое глазу»	118
<b>Мир чиновников</b>	
<i>Гусарова Т.П.</i> Дворянское «мы» в карьере Иштвана Вербеци (к вопросу о политическом самосознании венгерского дворянства на рубеже XV-XVI вв.)	135
<i>Цатурова С.К.</i> Танги дю Шатель и успешный заговор чиновников (рыцарь на службе короне Франции)	159
<i>Золотов В.И.</i> В споре с короной: королевский чиновник и рыцарь в поисках выбора на исходе Столетней войны	181
<b>Модели женской идентичности</b>	
<i>Суприянович А.Г.</i> Гендерный ракурс анализа идентичности английских визионерок второй половины XIV – первой половины XV в.	197
<i>Тогоева О.И.</i> Феномен Клод дез Армуаз и проблема самоидентификации французов XV в.	212

## **Люди знания**

<i>Юсим М.А.</i> Баттиста Альберти: человек и семья	229
<i>Брагина Л.М.</i> Маттео Пальмиери – флорентийский гуманист и историк	242
<i>Зарецкий Ю.П.</i> Зачем писать это? (Послание римского папы турецкому султану)	250
<i>Фомина Н.В.</i> Кастильские государи и аристократы XV в. глазами хрониста Фернандо дель Пульгара	273
<i>Крылова Ю.П.</i> Номпар де Комон: путешественник и моралист XV в.	292

## К читателю.

Предлагаемый вниманию читателей тематический сборник статей продолжает десятилетнюю традицию Отдела истории Средних веков и раннего Нового времени ИВИ РАН – исследовать человека в контексте его эпохи, его века. Этот шаг – третий по счету; ему предшествовали сборники «Человек XVI столетия» (М., 2000) и «Человек XVII столетия» (М., 2005). Каждый сборник являлся итогом конференции, материалы которой и составляли основу опубликованной книги.

Первый из них вырос из материалов секции большой конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного медиевиста М.М.Смирин. Сначала мы не имели в виду выделять в рамках секции «Человек XVI столетия» те или иные проблемы, и деление на рубрики возникло из желания как можно интереснее организовать статьи для публикации.

В процессе подготовки следующей конференции, посвященной человеку XVII столетия, мы пошли немного дальше и с самого начала предложили потенциальным участникам несколько рубрик, сформулировав их таким образом, чтобы, с одной стороны, они отражали специфику именно этого столетия, его место во всемирной истории, с другой же, оставляли максимальный простор для творческого поиска. Наличие интересных докладов по всем предложенным нами рубрикам и их оживленное обсуждение убедили нас в правильности нашего выбора.

Организуя третью конференцию, мы попытались объединить исследование человека в контексте его эпохи с еще одним направлением научной деятельности Отдела – изучением идентификации средневекового человека (в его рамках также была проведена конференция и подготовлен к печати сборник «Социальная идентичность средневекового человека»). На этот раз мы планировали сосредоточить внимание на множественности социальных, да и любых других ипостасей человека, на их соотношении друг с другом, на возможности человека выбирать ту или иную модель поведения в зависимости от ситуации, вплоть до возможности играть своими возможностями самоидентификации. Мы исходили из того, что в современном гуманитарном знании человек предстает гораздо более свободным в выборе идентичности, чем это было принято считать ранее. На наш взгляд, именно XV век предоставлял для такой свободы выбора особенно

широкие возможности. Это было время тяжелых потрясений, войн, усобиц и восстаний, масштабных перемен в жизни многих государств и на политической карте, время гибели Византии и, почти одновременно, впечатляющего возвышения России. XV век стал также эпохой глубокого обновления общества и культуры, эпохой раннего Возрождения, начала информационной революции в результате изобретения книгопечатания, Великих географических открытий, мощного религиозного движения нового благочестия.

Конференция, проведенная 28-29 ноября 2006 г. в нашем Отделе, в итоге получила название: «Человек XV столетия: грани идентичности». Географически были представлены почти все основные регионы Европы, включая Византию и Русь, но подавляющее большинство докладов было посвящено Западной Европе. Следует отметить, что заданное подзаголовком сужение проблематики конференции оказалось отчасти мнимым: уже в ходе подготовки к ее проведению материалы естественным образом вновь распределились по рубрикам, вполне сопоставимым с теми, которые были сформулированы для первых двух сборников; некоторые названия рубрик почти совпали. Вновь – и этого следовало ожидать – в центре внимания оказались государи и политики, чиновники, люди знания. Показательно, что вновь, как и в сборнике по XVII веку, в центре внимания нескольких участников оказались проблемы веры. Другими словами, мы лишний раз получили подтверждение, что проблематика идентичности максимально широка, что этот ракурс можно найти едва ли не в любой теме. И если какая-то ожидаемая тема так и не прозвучала, то это связано не с отсутствием в ней ракурса идентичности, а либо с тем, что у нас просто нет специалистов по той или иной теме, либо с тем, что организаторы, опасаясь чрезмерного расширения круга участников (что не оставило бы времени для обсуждения), недостаточно усердно искали потенциальных участников. Нам хотелось избежать перекоса в пользу того, что только рождалось, иными словами, найти баланс между «осенью Средневековья» и всем тем, что предвосхищало раннее Новое время. В итоге портретная галерея XV столетия в нашей – авторов и издателей – интерпретации оказалась хоть и не лишенной лакун, но все же достаточно представительной.

В.А.Ведюшкин

**Государи, политики,  
аристократы**



## Иван III и его окружение

Вопрос об отношениях «государя всея Руси» Ивана III с его окружением естественно начать с характеристики его отношений с ближайшими родственниками. Однако для правильного понимания этого вопроса необходим небольшой исторический экскурс.

Отношения Ивана с его родственниками стали равнодействующей нескольких векторов, один из которых – традиция московского княжеского дома, идущая от дедов и прадедов Ивана. Суть этой традиции состоит в том, что семейные отношения потомков Даниила Московского традиционно отличались каким-то патриархальным добродушием. Можно полагать, что у истоков этой традиции стоял сам Даниил, не пожелавший делить свое небольшое княжество на уделы между пятью сыновьями. Московская верховная власть изначально носила семейно-корпоративный характер. И в этом – одна из основ возвышения Москвы.

Между сыновьями Даниила случались конфликты. Александр и Борис Даниловичи однажды даже уезжали от Юрия в Тверь<sup>1</sup>. Но, в конце концов, всё как-то улаживалось. В этой семье не знали таких вещей как братоубийство или глубокий раскол.

Следующее поколение, три сына Ивана Калиты (Семен, Иван и Андрей), выполнили завет отца «житии за один»<sup>2</sup>. Они правили дружно, не позволяя неизбежным мелким конфликтам перерасти в серьезную уособицу.

Эту парадигму восприняли и представители третьего поколения московского дома. Дмитрий Донской имел споры со своим двоюродным братом Владимиром Серпуховским, но быстро гасил их путем переговоров и уступок. Владимир со своей стороны хранил верность Дмитрию как старшему в роде. Узнав однажды о готовящемся заговоре против Дмитрия, он задержал злоумышленников и отправил их на суд к брату<sup>3</sup>.

Понятно, что гармоничное решение данной проблемы облегчалось небольшим количеством московских князей. Однако и когда их стало больше, традиция «братолюбия» осталась.

Пять сыновей Донского помнили его завет – «а вы, дети мои, слушайте свое матери во всем»<sup>4</sup>. Равным образом соблюдалось и другое указание Дмитрия – чтить старшего

брата Василия как родного отца. При всей сложности отношений между пятью Дмитриевичами, они удержались не только от раскола, но даже от какого-либо серьезного конфликта.

Опасаясь распри между старшими сыновьями, простоватым Василием и даровитым, но младшим по возрасту Юрием, Дмитрий решил успокоить Юрия знаменитым распоряжением своего завещания: «А по грехом отъимет Бог сына моего князя Василья, а хто будет под тем сын мой, ино тому сыну моему княж Васильев удел»<sup>5</sup>.

При безусловном исполнении завещания Дмитрия Донского Москва избежала бы многолетней кровопролитной усобицы. Однако здесь в дело вмешалась новая линия семейной политики, которую можно условно определить как «литовский вектор».

Женившись на единственной дочери великого князя Литовского Витовта Софье, Василий попал под влияние супруги и ее могущественного отца. При московском дворе возникла целая «литовская партия», выступавшая за союзнические, и даже подчиненные отношения с Литвой. В этой политике была своя логика и свои резоны. Однако в данном случае нас интересуют прежде всего межличностные отношения.

Софья Витовтовна принесла в Москву новые подходы к решению семейных конфликтов. В Литве после смерти великого князя Ольгерда в 1377 году сложилась крайне сложная династическая ситуация. Источники сообщают, что у Ольгерда было двенадцать сыновей, а у его брата и соправителя Кейстута – шесть<sup>6</sup>. Борьба между наследником литовского престола князем Ягайло Ольгердовичем и его родственниками приняла необычайно ожесточенный характер. Вот лишь один эпизод этой кровавой саги.

В 1382 году Ягайло пригласил своего дядю Кейстута с сыном Витовтом на переговоры в Вильно, поклявшись обеспечить их безопасность. Однако вскоре по приезду Кейстут был схвачен, закован в цепи, отвезен в замок Крево и там заточен в башне. На пятую ночь заточения Кейстут был задушен по приказу Ягайло.

Через несколько дней после убийства Кейстута в Крево привезли и Витовта. Здесь схваченные вместе с ним бояре из его свиты были казнены. Двоих колесовали, прочих обезглавили<sup>7</sup>. Сам Витовт был помещен под крепкой стражей в одном из помещений замка. Несомненно, его ожидала

судьба отца. Однако при помощи одной из служанок Витовт сумел бежать из заточения, переодевшись в женское платье. Он спустился по веревке со стены замка и, ускользнув от погони, бежал в Мариенбург, под защиту немецких рыцарей. Собрал там войско, он вскоре начал войну против Ягайло<sup>8</sup>.

Отстаивая интересы своих сыновей, Софья была главным сторонником нарушения предсмертных распоряжений Дмитрия Донского. Кажется, сам Василий не был вполне уверен в правильности такой политики и в духовных грамотах оставлял решение этого вопроса на волю Божию. «А даст Бог сыну моему великое княжение, ино и яз сына своего благословляю, князя Василья»<sup>9</sup>.

Из пятерых сыновей Василия и Софьи трое умерли в детстве. Сын Иван, который мог быть наследником Василия, умер в июле 1417 года при неясных обстоятельствах в возрасте 21 года. Смерть нашла его где-то в дороге между Коломной и Москвой. Теперь все честолюбивые мечты Софьи были связаны с «последышем» Василием. Она родила его в возрасте не менее 40 лет и, по свидетельству летописей, едва не скончалась во время родов.

До рождения «последыша» Василия Софья уже лет десять не производила на свет детей. При этом она вела активный образ жизни: периодически ездила на встречи со своим отцом Витовтом в Литву, участвовала в решении политических вопросов. Вероятно, и в повседневной жизни Софья позволяла себе гораздо больше самостоятельности, чем обычные княжеские жены.

В замкнутой теремной обстановке тех лет любое отклонение от нормы в поведении женщины рассматривалось как аморальное. Впрочем, ничто не заставляет нас думать, будто все русские княгини той эпохи блюли супружескую верность столь же строго, как Юлиания Вяземская.

Так или иначе, но Софья пользовалась у современников репутацией распутницы. Тверской летописец, сообщая о женитьбе Василия на дочери Витовта, саркастически замечает: «Софию поня добрую; добрый нрав име отцев, не сыта бе блуда»<sup>10</sup>.

Всё это можно, конечно, отнести на счет клеветы недругов Софьи. Однако если это и была клевета, то она так крепко въелась в историческую память московского двора, что дожила до времен Сигизмунда Герберштейна, который

внес в свои рассказы о старых московских правителях примечательную фразу.

«Этот Василий Дмитриевич оставил единственного сына Василия, но не любил его, так как подозревал в прелюбодеянии свою жену Анастасию<sup>11</sup>, от которой тот родился; поэтому, умирая, он оставил великое княжение Московское не сыну, а брату своему Георгию»<sup>12</sup>.

Как бы там ни было, но, судя по всему, над головой Василия Темного всю жизнь висело это страшное подозрение. Возможно, именно здесь кроется одна из причин феодальной войны. Московская знать осуждала Софью и не была вполне уверена в происхождении наследника Василия.

Здесь же мы можем найти объяснение некоторым нелепым и прямо вредным для московского дела поступкам Софьи Витовтовны. Так например, скандал с поясом Василия Косого, снятого с него по приказу Софьи на свадьбе Василия II, может быть понят только как всплеск ярости, вызванный какой-то оскорбительной фразой галицкого князя относительно жениха.

Именно Софья Витовтовна, правившая от имени Василия II, ввела в обиход свирепую византийскую казнь своих соперников. Слепление боярина Всеволожского (1433), слепление Василия Косого (1436) – всё это было сделано по воле Софьи.

О том, какую реакцию должна была вызвать *такая* казнь сородича в среде Рюриковичей, свидетельствует известная летописная Повесть об ослеплении Василька Теробовльского. «Сего не было есть у Русьской земли ни при дедех наших, ни при отцех наших сякого зла», – восклицает брат несчастного Василька князь Володарь Ростиславич<sup>13</sup>. Он призывает князей хоть как-то «поправить сего зла», иначе «болше зло встанеть в нас и начнет брат брата заколати, и погыбнетъ земля Русьская»<sup>14</sup>.

Ослепление самого Василия Темного в феврале 1446 года стало исполнением этого грозного пророчества. Слепив Василия, Дмитрий Шемяка упустил свой шанс войти в историю Москвы как человек не только храбрый, но и великодушный. И московские книжники воздали ему по делам его. В летописном рассказе об ослеплении Василия Темного Шемякой явственно заметны параллели с Повестью об ослеплении Василька Теробовльского.

Однажды перейдя черту и «ввергнув нож» в семейный круг, Василий уже не знал пределов жестокости. Он «заказал» убийство Шемяки в Новгороде при помощи медленно действующего яда. Незадолго до кончины он устроил свирепую расправу над участниками заговора, имевшего целью освободить из темницы князя Василия Ярославича Серпуховского. Москва содрогнулась от невиданной прежде изощренной казни. Осужденным отрубали руки и ноги, отрезали носы, волочили по льду, привязав к конским хвостам. Когда Василий скончался, один московский книжник снабдил известие о его кончине лаконичной заметкой на полях: «Иуда душегубец, рок твой пришел!»

Судьба князя Василия Ярославича – верного сторонника Василия Темного в период феодальной войны, родного брата великой княгини Марии Ярославны – еще одна вырванная страница в семейной хронике московского княжеского дома. 10 июля 1456 года Василий был арестован в Москве и отправлен в заточение в Углич. Позднее он был переведен еще дальше от Москвы – в Вологду. Проведя в темнице в общей сложности 27 лет, серпуховской князь скончался зимой 1483 года. Какой же тяжелой должна была быть вина серпуховского князя, чтобы обеспечить ему пожизненное тюремное заключение? Возможно он знал и высказал вслух что-то сокровенное, глубоко задевшее Василия Темного и не безразличное для его сына – государя всея Руси Ивана III...

Конечно, можно свести всё к борьбе за земли, за уделы, за московское «собрание Руси». Однако неугодных князей вполне можно было отправить за рубеж. Многие из них спокойно жили в Литве, не представляя для Москвы никакой серьезной опасности.

Отмечая нарастание жестокости в семейных спорах потомков Калиты и связывая этот процесс, прежде всего, с фигурами Софьи Витовтовны и Василия Темного, мы в то же время должны признать, что и традиционное московское добродушие по отношению к сородичам-соперникам еще под сурдинку дает о себе знать. Примечательно, что, упрятав неугодного в темницу, Василий Темный (а стало быть, и Софья Витовтовна, влиявшая на поведение сына вплоть до своей кончины в 1453 году) создает ему там условия для выживания. Известно, что при желании узника можно было уморить суровым режимом в течение нескольких месяцев.

Однако Василий Косой провел в тюрьме 12 лет, а Василий Ярославич Серпуховской – 27.

Итак, наследственная традиция, служившая Ивану основным материалом для построения собственных отношений с окружением, была достаточно разнообразной. Он мог выбирать из нее то, что считал наиболее соответствующим своим целям.

Марк Блок любил повторять древнюю мудрость: «Люди больше походят на свое время, чем на своих отцов»<sup>15</sup>. Разумеется, и московский князь Иван был пленником своего времени. И отношения с окружением он строил прежде всего на тех принципах, которые были созвучны его времени.

Стержнем всего являлось послушание, точное исполнение распоряжений государя. Его абсолютная и вездесущая власть оправдывалась представлением о Русской земле как исконной вотчине предков Ивана. Впрочем, в необходимости подчиняться московскому государю сильнее всех теорий убеждали предложенные им грандиозные «национальные проекты»: подчинение Казани, отпор Большой Орде, покорение Новгорода и Пскова, завоевание Твери и Вятки, возвращение к древним границам «всая Руси» и т.д.

Иван убеждал своих подданных, и в первую очередь свое окружение в том, что только жесткая централизация, неограниченное самодержавие могут обеспечить успех этих головокружительных замыслов.

Многочисленным родственникам Ивана (женам, детям, братьям, внукам) категорически воспрещалось самоуправство. Склонная играть роль самостоятельной «гранд-дамы» Софья Палеолог не раз получала от Ивана болезненные удары по самолюбию. (Примером может служить история с драгоценностями первой жены Ивана Марьи Борисовны). Династический кризис 90-х годов настолько ухудшил отношения между Иваном и Софьей, что великий князь совершенно отдалился от нее, опасаясь отравления.

Старшего сына Ивана Молодого за неподчинение приказу отца во время «стояния на Угре» Иван велел заковать в цепи и в таком виде доставить в Москву.

Младшие братья Ивана постоянно подвергались унижениям, а их традиционные права грубо нарушались. Естественно, Васильевичи роптали. Самый дерзкий из них, Юрий, внезапно умер в расцвете сил в 1472 году. Другой

брат, честолюбивый Андрей Угличский, осенью 1491 года был обманом завлечен в Москву, арестован и брошен в темницу по ложному обвинению в измене. Там, в темнице он и умер два года спустя. Два оставшихся брата, трусоватый Борис Волоцкий и простоватый Андрей Вологодский смирились со скромной ролью послушных порученцев.

Единственный член семьи, которого Иван не мог подчинить своей гнетущей воле, была его мать княгиня Мария Ярославна. Пока она была жива, Иван, опасаясь материнского проклятья, не решался на расправу с Андреем Угличским - любимцем старой княгини.

Отношения Ивана с московской аристократией также стремились к идеалу беспрекословного повиновения. Однако до идеала было еще очень далеко. Корпоративная солидарность правящего класса не позволяла государю действовать безоглядно. С другой стороны, сложность и масштабность стоявших перед молодым московским государством задач требовала консолидации правящего класса. Наконец, сам государь не имел серьезной социальной базы для борьбы с могущественным боярством.

В итоге, Иван старался держать аристократию в узде, время от времени нанося «точечные» удары по наиболее выдающимся фигурам из ее рядов. Так в 1463 году был схвачен и ослеплен Федор Басенок – знаменитый московский воевода, совершивший много подвигов на службе Василию Темному. О причинах страшной кары источники не сообщают.

В 1474 году был арестован князь Данила Холмский – лучший полководец Ивана III. Только поручительство бояр и митрополита позволило ему выйти на свободу. В 1486 году был взят под сражу и сослан в Вологду другой брат – Михаил Холмский. Известны и другие аресты высокопоставленных лиц по приказу «государя всея Руси».

Особого внимания заслуживают отношения Ивана III с многочисленными иностранцами, жившими тогда в Москве. Известно, что Иван любил и ценил мастеров своего дела. Умный и любознательный от природы, он мог подолгу беседовать с бывалыми и много повидавшими людьми. Особым его расположением пользовался Аристотель Фиораванти, для которого Иван даже выстроил дом рядом со своим дворцом.

Однако и в отношениях с иностранцами краеугольным камнем оставалось безусловное повиновение. Когда Иван в 1483 году разрешил служившим ему татарам казнить придворного врача немца Антона, обвиненного в умышленном погублении одного мурзы, жившие в Москве иностранцы во главе с Аристотелем Фиораванти собрали деньги и выкупили у татар своего собрата. Узнав о том, что его распоряжение так или иначе не исполнено, Иван пришел в ярость. Врач был вновь отдан на казнь татарам, а Фиораванти арестован и лишен всего имущества<sup>16</sup>.

Подводя некоторые итоги, можно сказать, что в самоидентификации Ивана III явно заметна некоторая раздвоенность. С одной стороны, он сознает себя звеном в цепи поколений московского княжеского дома, помнит заветы своих дедов и прадедов относительно единства семьи и недопустимости братоубийства. В его беспощадных расправах с сородичами порой сверкает слеза раскаяния.

С другой стороны, он чувствует себя как бы подрядчиком на строительстве величественного здания, архитектор которого – Бог. Исполняя божественный замысел, он не остановится и перед тем, чтобы, если понадобится, замуровать в стены этого здания своих собственных детей и братьев. И сделать это Ивану было тем проще, что в его жилах текла холодная и темная кровь его отца – князя Василия Темного.

---

<sup>1</sup> Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). Т. 18. С. 86.

<sup>2</sup> Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV – XVI вв. М. – Л., 1950. С. 14. (Далее – ДДГ).

<sup>3</sup> ПСРЛ. Т. 11. С. 43, 45; Татищев В. Н. Собрание сочинений в 8 томах. Т. V-VI. М., 1996. С. 137 – 138.

<sup>4</sup> ДДГ. С. 36.

<sup>5</sup> ДДГ. С. 35.

<sup>6</sup> ПСРЛ. Т. 17. Стб. 154.

<sup>7</sup> ПСРЛ. Т. 17. Стб. 89.

<sup>8</sup> ПСРЛ. Т. 17. Стб. 160-161.

<sup>9</sup> ДДГ. С. 61.

<sup>10</sup> ПСРЛ. Т. 15. Стб. 445.

<sup>11</sup> Имеется в виду Софья.

<sup>12</sup> Сигизмунд Герберштейн. Записки о Московии. М., 1988. С. 65.

<sup>13</sup> ПСРЛ. Т. 2. Стб. 236.

<sup>14</sup> ПСРЛ. Т. 2. Стб. 236.

<sup>15</sup> Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1986. С. 23.

<sup>16</sup> ПСРЛ. Т. 6. С. 235.

**Энгельбрект Энгельбректссон: герой и его образ.**

Восстание 1434-1436 гг. под руководством Энгельбректа Энгельбректссона – веха шведской истории, одно из важнейших событий шведского Средневековья. Оно сыграло значительную роль в формировании политических, правовых и идеологических традиций позднесредневековой Швеции, а в Новое время стало символом борьбы шведов за социальные права, политические свободы и законность. Неудивительно, что его предводитель – один из наиболее чтимых исторических деятелей Швеции и едва ли не главный средневековый герой этой страны.

Документальные источники по истории восстания немногочисленны: около двух десятков документов – писем, резолюций, шведско-датских соглашений. Часть этих источников тенденциозны, освещают события сквозь призму официальной пропаганды или политических требований восставших. Но есть источник, содержащий подробный рассказ о движении 1434-1436 гг. – стихотворный памятник XV в. – «Хроника Энгельбректа»<sup>1</sup>.

Хроника начинается с обещания поведать о бедствиях шведов:

Не хотите ль услышать  
о чудесах, что мы здесь опишем,  
подробно и без утайки поведав  
о многих страданиях и бедствиях шведов?  
Так однажды случилось:  
датчанка в Швеции воцарилась.  
Королеву ту Маргаретой звали.  
Другую такую вы б не сыскали:  
ведь так умна она была,  
что подчинить себе смогла  
Швецию, Данию и Норвегию.  
Другой такой долго не будет, наверное.  
Шведы глупо тогда поступили,  
что женщину эту на трон пригласили.  
Разум тогда их вовсе оставил:  
королевство никто из них не возглавил.  
Притом отошли от закона страны,  
о чем и жалеть были долго должны.  
Велит же шведский закон,  
что иноземец не может взойти на трон.

Маргарета, придя к власти, стала ущемлять интересы шведов, а затем навязала им короля – померанского герцога Бугислава, принявшего в Дании имя Эрик. Далее в хронике говорится о противоречиях между датским режимом и различными сословными группами Швеции. Это и жестокие, бесславные, ненужные для Швеции войны, в которых шведы были вынуждены участвовать. Это и раздача замков и ленов иноземцам. Это и пренебрежение Эрика Померанского государственными интересами Швеции, нежелание короля совещаться с государственным советом – риксродом. Король грабил страну, вывозя в Данию весь собранный налог. Он навязывал шведскому духовенству жестоких и безнравственных епископов и архиепископов – датчан по происхождению:

Имел капеллана он одного –  
герр Аренд Клемитсон звали его.  
Хуже мошенника мир не видал –  
всей своей жизнью он то доказал.  
Пьянству он отдавался,  
разврату он предавался.  
Много он пиратов отправил  
на море: купцов непрестанно он грабил.  
Пираты у тех все добро отбирали,  
самих же нередко за борт бросали.  
Добро, что пираты разбоем добыли,  
с ним пополам непременно делили.  
Часто клялся он кровью и смертью Христа:  
то-то совесть мерзавца была нечиста.

Эрик Померанский поставил под угрозу государственную независимость Швеции, сделав право распоряжения замковыми ленами наследственным правом померанских герцогов.

Вы, думаю, поймете вскоре,  
в чем главное было для шведов горе:  
Свободно он Швецию получил,  
а получив ее, так порешил:  
когда умереть его срок придет,  
к наследникам Швеция перейдет.  
О замках, полученных им во владенье,  
новое сделал он распоряженье:  
герцог Буггеслеф их обретет  
в том случае, если король умрет.  
Если ж, однако, умрет и он,  
все ж будет Швецией править грифон<sup>2</sup>.

Хотел он, чтоб силы у шведов не стало,  
чтоб больше уж Швеция не восстала,  
хотел, чтоб ослабла шведов земля,  
чтоб шведам уж не избирать короля,  
как избирали они испокон  
и как велит им шведский закон.

В довершение всего, управители – фогды короля Эрика, при попустительстве со стороны короля, притесняли шведских купцов и крестьян. Притеснения крестьян одной из шведских областей – Даларны привели к восстанию жителей этой области. Восставшие избрали вождем Энгельбректа Энгельбректссона – «достойного человека, ранее взявшего на себя роль заступника бондов перед королем».

Восстание перекинулось на соседние области, жители которых признали над собой власть Энгельбректа. Он стал хёвитсманом – правителем (буквально: главой, предводителем). К Энгельбректу присоединилась часть верхнешведской аристократии. Повстанцы захватили замки, охраняемые гарнизонами фогдов и ленников короля. В результате нажима и угроз со стороны лидеров восстания, к движению примкнули члены риксрода – государственного совета Швеции:

Энгельбрект отправился в Вадстену сам  
навстречу прибывшим господам.

Едва он в Вадстене очутился,  
к членам риксрода он обратился:

«Все вы королевству должны послужить,  
если хотите жить.

И могу вам сказать –  
свободу Швеции сможем мы отвоевать.»

Ответили те, что на то не пойдут,  
от короля они не отойдут.

Энгельбрект их просил королю объявить,  
что ему они больше не будут служить:

«Ведь вам он немало зла причинил,  
воистину всякий бы то подтвердил.»

Поспешно они ответили «нет».

Энгельбрект за горло схватил их в ответ.

Епископа Кнута велел он схватить  
и в руки народа немедля вручить.

Епископа скарского Сигге  
такая же участь постигла.

С епископом Томасом тоже  
они поступили похоже.

А вслед за ним и других схватили.  
Тогда они все Энгельбректа молили  
взять их в полон, только лишь не казнить:  
каждый хотел свою жизнь сохранить.  
Клятву на верность Швеции заставил он их принести,  
коль жизнь желают они спасти.  
Они ему поклялись тогда  
шведского права держаться всегда  
Энгельбрект затем предписал,  
чтоб риксрод письмо написал,  
что все, кто на встрече в Вадстене были,  
между собою так порешили:  
королю не будут они больше службу нести,  
свой закон они будут блюсти.  
Присягу они свою разрывают,  
верность хранить королю не желают,  
за все то зло, что стране причинили,  
о коем не раз ему говорили.  
Каждый печать свою поставил.  
Энгельбрект письмо королю отправил.

В ответ король Эрик Померанский с большим войском  
прибыл морем в Швецию. Между ним и восставшими нача-  
лись переговоры, было подписано перемирие, а затем и  
мирный договор.

Однако вскоре король нарушил установленные в дого-  
воре обязательства. Начался второй этап восстания. Отряды  
шведов, возглавляемые Энгельбректом и его временным со-  
юзником Карлом Кнутссоном (будущим правителем, а затем  
королем Швеции) выступили в поход на Стокгольм и при  
поддержке городской бедноты овладели городом.

Вскоре у Энгельбректа возникли противоречия с ари-  
стократами – отцом и сыном Бенгтом Магнуссоном и Магну-  
сом Бенгтссоном из знатного шведского рода Натт-о-Даг.  
Воспользовавшись болезнью Энгельбректа и его вынужден-  
ным ночлегом на острове в озере Ельмарен, Магнус Бенг-  
тссон предательски убил лидера восставших.

Топор в руке Магнус Бенгтссон нес,  
им он удар Энгельбректу нанес.  
Шутить с Энгельбректом он не собирался.  
Энгельбрект защититься пытался  
костылем, что в руках его был.  
Три пальца Магнус ему отрубил.  
Энгельбрект тогда отвернулся.

Во второй раз злодей размахнулся,  
ударил его изо всех он сил,  
в шею топор глубоко вонзил.  
Третий удар ему он нанес,  
вонзил топор в голову, в самый мозг.  
И пал Энгельбрект, герой прекрасный,  
о камень челом ударился ясным.  
Так убийство то совершилось.  
Много стрел затем в мертвое тело вонзилось.  
То скорбью для Швеции будет всегда,  
как злодейски его убили тогда.  
Воистину, мук тех он не заслужил:  
жизни для Швеции он не щадил.  
За эту доблесть и много других  
должен был избежать он страданий таких.  
Господь, дай ему то, что он заслужил  
за то, что он Швеции верно служил.  
Дева Мария, молитвой святой  
содей душе его дар неземной.  
Святые, пекитесь о нем непрестанно,  
Бога молитесь о нем неустанно!  
Так героя смерть наступила.  
Пред Invençio crucis то, в пятницу, было.  
С Рожденья Христова в четырнадцать сот  
Тридцать шестой то случилось год.

О происхождении Энгельбректа известно не много. Предки его были осевшими в Швеции и ассимилированными немцами, имели распространенный в Швеции того времени статус – бюргеров Вестероса и горных мастеров горно-рудного района – Бергслагена. Отец Энгельбректа уже являлся представителем привилегированного сословия – фрэльсе; таким образом, род был аноблирован. Сам Энгельбрект, по свидетельству документальных источников, являлся бергсманом – горным мастером и одновременно помещиком, имел предприятие на собственной земле. Как представитель фрэльсе, он имел печать с личным гербом. Имеются сведения, что он воспитывался в доме некоего высокопоставленного человека. Возможно, там он получил навыки политического и военного руководства, которые ему впоследствии пригодились.

Итак, Энгельбрект был близок различным слоям Швеции: мелкому и среднему дворянству (представителем которого был он сам), бюргерству, горным мастерам, а также,

частично, магнатам. Он был своим человеком и в среде свободных крестьян – бондов, пользовался у них уважением, умел находить с ними общий язык.

После трагической смерти Энгельбректа началась долгая история складывания и развития посмертного мифа о нем<sup>3</sup>. В памятнике шведской анналистики – Вадстенском диарии сообщалось, что тело Энгельбректа в церкви города Эребру, где он похоронен, излучает сияние. В одной из хроник XVI в. написано: к могиле Энгельбректа стали стекаться паломники-крестьяне. Все же подобные упоминания немногочисленны и свидетельствуют, пожалуй, не столько о посмертном культе Энгельбректа как святого, сколько о попытках его создать, а также о почитании Энгельбректа как героя.

Образ Энгельбректа в самой хронике противоречив. Его действия включали откровенные угрозы и насилие. Но он, как подчеркивает хроника, боролся за правое дело. При этом он был близок как к элите, так и к народу, вел народную войну.

Интересна последующая эволюция образа Энгельбректа. Прежде всего, здесь следует назвать «Песнь о свободе», созданную около 1439 г. стренгнесским епископом Томасом – участником восстания и сторонником Энгельбректа. Там говорится: Бог послал шведам Энгельбректа – маленького человека, наделенного многочисленными достоинствами, чтобы тот освободил Швецию, страдавшую под властью Эрика Померанского, как народ Израиля – под властью фараона. Схожий идеализированный образ вождя повстанцев содержится в произведениях двух знаменитых хронистов XV в. – шведа Эрикуса Олаи и немца Хермана Корнера. Оба автора также проводят параллели с библейскими сюжетами; в частности, Корнер сравнивает Энгельбректа с ветхозаветным Саулом.

Иной образ мы видим в произведении XVI в. – «Шведской хронике» богослова, реформатора и историка Олауса Петри. Энгельбрект, утверждает автор, возглавил восстание из-за личной обиды, полученной от Эрика Померанского. Восстание стало закономерным итогом страданий народа, притесняемого Эриком Померанским и его управителями. И все же оно не было оправданным: не следует восставать даже против плохого короля. На примере Энгельбректа видно, что людей, восстающих против законного государя, ждет печальный конец: «Такова была кончина Энгельбректа, и если её расценивать как награду за освобождение королевства от

рабства, в котором оно пребывало, то плохо же он был вознаграждён – особенно в том смысле, что за его смерть не последовало никакого наказания. Кто-то посчитал невеликим ущербом, что Энгельбрект убран с дороги. И следует признать Энгельбректа мятежником против законных властей. Так и все мятежники могут видеть на его примере, что ждёт под конец их самих».

Совершенно в иных тонах описывают лидера восстания 1434-1436 гг современники Олауса Петри – братья Олаус и Иоханнес Магнусы. Особенно в творчестве последнего вновь дается идеализированный образ Энгельбректа – борца за свободу, законность и, как многократно подчеркивается этим автором, – против тирании. Последнее обстоятельство симптоматично. Прошло более ста лет, сменилась, по существу, эпоха, и изменилось восприятие знаменитого восстания. На первое место выходят распространившиеся в среде скандинавской элиты ренессансные представления о человеке, его свободе, достоинстве. И столь разные авторы, как Олаус Петри и братья Магнусы, рассматривают личность и деятельность Энгельбректа во многом именно с этих позиций.

В свою очередь, в исторических исследованиях Нового времени трактовка восстания претерпела значительную эволюцию, став предметом бурных дискуссий. В романтической, а затем в либеральной историографии восстание расценивалось как мощное народное движение, направленное против датского владычества. Аристократы, по мнению многих авторов XIX – начала XX в., предали интересы национально-освободительной борьбы и пошли на сговор с датским королём, способствуя сохранению унии с Данией. Либеральные историки при этом подчеркивали, что Энгельбрект – основоположник шведского всесословного собрания – риксдага<sup>4</sup>.

Современная историография внесла в представления о восстании Энгельбректа значительные коррективы. Историки пришли к выводу, что во взрыве народного возмущения повинна политика Эрика Померанского, которую претворяли в жизнь его фогды. По свободному крестьянству, бюргерству, светскому фрзельсе и церкви ударили экономические и политические мероприятия короля: девальвация денег и налоговая реформа, экстраординарные налоги и повинности, связанные с войнами, которые король Эрик вел против Голштинии, где Швеция не имела своего интереса, и против ганзейцев, что прямо противоречило интересам шведов. Войны

Эрика Померанского с ганзейскими городами негативно сказались на экономике Швеции, имевшей тесные торговые связи с Ганзой. Вот почему восстание началось именно в Даларне: ганзейская торговая блокада имела крайне отрицательные последствия для экспорта продукции горнорудных промыслов, которые составляли основу экономики области. Но у движения были и причины в верхах. Знаменательно, что восстание 1434 г. в Даларне вспыхнуло и превратилось в общешведское после того как в Швеции разразился острейший политический кризис, связанный с выборами нового архиепископа. Не желая повиноваться кандидату в архиепископы, навязанному королем, лидеры шведского духовенства, поддержанные частью светской аристократии, открыто выступили против Эрика Померанского.

В целом, несмотря на разногласия касательно гегемона и движущих сил движения, современные историки констатируют значительность роли шведской аристократии в восстании, которое, очевидно, не имело целью выход Швеции из Кальмарской унии, а было направлено против экономического и политического гнёта Эрика Померанского и против нарушения им прав шведов, в первую очередь – прав шведской аристократии.

И восстание, и его вождь были многогранны, противоречивы. Не удивительно, что образ Энгельбректа и его движения в Новое время использовали различные политические силы – и правые, и левые, и умеренные, и радикальные. При этом нередко политическая пропаганда шла рука об руку с историографией.

Так, образ восстания и его вождя использовали шведские марксисты – и в политической пропаганде, и в историографических трудах. В представлении марксистов, движение, возглавленное Энгельбректом, явилось мощной вспышкой классовой борьбы. По мнению некоторых авторов, оно даже было социальной революцией – правда, потерпевшей поражение. Для либералов Энгельбрект являлся героем-освободителем, стоявшим у истоков всеобщих собраний – риксдагов (и вообще у истоков политических свобод). А в годы второй мировой войны образ стал ассоциироваться с национал-социализмом: крупный шведский историк, симпатизировавший немецким нацистам, сравнил Энгельбректа с Гитлером, высоко оценив заслуги обоих вождей.

В России начало изучению тематики, связанной с восстанием Энгельбректа, положили работы А.А. Сванидзе. Ин-

терес к этой проблематике еще более усилился в связи с выходом комментированного перевода «Хроники Энгельбректа». Любопытны отклики: в частности, читатели отмечали, и справедливо, что у шведов есть стихотворная версия средневековой истории их страны<sup>5</sup>.

В последние годы внимание к Энгельбректу и возглавленному им восстанию не ослабевает. Так, в небольшой книжке современного шведского медиевиста У.Ферма требования повстанцев рассматриваются как веха в становлении национального самосознания. Этот подход заслуживает особой подробной дискуссии. Появилась рок-песня об Энгельбректе – и привлекла к себе внимание не только шведской, но и российской молодежи. В этой песне Энгельбрект, вполне в традиционном ключе, восхваляется как вождь повстанцев, национальный герой. История образа продолжается.

---

<sup>1</sup> Новейшая публикация подлинника: Engelbrektskrönikan / Redigering, inledning och kommentar S.-B. Jansson. Stockholm, 1994. Хроника сравнительно недавно опубликована в русском переводе автора: Хроника Энгельбректа / Пер., послесловие, коммент. А.Д. Щеглова. [Отв. ред. А.А. Сванидзе]. М., 2002 (Доп. тираж: М., 2003). Далее цитаты из Хроники Энгельбректа приводятся в этом же переводе.

<sup>2</sup> Герб померанских герцогов.

<sup>3</sup> Подробную документацию, обзор источниковедческих и историографических дискуссий и другие дополнительные сведения см.: Хроника Энгельбректа. С. 80 – 159.

<sup>4</sup> В действительности, т.н. первый шведский риксдаг (январь 1435 г.) представлял собой собрание непримиримых оппозиционеров, на котором Энгельбрект, если верить хронике, был провозглашен правителем Шведского королевства.

<sup>5</sup> Совокупность рифмованных хроник (в том числе «Хроники Эрика» и «Хроники Энгельбректа»), которые в позднее Средневековье были сведены в единое произведение – т.н. Большую рифмованную хронику.

**Верховный магистр Иоганн фон Тифен –  
«последний брат-рыцарь» во главе Немецкого ордена**

Пятнадцатый век многое изменил в положении Немецкого духовно-рыцарского ордена и «орденских государств» (Ordensstaaten), основанных им двумя столетиями раньше в Пруссии и Ливонии. Сложное взаимодействие общеевропейских и региональных привязок, которое Х. Бокман и У. Арнольд обнаружили в сознании рыцарей Немецкого ордена XIII-XIV вв., в XV в. сменилось ощущением привязанности к месту своей службы и конкретному региону<sup>1</sup>. Роковые последствия Грюнвальдской битвы (1410) и первого Торуньского мира (1413) серьезно повлияли на положение дел в Пруссии, где против владычества ордена поднялась оппозиция дворянства и городов, но лишь в незначительной мере затронули его ответвления в империи и Ливонии. Для имперского подразделения особую актуальность приобрела задача сохранения принадлежащей ему земельной собственности, на которую покушались имперские князья; Ливония же пребывала в ожидании исхода векового конфликта между Немецким орденом и местным епископатом. После подписания верховным магистром Людвигом фон Эрлихсхаузеном в 1466 году второго Торуньского мира с Польшей, условия которого лишали Орденскую Пруссию значительной части ее территорий и ставили в зависимость от Польской короны, Немецкий орден полностью утратил свое первоначальное единство. В 1470 г. в последний раз имело место назначение магистра для Ливонии; тогда же, видимо, перестали созывать генеральные капитулы и прекратились «визитации», инспекционные поездки эmissаров верховного магистра по периферийным конвентам, в ходе которых составлялись отчеты о численности их личного состава и материальной обеспеченности.

За последние четыре десятилетия зарубежные специалисты, изучающие социальные аспекты развития Немецкого ордена (М. Хельман, К. Гурский, П. Морав, Д. Войтечки, М. Бискуп, З.Х. Новак, К. Милитцер и др.), собрали обширный материал, свидетельствующий о качественном изменении всей системы общежития, которая была заложена в основу этой корпорации в момент ее формирования. Многофункциональные административные структуры «орденских государств» предлагали широкий спектр возможностей для ры-

царей из Германии. Их массовый приток в орден в XIV-XV вв. превратил Немецкий орден в «приют (Spital) бедного немецкого дворянства», вследствие чего прием рыцарей в орден стал осуществляться с учетом их регионального и социального происхождения. Теперь брат-рыцарь Немецкого ордена в обязательном порядке должен был являться уроженцем Германии и потомственным дворянином. Должность, которую по вступлении в орден получало большинство рыцарей и которая ранее воспринималась как форма благочестивого служения, теперь стала главным средством обеспечения (Versorgung) их материальных и социальных запросов, разновидностью собственности, на которой вскоре замкнулся круг их жизненных интересов (Versorgungsgedanken)<sup>2</sup>. Разлагающее воздействие, оказываемое на духовно-рыцарскую корпорацию распространением подобных представлений, пытались нейтрализовать верховные магистры Вернер фон Орзельн (1324-1330), Лютер Брауншвейгский (1331-1335), Винрих фон Книпроде (1351-1382), Пауль фон Русдорф (1422-1441) и Конрад фон Эрлихсхаузен (1441-1449), чьи реформы стали заметными явлениями в жизни Немецкого ордена XIV-XV вв. Последняя попытка такого рода имела место в 1492 г. и была связана с именем верховного магистра ордена Иоганна фон Тифена (1489-1497).

Еще в начале XIX века на деятельность этого магистра обратил внимание И. Фойгт, обнаруживший в недрах Кенигсбергского архива протокол заседания капитула Немецкого ордена 1492 г., на котором обсуждался проект предложенных Тифеном реформ<sup>3</sup>, но потом интерес историков к этой личности заметно угас. В XX в. его политика лишь дважды становилась объектом исторического исследования. Л. Дралле посвятил реформе Тифена несколько страниц одной из своих книг<sup>4</sup>, а потом составил небольшой биографический очерк для справочного издания «Верховные магистры Немецкого ордена за 1190-1994 годы»<sup>5</sup>. После него польский историк М. Бискуп кратко охарактеризовал реформаторскую деятельность магистра в предисловии к публикации протокола капитула 1492 г.<sup>6</sup> В целом же исследователи не останавливаются ни на периоде правления Тифена, ни на предложенной им реформе, очевидно, воспринимая ее как один из тех «откровенно иллюзионных элементов» (Х. Бокман), которые время от времени проявлялись в политике Немецкого ордена XV в.

Между тем Иоганн фон Тифен – фигура поистине знаковая. Еще в середине XV столетия положение верховного магистра, осуществлявшего свои властные полномочия в рамках предписанного Уставом коллегиального правления, в ордене воспринималось всеми, включая его самого, как место «первого среди равных»; так явствует, например, из Законов верховного магистра Конрада фон Эрлихсхаузена 1442 г.<sup>7</sup> Тифен был последним правителем такого рода. Следующая «глава» истории Немецкого ордена – будем пользоваться категориями, предложенными видным специалистом по истории Немецкого ордена Х. Бокманом, книга которого недавно стала доступна широкому кругу российских читателей благодаря переводу В.И. Матузовой<sup>8</sup>, представляет нам правление «князей-магистров», связанных родственными узами с самыми знатными фамилиями средневековой Германии – Фридриха Саксонского (1498-1510) и Альбрехта Бранденбургского (1510-1525). В этот период «орденское государство» в Пруссии обрело сначала *de facto*, а потом, после секуляризации Немецкого ордена в 1525 году, и *de jure* облик светского государства со всей присущей ему атрибутикой – бюрократией, наемной армией, двором.

В последние годы историки все чаще ставят под сомнение приговор, вынесенный Немецкому ордену Леопольдом фон Ранке, который еще в XIX в. писал о «вырождении» ордена, неизбежности и целесообразности его секуляризации<sup>9</sup>. Весь XX век различные вариации этой «теории вырождения» господствовали в историографии, и лишь в самом его конце Х. Бокман высказал предположение о том, что кризисная ситуация, в которой оказался Немецкий орден после катастрофы Грюнвальда, возможно, не являлась непреодолимой<sup>10</sup>. Ту же мысль мы можем обнаружить в недавно появившейся книге К. Милитцера<sup>11</sup>. Но если это так и «теория вырождения» несостоятельна, то феномен изменения управления орденом, вследствие чего тот семимильными шагами стал продвигаться в сторону секуляризации, остается необъяснимым. При разрешении этой проблемы правление последнего «рыцаря-магистра» Иоганна фон Тифена и, в первую очередь, предпринятая им попытка реформ, на наш взгляд, должны представлять особый интерес.

Жизненный путь Иоганна фон Тифена являет собой типичный пример карьеры рыцаря Немецкого ордена и с удивительной точностью совпадает со схемой, которую при желании можно обнаружить в биографиях многих верховных

и краевых магистров – Германа фон Зальцы, Винриха фон Книпроде, Генриха фон Плауена, Пауля фон Русдорфа, Вольтера фон Плеттенберга и др. О начале его службы в ордене известно мало, поскольку имена рыцарей, не достигших положения высших должностных чинов – «управителей», гебитигеров (Gebietiger), как правило, редко упоминались в орденской документации. Известно лишь, что он был уроженцем кантона Тургау в Швейцарии и вступил в Немецкий орден, будучи еще очень юным, примерно в четырнадцать лет – согласно Уставу, именно с этого возраста рыцари проходили обряд посвящения. С 1474 г. он являлся комтуром Мемеля, в 1479 г. на недолгое время стал великим комтуром, вторым после верховного магистра лицом в ордене, но годом позже получил назначение на пост великого госпитальера, который он должен был совмещать с обязанностями комтура одного из самых крупных конвентов Пруссии – Бранденбурга<sup>12</sup>. Срок в 6-7 лет, которые понадобился Тифену для превращения из простого гебитигера в одного из самых высокопоставленных орденских чинов, являлся обычным для подобного перемещения – свидетельства тому можно найти в каталоге рыцарей ливонского подразделения, составленном группой немецких специалистов под руководством Л. Фенске и К. Милитцера<sup>13</sup>.

Судя по всему, своей карьерой Тифен был обязан не протекции, а собственной добросовестности и исполнительности, чего он впоследствии, став верховным магистром, будет требовать и от своих подчиненных. Еще одну положительную сторону характера Иоганна Тифена составляли доступность и простота в обращении, из-за чего в дальнейшем в служебной документации его обычно величали уменьшительным именем – «магистр Ганс». Должность Великого госпитальера открыла ему доступ в ближайшее окружение верховного магистра Мартина Трухзеса фон Ветцхаузена (1477-1489) и сделала его одним из столпов орденской политики. Документы, некогда хранившиеся в архиве Кенигсберга<sup>14</sup>, донесли сведения о ряде важных поручений, которые в 80-х гг. были возложены на Тифена: в 1484 г. он возглавлял делегацию ордена на переговорах с представителями великого князя Литовского о границах, в 1485 – председательствовал на переговорах по разрешению противоречий ордена с представителями сословий и епископом Николаем Эргермандландским (Вармийским), в 1487 – участвовал в разработке дополнений к Магдебургскому праву и пе-

реговорах с епископом Ризенбурга по ряду церковных вопросов<sup>15</sup>. После смерти магистра Трухзеса Тифен стал сначала штатгальтером, временно исполняющим обязанности верховного магистра, а потом и главой Немецкого ордена. В соответствии с Уставом ордена, выборы магистра производил капитул, который для этой цели собрался в орденском замке Кенигсберга 21 сентября 1489 г. В этот день «последний брат-рыцарь», судьба которого самым тесным образом была связана с орденом, встал у кормила власти «орденского государства» в Пруссии.

Еще пребывая в должности Великого госпитальера, Тифен был свидетелем, а, судя по тому, как быстро и уверенно после кончины своего предшественника он приступил к реформам, то, возможно, и участником разработки нового кодекса Законов ордена, которая по инициативе верховного магистра Мартина Трухзеса осуществлялась в 80-е гг. XV в. В рамках этих преобразований в 1488 г. была осуществлена последняя в истории Немецкого ордена «визитация»<sup>16</sup>, но сама реформа из-за сопротивления гебитигеров успеха не имела<sup>17</sup>. Зная печальный опыт предшественника, Иоганн фон Тифен все же последовал по его стопам. Не желая связывать себе руки внешнеполитическим конфликтом, сразу же по вступлении в должность верховного магистра он принес вассальную присягу польскому королю Казимиру IV Ягеллону и обратился к разработке проекта реформы, придерживаясь той же стратегической линии, что и все его предшественники.

С XIII в. в силу папской привилегии верховным магистрам Немецкого ордена принадлежало право вносить изменения в его Устав<sup>18</sup>, хотя, по сути, они располагали лишь правом законодательной инициативы, с которой выступали на генеральном капитуле, собрании представителей орденских конвентов, где в обязательном порядке должны были присутствовать краевые магистры из империи и Ливонии. В случае одобрения капитулом законопроект обретал юридическую силу и публиковался в качестве дополнения в своде Устава. Этим правом и воспользовался Иоганн фон Тифен, предложив руководителям имперского и ливонского подразделений созвать капитул для обсуждения проекта преобразований, но, как и во времена Мартина Трухзеса, те интереса к подобному мероприятию не проявили, вследствие чего на капитуле, который был созван в орденском замке Кенигсберга 23-24 апреля 1492 г., было представлено лишь прусские

конвенты. До сих пор содержание итогового документа, который был утвержден на заключительном заседании<sup>19</sup> изучалось только под определенным углом зрения, как это делал, например, Л. Дралле, который использовал его в качестве доказательства увеличения независимости и политической активности прусских гебитигеров<sup>20</sup>. Однако указанный документ предоставляет исследователям и другие, пока еще не востребованные возможности, например, при определении идентичности рыцарей Немецкого ордена конца XV в. или природы власти верховного магистра в этот важный для судьбы ордена период.

Во введении к документу говорится, что «высокочтимый духовный князь и господин (hoewirdig in Got fürst und herr) Ганс фон Тифен, верховный магистр Немецкого ордена с достойными господами своими гебитигерами, фогтами, пфлегерами и амтманами из всех конвентов», следуя желанию своего предшественника Мартина Трухзеса, хочет обсудить на капитуле возможность проведения реформы (ein mögliche reformacion), чтобы вырвать орден из «состояния все возрастающей великой греховности»<sup>21</sup>. Причиной подобного состояния, по мнению верховного магистра, являлось несоблюдение рыцарями ордена положений его Устава, о чем незадолго до начала работы капитула он писал имперскому магистру Андресу фон Грумбаху (1489-1499). Себя и еще нескольких «гебитигеров и братьев» преклонного возраста он причислял к разряду тех, кто «достоверно знают Правила, Законы и весь Кодекс (Устав)», но в силу своей малочисленности не могут оказать воздействие на прочих собратьев, которые, «хотя и находятся в расцвете сил,... не заботятся больше об исполнении Устава, пренебрегают службой Господу, носят неположенное платье; а также и в других важных делах можно видеть (их) пренебрежение Уставом и непочтение к Законам»<sup>22</sup>.

Требования, касающиеся соблюдения рыцарями ордена Устава, и, в первую очередь, трех главных обетов, которые они принимали при вступлении в орден – послушания, целомудрия и бедности, красной нитью проходят через все содержание его программы, предложенной им капитулу, хотя все подобного рода установки – об общих спальнях для рыцарей, о запрещении им общаться с женщинами, отказе от мирской одежды и дорогостоящего вооружения, которое по прибытии в Пруссию они должны были сдавать своим непосредственным командирам, а также о запрете брать деньги в

долг или выступать в качестве кредиторов без разрешения непосредственного начальства, – было позаимствовано из Законов Конрада фон Эрлихсхаузена 1442 г.<sup>23</sup> Как и в этих Законах, членам ордена предписывалось строго соблюдать обет молчания, поститься, придерживаться принятого в ордене порядка богослужения и ежедневно произносить предписанные Уставом молитвы<sup>24</sup>.

Между тем следует обратить внимание на то, что уже к концу XIV в. (возможно, и ранее) Устав Немецкого ордена перестал быть законодательством в полном смысле этого слова. Большинство его положений перестали соответствовать потребностям повседневной административной практики, даже той ее части, которая была связана с внутренней жизнью ордена, а все наиболее важные изменения в области права, будь то утверждение нового порядка приема рыцарей в орден, отказ верховного магистра от назначения крайних магистров, прекращение созывов генерального капитула и производства «визитаций», и, наконец, получение имперским магистром в 1494 г. княжеских регалий, остались за рамками Устава в виде норм обычного права. Устав же, по сути своей, превратился в идеологему, формулу, содержащую некий поведенческий код, доступный пониманию окружающих и пользующийся всеобщим признанием, который служил, главным образом, для определения идентичности орденового сообщества.

В реформах, которые проводились в Немецком ордене в XIV-XV вв., каждый раз обнаруживалось стремление реанимировать старинные, зафиксированные в Уставе XIII в., этико-религиозные и дисциплинарные нормативы. Зарубежные специалисты склонны видеть в этом вполне осознанный стратегический расчет верховных магистров, которые, по их мнению, стремились таким образом восстановить социальную гомогенность рыцарской среды и преодолеть негативные последствия превращения Немецкого ордена в «госпиталь для бедного немецкого дворянства»<sup>25</sup>. Кроме этого, феноменальный традиционализм орденового руководства, направленный на сохранение изначальной идентичности орденового сообщества, пусть даже иллюзорной, гарантировал ордену право пользования императорскими и папскими привилегиями, в силу которых орден и обрел свой статус ландсгерра, т.е. государя.

Видимо, по этой причине в ордене культивировалась старинная, «репрезентативная» форма религиозности, которая проявляла себя в ряде экстравертных, рассчитанных на

внешнее восприятие форм (чтение молитв, посты, аскетический быт), и не совпадала с новыми религиозными настроениями, распространившимися по Европе в XIV-XV вв. Чувство единения человека с Богом, индивидуальное переживание Божественного, подчиняющее верующего нравственным императивам и освобождающее его религиозное сознание от корректировок со стороны внешних инстанций, не были свойственны религиозному сознанию членов Немецкого ордена, благочестие которых было регламентировано, унифицировано и наглядно. Но именно подобное проявление благочестия как нельзя более подходило для определения коллективной идентичности орденского сообщества.

Программа Иоганна фон Тифена насыщена благочестивыми посланками и обращениями к Уставу, но значит ли это, что он отождествлял себя и своих собратьев по ордену с теми «Божьими воинами» Бернара Клервоского, для которых монашеская аскеза была источником великой духовной силы, необходимой для свершения воинских подвигов и принятия мученичества на «пути Господнем»? Тот, кто знаком с содержанием Устава Немецкого ордена, легко заметит избирательность программы Тифена, в которой нет ничего, что напоминало бы о священной обязанности рыцарей ордена с оружием в руках бороться с врагами христианской веры и Церкви, с «неверными» и «язычниками». Идеальная модель духовно-рыцарского братства с момента своего возникновения только отчасти совпадала с ее реальным воплощением, а в условиях существования «орденских государств» изменилась до неузнаваемости.

Духовно-рыцарская корпорация, которая выступала в качестве формообразующего элемента «орденского государства», уже к началу XIV в. превратилась в замкнутую элитарную (однако, весьма далекую от христианских идеалов эгалитарности!) общность, представленную, в первую очередь, администраторами разных рангов. Когда Иоганн фон Тифен говорил об ордене, то имел в виду далеко не всех его членов, оставляя вне сферы своего внимания братьев-священников и братьев-служителей («полубратьев», «серые плащи»). Его внимание занимали лишь братья-рыцари, вернее, те из них, кто обладал должностью и в качестве важнейших составляющих административной системы «орденского государства» именовались в документах как «господа» (*heren, herren*). Это многозначительное обращение противоречило духу орденского Устава, в основу которо-

го был заложен принцип равенства всех «братьев», но удивительно точно соответствовало господствующему положению братьев-рыцарей в ордене и государстве, которое, добавим, верховному магистру Тифену представлялось вполне органичным.

Религиозно-нравственные посылки и дисциплинарные предписания образовали в его программе нечто вроде системы координат, в поле которой им были размещены те основные пункты, ради которых, собственно, и был составлен этот документ. Все они касались поведения должностных лиц – комтуров, фогтов, попечителей-пфлегеров, прокураторов и прочих амтманов. Их круг и представлял, по сути, власть ордена как «коллективного ландсгерра»; они противопоставлялись всем остальным братьям, к числу которых относились не только священники и служители, но и рыцари, не имевшие должности, – словом, все подчиненные. Тифен, во всяком случае, не видел в них активной социальной силы, поскольку они полностью зависели от «господ» должностных лиц, которым, по Уставу, вменялось в обязанность следить за тем, «чтобы нужды братьев удовлетворялись вовремя и добросовестно, и братья день и ночь могли прилежно исполнять службу Господу»<sup>26</sup>. Администрация конвентов обеспечивала своих подопечных пищей, одеждой, вооружением, должна была следить за их поведением и соблюдением ими Устава, предоставлять им врачебную помощь, для чего программой Тифена предлагалось расширить сеть фирмериев (госпиталей), а также должным образом организовать богослужение. Обстоятельства жизни тех, кто занимал в конвентах подчиненное положение, намечены в тексте протокола лишь легким контуром – упоминается о нехватке продовольствия, одежды, всего самого необходимого; о голоде, по причине которого капитул предоставил рядовым братьям право выезжать на охоту, «как ездят их господа высшие служители (*ire herrn und obern dyener*)»; о рекомендации должностным лицам «по отношению к подчиненным вести себя по-доброму, дружески, а не обзывать их неподобающими словами»<sup>27</sup>.

К середине XV в. в коллективном сознании рыцарей ордена утвердилось представление о некоей пребывающей внутри Немецкого ордена потенции, которую во имя общего блага следовало реализовать в сфере государственного правления, о чем говорилось, в частности, на заседаниях прусского ландтага. В роли носителей этой идеи, которые

отвечали за ее претворение в жизнь, выступали братья-рыцари, облеченные должностями, которые образовывали внутри ордена весьма специфический социальный анклав. Его идентичность в исследуемом документе определяется иначе, чем членов ордена в целом. Призывая гебитигеров и амтманов к добросовестному выполнению своих обязанностей, которые, по мысли Тифена, состояли в удовлетворении повседневных нужд их подчиненных, верховный магистр процитировал строку из Законов Конрада фон Эрлихсхаузена с адресованным всем руководителям ордена напоминанием, которое гласило, что, в первую очередь, они «являются слугами для них (своих братьев)», а уж потом господами (*das sie sein ire dyner, dan ire hern*)<sup>28</sup>, хотя реальное положение дел в прусских конвентах демонстрировало иллюзорность подобной установки.

Добросовестное исполнение служащими своих обязанностей представлялось магистру Иоганну фон Тифену гарантией общественной гармонии: «Мы нуждаемся в верных подданных, а они в верных господах (*wir getruwen untersaissen und sy getruwen hirschafft bedorffen*)»<sup>29</sup>. В силу этого способность «господ»-рыцарей управлять орденом и государством, степень их соответствия званию ландсгерра являлись для него главным показателем принадлежности к обществу властей предержавших. Поскольку рыцари ордена не относились к титулованной знати, способность властвовать во благо подданных у членов ордена не могла считаться врожденной, но лишь приобретенной. Средневековое сознание прочно соединяло понятие власти с религиозно-нравственными проявлениями личности государя, поэтому и для верховного магистра Тифена качество исполнения рыцарями административных функций определялось, в первую очередь, их благочестием, источником которого в Немецком ордене служил Устав. Отсюда – огорчение верховного магистра, которое он испытывал из-за пренебрежительного отношения рыцарей к Уставу, из-за чего «все возрастающее число молодых братьев больше не могут перенимать Святое Писание и примеров **благочестия и исполнения своего долга**»<sup>30</sup>.

Культурный и образовательный уровень рыцарей ордена был крайне низок<sup>31</sup>, и по этой причине самым действенным средством воспитания молодого поколения мог быть личный пример старших братьев, но такой механизм в ордене фактически не работал. Вот почему Тифен пытался

использовать в качестве средства воспитания историческую память ордена. «Поскольку на этом свете все является быстро проходящим, даже то, что Господь Всемогущей по воле Своей долго терпит, надлежит, чтобы то, что происходило в стране и за ее пределами, было известно и чтобы подобное оставалось свежо в памяти во благо ордена»<sup>32</sup>, – значит среди постановлений капитула 1492 г. Для фиксации событий предполагалось назначить одного из достойных членов ордена помощником Великого комтура, чтобы он присутствовал при ведении государственных дел и был в курсе всего происходящего. Несколько позже, в 1497 г., верховный магистр настоятельно рекомендовал магистру Ливонского ордена Вольтеру фон Плеттенбергу (1494-1535) проследить за созданием исторических сочинений, «чтобы таким образом привлечь молодых рыцарей (к службе) во благо нашего ордена»<sup>33</sup>. Тем самым Тифен продолжал традицию, основы которой еще в XIV в. были заложены Петром из Дусбурга и его младшим современником Никласом Ершиним, чьи повествования о военных подвигах и религиозном подвижничестве рыцарей Немецкого ордена способствовали разрешению и политической, и дидактической задач<sup>34</sup>.

Тифен стал последним в череде верховных магистров Немецкого ордена, пытавшихся сохранить типологические особенности «орденского государства», включая принцип коллегиального правления, но при этом понимал, что в его время духу старых традиций реально соответствует только небольшая часть должностных лиц, те, кого он называл «старшими» и к которым причислял самого себя. Однако он еще не утратил надежду воздействовать на абсолютное большинство, которое использовало свое служебное положение для собственного обогащения и возвышения, посредством воспитания в них старинного благочестия, предусматривая при этом также меры административного воздействия. Из арсенала орденских традиций он извлек положение о равенстве всех членов ордена и, приложив его к кругу властей предержавших, трансформировал его в принцип равной ответственности должностных лиц за совершенные ими злоупотребления властью. «Если брат, будь он гебитигер, фогт, хаускомтур, пфлегер, амтман или обычный брат, будет признан виновным, пусть его накажут, согласно Уставу нашего ордена, не взирая на чин, поскольку мы все принадлежим одному ордену и ни один не может освободиться от вины

другими средствами (*nochdem wir alle eins Ordens sein und sich keiner mit dem andern zu entschuldigen hette*)»<sup>35</sup>.

Примечательно, что верховному магистру, по-видимому, при этом отводилась роль исполнителя. В заключительной части протокола, где записаны решения, принятые капитулом на второй день заседания, 24 апреля, перечисляются обязательства верховного магистра и его гебитигеров – не делать различий при наказании провинившихся служащих разного ранга, устранять внутренние конфликты, помогать нуждающимся конвентам, покончить со злоупотреблениями, допускаемыми при оценке коней прибывавших в Пруссию новичков, а также при распоряжении имуществом конвентов, из-за чего при смене гебитигеров «дома конвента» подчас оставались «почти полностью лишенными продовольствия, вооружения и всего необходимого». Разрешение споров, возникавших между «братьями» и в отношении мирян, верховный магистр должен был передоверить капитулу, «чтобы каждый знал, что не будет избавлен от вины Вашей милостью»<sup>36</sup>. Однако стилистический прием, призванный подчеркнуть корпоративный характер правления в ордене, не следует принимать за реальность.

Известное «уничужение» верховного магистра, желавшего, чтобы его воспринимали как представителя корпорации, а не как государя Орденской Пруссии, каким, к примеру, представляли себе его прусские «сословия»<sup>37</sup>, должно было лишний раз подчеркнуть равенство всех должностных лиц, включая представителей высшего звена. К Тифену обращались как к «высокопочтимому господину магистру» и даже «духовному князю», хотя княжеских регалий, обещанных ему на Вормском рейхстаге 1495 г. императором Максимилианом Габсбургом, Тифен приобрести не спешил<sup>38</sup>, но сам он подписывался просто: «Брат Ганс фон Тифен, верховный магистр Немецкого ордена», эксплуатируя идею «братства» и надеясь, что с ее помощью сделает аппарат управления орденом более эффективным. Известную долю оригинальности его концепции сообщал принцип ответственности должностных лиц не столько перед верховным магистром, как это предусматривалось, например, программой его предшественника Мартина Трухзеса, сколько перед корпорацией в целом (возможно, тут сказалось его швейцарское происхождение), а также более широкое освещение политики ордена, что в совокупности с прочими запланированными

мерами могло оказать позитивное воздействие на кредит доверия руководству ордена со стороны его подчиненных.

Его программа отвергала грубые меры воздействия и была в значительной мере рассчитана на присутствие в поведении должностных лиц ордена, говоря языком Канта, «категорического императива», который для этой социальной группировки должен был стать главным проявлением коллективной идентичности. Но для его формирования требовалось время, которого у Иоганна фон Тифена оставалось очень мало, а также материальные и кадровые ресурсы, которыми верховный магистр, по обстоятельствам, от него не зависящим, главным образом, из-за необходимости следовать в русле политики польско-литовских государей, обладал явно в недостаточном объеме.

Верховный магистр знал, что с проведением реформы надо торопиться, поскольку в 90-х гг. XV в. на карту вновь была поставлена судьба всего ордена. Новый глава римско-католической Церкви Александр VI Борджа должен был утвердить привилегии Немецкого ордена, но в этот момент в римской курии стало известно обращение представителя прусской оппозиции епископа Ермандландского Лукаса Хайльсберга, который просил папу не утверждать привилегий на том основании, что орден сильно изменился с того момента, когда они ему были пожалованы, и вместо того, чтобы вести борьбу с язычниками, угнетает своих бедных подданных в Пруссии. Предполагалось даже переместить орден из Пруссии на Дунай, где он мог бы принять участие в защите христианского мира против турок<sup>39</sup>. «Спор о привилегиях» настолько интересен и показателен, что должен стать предметом отдельного исследования, но и при поверхностном рассмотрении ясно, что верховному магистру Тифену для нейтрализации подобного рода демаршей следовало доказать исконную идентичность руководимого им ордена. Этой задаче и была подчинена его внутренняя и внешняя политика, обретавшая подчас черты ярко выраженного традиционализма.

Во всяком случае, мы должны признать, что для такого опытного, осторожного и «систематичного» (Л. Дралле) политика, каким был Иоганн фон Тифен, Немецкий орден на рубеже нового столетия оставался структурой, имевшей право на дальнейшее существование, вследствие чего предложенная им *reformatia* не предусматривала ее видоизменения или уничтожения. Желая сохранять коллегиаль-

ность власти, Иоганн фон Тифен упорно добивался созыва генерального капитула. В первый раз его предполагалось созвать в 1494 г. «на Михайлов день» (29 сентября) в Кенигсберге<sup>40</sup>. Работа столь представительного собрания, цель которого верховный магистр обозначил в своих письмах<sup>41</sup>, должна была способствовать проведению внутри ордена реформ в духе постановлений 1492 г., но собрать его так и не удалось<sup>42</sup>. Однако мысль о созыве генерального капитула не покидала верховного магистра все оставшиеся ему годы<sup>43</sup>. В рамках задуманной реформы предполагалось также возобновить практику «визитаций», и в 1497 г. Тифен распорядился об инспектировании ливонских конвентов<sup>44</sup>, хотя и это мероприятие осуществить ему не привелось.

Еще в начале 1495 г. он сетовал на то, что намерение польского короля Яна Ольбрахта привлечь орден к походу против турок мешает ему заниматься делами ордена<sup>45</sup>. Вот и теперь, летом 1497 г., во главе отряда из 400 всадников верховный магистр, верный долгу вассала польской короны, принял участие в военной кампании, которая стоила ему жизни. Находясь уже в преклонном возрасте, он испытал все последствия разгрома, которому подверглись польские войска в Валахии, на обратном пути тяжело заболел и в сентябре 1497 г. умер в замке Лембург близ Кенигсберга.

В Пруссии реализовать программу Тифена не удалось, однако некоторые ее положения были использованы магистром Вольтером фон Плеттенбергом в Ливонии. Благодаря его «осторожной мудрости», выразившейся, главным образом, в разумном соотношении традиционализма и новаторства, ливонское подразделение Немецкого ордена и его государство просуществовали еще более шестидесяти лет - факт, который можно рассматривать как косвенное доказательство состоятельности расчетов Иоганна фон Тифена.

---

<sup>1</sup> Boockmann H. Herkunftsregion und Einsatzgebiet. Beobachtungen am Beispiel des Deutschen Ordens // Ritterorden und Region – politische, soziale und wirtschaftliche Verbindungen im Mittelalter. Toruń, 1995. S. 14; Arnold U. Europa und die Region – wiederstreitende Kräfte in der Entwicklung des Deutschen Ordens im Mittelalter // Ritterorden und Region – politische, soziale und wirtschaftliche Verbindungen im Mittelalter. Toruń, 1995. S. 169.

<sup>2</sup> Hellmann M. Bemerkungen zur sozialen Erforschung des Deutschen Ordens // Historisches Jahrbuch. 1960, Bd. 80. S. 136-137; Maschke E. Die inneren Wandlungen des deutschen Ordens // Geschichte und Gegen-

wartsbewusstsein. Festschrift für Hans Rothfels zum 70. Geburtstag. Göttingen, 1963. S. 274-275; Militzer K. Das Ende des Deutschordensstaates Preußens im Jahre 1525 // Die großen geistlichen Ritterorden Europas. Sigmaringen, 1980. S. 404; Biskup M. Wendepunkt der Deutschordensgeschichte // Beiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens. Marburg, 1986. S. 9.

<sup>3</sup> Voigt I. Geschichte Preußens von den ältesten Zeiten bis zum Untergange der Herrschaft des Deutschen Ordens. Bd. 9. Königsberg, 1839. S. 173-187.

<sup>4</sup> Dralle L. Der Staat des Deutschen Ordens in Preußen nach dem 2. Thornen Frieden. Wiesbaden, 1975. S. 128-136.

<sup>5</sup> Dralle L. Johann von Tiefen 1489-1497 // Die Hochmeister des Deutschen Ordens 1190-1994. Marburg, 1998. 150-154.

<sup>6</sup> Biskup M. Plan reformy Zakonu Krzyżackiego w Prusach z 1492 roku // Prusy – Polska – Europa. Toruń, 1999. S. 277-281.

<sup>7</sup> Statuten des Deutschen Ordens. Königsberg, 1806.

<sup>8</sup> Boockmann H. Der Deutsche Orden. Zwölf Kapitel aus seiner Geschichte. 3. Aufl. München, 1999. 319; Бокман Х. Немецкий орден. Двенадцать глав из его истории. М.: Ладомир, 2004.

<sup>9</sup> «Для институтов, какие имел орден в Пруссии, в мире больше не было места», – Ranke L. Zwölf Bücher preußischer Geschichte. Bd. 1. Leipzig, 1874. S. 125.

<sup>10</sup> Boockmann H. Der Deutsche Orden in der Geschichte des spätmittelalterlichen Ostmitteleuropa // Deutscher Orden 1190-1990. Lüneburg, 1997. S. 24.

<sup>11</sup> «Крушение господства (Немецкого ордена) не было предначертано (vorgezeichnet)», – Militzer K. Die Geschichte des Deutschen Ordens. Stuttgart, 2005. S. 152.

<sup>12</sup> Regesta Historico-Diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum, 1198-1525. Bd. 3. Göttingen, 1973. №№ 16842, 16849, 16875.

<sup>13</sup> Ritterbrüder im livländischen Zweig des Deutschen Ordens. Köln, 1993.

<sup>14</sup> Значительная часть документации Кенигсбергского архива сейчас содержится в собрании: Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz. Berlin-Dahlem в Берлине. Регесты фонда изданы Э. Йоахимом и В. Губачем // Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198-1525. 2 Bd. Hg. v. E. Joachim und W. Hubatsch. Göttingen, 1948-1950.

<sup>15</sup> Regesta. №№ 17113, 17207, 17342, 17366.

<sup>16</sup> Biskup M. Wzytycja zamków zakonu krzyżackiego w Inflantach z 1488 roku // Zapiski historyczne. 1984, t. 49, z. 1. S. 119-128.

<sup>17</sup> Dralle L. Der Staat des Deutschen Ordens. S. 87.

<sup>18</sup> Булла Иннокентия IV от 9 февраля 1244 года // Tabulae Ordinis Theutonici. Berlin, 1869. S. 356.

<sup>19</sup> Оригинал рукописи в настоящее время хранится в архиве Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem, Ordens-

briefarchiv, № 17690, к. 3-4v. Текст ее опубликован М. Бискупом: Propozycie wielkiego mistrza Jana von Tiefen dla urzędników Zakonu Krzyżackiego w Prusach dotyczące zaostżenia reguły i ich odpowiedź z przedstawieniem własnego stanowiska i skarg (далее – Propozycie) // Biskup M. Plany reformy zakonu krzyżackiego. S. 281-285.

<sup>20</sup> Dralle L. Der Staat des Deutschen Ordens. S. 132-136.

<sup>21</sup> Propozycie. S. 281-282.

<sup>22</sup> Письмо Иоганна фон Тифена имперскому магистру Андреасу фон Грумбаху от 23 января 1492 года. Цит. по: Voigt I. Op. cit. S. 185.

<sup>23</sup> Arnold U. Reformansätze im Deutschen Orden während des Spätmittelalters // Reformbemühungen und Observanzbestrebungen im spätmittelalterlichen Ordenswesen. Berlin, 1989. S. 146-150.

<sup>24</sup> Propozycie. S. 282-283.

<sup>25</sup> Arnold U. Reformansätze im Deutschen Orden. S. 139-152.

<sup>26</sup> «Item das man den brudem ire notturfft gebe zu rechter zeit und guttwillig, dowidder umb die brudere vleyßlich tag und nacht zu Gottes dinst gehalten werden und kommen», – Propozycie. S. 283.

<sup>27</sup> Propozycie. S. 283, 284.

<sup>28</sup> Ibid. S. 284.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Voigt I. Op. cit. S. 185.

<sup>31</sup> Militzer K. Die Aufnahme von Ritterbrüder in der Deutschen Orden. Ausbildungsstand und Aufnahmevoraussetzungen // Das Kriegswesen der Ritterorden im Mittelalter. Toruń, 1991. S. 8.

<sup>32</sup> «nochdem man uff disser werlft balde abgheenden ist, das doch Gott der Almechtig noch seinem gottlichen willen lang spare, domit man nochmols ouch wüste, was gehandelt wurde im lande und uß dem lande, domit sollichs unserm Orden im reyyffen gedechnuß blibe» – Propozycie. S. 285.

<sup>33</sup> Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch. Abt. 2 Bd. 1. Riga, Moskau, 1900 (далее – LUB). № 606.

<sup>34</sup> Dygo M. Die heiligen Deutschordensritter. Didaktik und Herrschaftsideologie im Deutschen Orden in Preussen um 1300 // Die Spiritualität der Ritterorden. Toruń, 1993. S. 172-173.

<sup>35</sup> Propozycie. S. 283.

<sup>36</sup> Propozycie. S. 284-285.

<sup>37</sup> Biskup M. Der Deutsche Orden im Reich, in Preussenland und Livland im Banne habsburgischer Politik in der zweite Hälfte des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts // Die Ritterorden zwischen geistlichen und weltlichen Macht im Mittelalter. Toruń, 1990. S. 113.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> LUB. №№ 42, 50, 98, 181, 200, 256, 289, 405, 411, 412, 419, 422, 429, 443, 444, 447, 448, 535.

<sup>40</sup> LUB. №№ 43, 44, 9, 50, 61, 407-408.

<sup>41</sup> «Поскольку, к сожалению, за прошедшие годы всюду в этих странах, включая Ливонию, в нашем ордене благочестивое рвение и

---

порядок почти исчезли и угасли, их возвращение и восстановление в состоянии, близком к идеальному, настоятельно требует размышлений и совета, как и того, чтобы признанное благим [для ордена] прочно и неустанно соблюдалось во всех пределах [владений] нашего ордена» (Из письма Тифена имперскому магистру Андреасу фон Грумбаху от 14 июля 1494 г.) – LUB. Bd. 1. № 22. См. также: LUB. № 43.

<sup>42</sup> По пути в Пруссию ливонский магистр Плеттенберг получил известие о концентрации вблизи границ Ливонии русских войск и, опасаясь вторжения, должен был повернуть обратно // LUB. № № 56, 61.

<sup>43</sup> От созыва генерального капитула в 1495 г. верховному магистру пришлось отказаться из-за напряженной обстановки в Пруссии; кроме того, Ливония пребывала в ожидании войны с Россией, что не позволяло магистру Плеттенбергу покинуть страну, а имперский магистр Грумбах в составе свиты молодого «римского короля» Максимилиана Габсбурга должен был следовать на коронацию в Рим – LUB. № 181. Было предложено созвать капитул 26 сентября 1496 года в Кенигсберге, но из-за чрезвычайно напряженной обстановки на русско-ливонской границе его перенесли на июнь 1497 г. – LUB. №№ 407, 408, 444.

<sup>44</sup> LUB. № 470. Заслуживает внимания тот факт, что распоряжение верховного магистра Тифена о начале «визитации» входит в подборку документов, которую заместитель магистра великий комтур фон Изенбург должен был вручить инспекторам, куда, кроме того, входили указанный протокол капитула 1492 г., а также копии и формуляры документов, имевших отношение к созыву генерального капитула.

<sup>45</sup> «Если это случится, – писал он Вольтеру фон Плеттенбергу в Ливонию 26 января 1495 г., – то ничего особо хорошего нам из этого ожидать не приходится» – LUB. № 135.

**Труды и досуги маркиза Сантильяны.**

Заглавию данной статьи, мне кажется, не помешают пояснения. Что, собственно, можно отнести к «трудам» аристократа XV в., а что к его «досугам»? В какой мере их можно разграничить? А если все же можно, то где проходила эта грань? Понятно, что участие в военных действиях или в политической борьбе в этом случае нельзя не отнести к «трудам», но, скажем, управление имениями, на первый взгляд, несомненно, относящееся к «трудовым будням», вполне можно было передоверить жене или управляющему. С другой стороны, удачное литературное произведение, созданное в часы досуга, могло стать инструментом влияния на монарха и даже оружием в борьбе с соперниками, а, скажем, дарование ренты монастырю или заказ известному художнику алтаря для соседней церкви не только приближали к спасению души, но были неотъемлемой стороной определенного социального статуса. Вопрос о соотношении разных сторон мировосприятия и деятельности, о том, насколько гармонично или же противоречиво они сочетаются в человеке XV столетия, представляется мне интересным и важным в рамках проблематики нашего сборника. Источники по истории Испании XV в., однако, нечасто позволяют так ставить вопрос, и в этом отношении фигура маркиза Сантильяна привлекательна, с одной стороны, множеством граней своей идентичности, с другой же – тем, что почти о каждой из них известно довольно много. Эта роза, однако, тоже не без шипов: различные стороны деятельности маркиза до сих пор изучались исследователями разного профиля, и для цельной ее оценки требуется сочетание знаний и подходов в области военной, социальной и политической истории, истории книги, филологии, искусствознания.

Имя маркиза Сантильяны хорошо известно филологам-испанистам, хотя в отечественном литературоведении скорее нашло место в общих трудах, чем стало предметом специальных исследований<sup>1</sup>; на русском языке его произведения почти не публиковались<sup>2</sup>. Между тем его значение в истории испанской литературы XV в. трудно переоценить. Один из лучших поэтов своего времени, он написал на испанском языке первые сонеты и первый историко-литературный и критический труд. В то же время Сантильяна как политик,

аристократ и меценат у нас почти не известен, и на этих сторонах его деятельности хотелось бы остановиться подробнее.

В испанской историографии маркиз Сантьяна привлекал к себе внимание многих исследователей, как сам по себе<sup>3</sup>, так и в качестве важнейшего представителя могущественного и знаменитого в истории Испании рода Мендоса<sup>4</sup>. Показательно, что, когда в 2001 г. в Испании проходила юбилейная выставка, посвященная 600-летию со дня рождения маркиза Сантьяны, статьи для роскошно изданного каталога<sup>5</sup> писали крупнейшие специалисты по истории Испании, ее литературы и искусства в XV в.: Л. Суарес Фернандес, Х. Ярса Луасес, Ф. Менендес Пидаль, М.А. Ладеро Кесада, Х. Вальдеон и многие другие. Произведения маркиза Сантьяны, естественно, публиковались много раз<sup>6</sup>, издан и основной корпус документов, связанных с его деятельностью<sup>7</sup>, не говоря уже о нескольких хрониках, где его имя фигурирует очень часто.

Иньиго Лопес де Мендоса (1398, Каррион де лос Кондес, Старая Кастилия – 1458, Гвадалахара), вошедший в историю как маркиз Сантьяна (этим титулом он пользовался с 1445 г.), происходил из знатного баскского рода, известного по крайней мере с XI в. В XIV в. главные ветви рода пресеклись, представители же боковых ветвей перебрались в Новую Кастилию и там возвысились, не теряя при этом связей с баскскими землями. Род занимал, таким образом, промежуточное место между «старой знатью» (*nobleza vieja*) и «новой знатью» (*nobleza nueva*)<sup>8</sup>, и повышенная социальная активность, стремление возвыситься сочетались в его членах с большей древностью происхождения, что могло дать им некоторое преимущество в борьбе за власть и в то же время повлиять на родовое самосознание.

Решающим фактором в возвышении рода Мендоса стала поддержка мятежного инфанта Энрике против его сводного брата Педро I; в результате победы Энрике к власти пришла новая династия Трстамара. В 1366 г. дед Сантьяны, Педро Гонсалес де Мендоса, перешел на сторону Энрике и после победы последнего был щедро награжден землями и юрисдикциями вокруг Гвадалахары, а также должностью главного майордома наследного принца Хуана – будущего короля Хуана I. Возвысившиеся ближайшие соратники Энрике составили тогда особую группу в составе кастильской аристократии. В XV в. они породнились со многими родовитыми семьями, но, как показала Х.Нэйдер, продолжа-

ли держаться друг друга и в какой-то мере выделялись среди прочих аристократических групп, будучи объединены общей исторической памятью и общими социальными, политическими и культурными установками<sup>9</sup>. Браки, заключенные Педро Гонсалесом и его детьми, тесно связали род Мендоса с другими сторонниками Энрике II (Айала, Манрике), и даже с самим королем (старший сын Педро Гонсалеса Диего, отец маркиза Сантильяны, первым браком женился на незаконной дочери Энрике). Достигнутые результаты были закреплены основанием майората в пользу старшего сына<sup>10</sup>, а смерть Педро, уступившего своего коня королю Хуану I в злосчастной для кастильцев битве при Алжубарроте и спасшего монарха ценой собственной жизни, осватила истоки семейного могущества героической жертвой во имя новой династии.

Сын и преемник Педро Гонсалеса, Диего Уртадо де Мендоса, не унаследовал титула главного майодома, но в качестве компенсации был сделан адмиралом Кастилии и членом Королевского совета. Женившись вторым браком на Леонор де Ла Вега, наследнице огромного состояния, он породнился с древним и могущественным родом, а заодно распространил интересы семьи на Астурию и Монтанью, где Ла Вега владели обширными землями (включая Сантильяну, маркизом которой позже стал его сын).

Казалось, перед адмиралом и его наследниками открывались самые радужные перспективы дальнейшего возвышения. Но внезапная смерть адмирала (1404) оставила его вдову и малолетнего сына Иньиго Лопеса де Мендоса беззащитными перед притязаниями родственников и соперников. Чтобы заручиться сильным союзником, Леонор в третий раз вышла замуж – на сей раз за могущественного магистра Сантьяго Лоренсо Суареса де Фигероа, а заодно, чтобы закрепить этот союз, от которого в силу возраста супругов уже едва ли могли быть собственные дети, договорилась о двойном брачном союзе своих тогда еще малолетних детей с детьми магистра<sup>11</sup>. Однако уже в следующем году магистр умер. В результате союз Иньиго с Каталиной Суарес де Фигероа, оказавшийся весьма удачным в других отношениях (близкие и доверительные отношения между супругами и, как результат, 10 законных детей при всего одной внебрачной дочери<sup>12</sup>), не принес ожидаемых политических выгод. Сын так и не унаследовал отцовского титула адмирала, перешедшего к мужу одной из сестер его отца, и всю жизнь должен был бороться за восстановление своих прав на от-

цовские владения, которые оспорила его сводная сестра Альдонса, по мужу герцогиня Архона, дочь адмирала Диего от первого брака. А после смерти матери начались тяжбы уже за ее наследство – с ее дочерью от первого брака, которую, по иронии судьбы, тоже звали Альдонсой.

Воспитанный матерью и бабушкой вдали от королевского двора, Иньиго получил образование обычное для аристократов того времени, но, пожалуй, несколько более провинциальное, чем предполагали семейные традиции с отцовской стороны: его дед Педро Гонсалес и особенно двоюродный дед, знаменитый канцлер Айала, были известными поэтами, да и отец не чуждался стихотворства. Впрочем, какое-то время Иньиго обучался также в Толедо в доме своего родственника, архидиакона Толедского. Однако глубокими познаниями, которыми позже маркиз отличался, он был обязан прежде всего самообразованию.

В 1412 г. четырнадцатилетний Иньиго Лопес вступает в обычный для аристократа того времени мир войны и политики<sup>13</sup>. Что из себя представлял тогда этот мир? Каковы были «условия игры»? Политическую историю Кастилии на протяжении большей части XV в. часто описывают как «борьбу королевской власти с мятежной знатью»<sup>14</sup>. Такое определение нуждается в уточнениях. Со времен Альфонсо Мудрого и до воцарения Габсбургов в Кастилии все масштабные внутривластные конфликты с участием короля и знати обязательно были связаны с конфликтами внутри королевской семьи (между братьями, отцом и сыном, дядей и племянником и т.д.); аристократы столь же неизбежно раскалывались на две или три партии, поддерживавшие того или иного члена королевского рода. Вели они себя в политике примерно одинаково, и говорить о «монархической» и «аристократической» партиях нет оснований: противостоявшие друг другу партии были в равной степени «монархическими» и «аристократическими».

В том же 1412 г., когда Иньиго Лопес впервые оказался при дворе, новым королем Арагона был избран (после пресечения, двумя годами раньше, древней арагонской династии) дядя Хуана II Кастильского, Фернандо Антекерский, почитавшийся кастильской знатью как образец рыцарства. С момента смерти своего старшего брата Энрике III (1406) он являлся регентом при малолетнем кастильском короле и в полной мере воспользовался своими полномочиями, чтобы наделить своих сыновей Альфонсо, Энрике, Хуана, Санчо и

Педро обширными владениями и огромной властью. Став после избрания их отца на трон арагонскими инфантами, они надеялись сохранить и даже приумножить свои владения и власть в Кастилии. С ними-то и боролся почти всю свою жизнь фаворит Хуана II коннетабль Кастилии дон Альваро де Луна. Соответственно, и выбирать Иньиго Лопесу предстояло не между монархией и аристократией, а между двумя группировками кастильской знати и двумя ветвями династии Трастамара, кастильской и арагонской, причем арагонская выглядела во многом более привлекательной: ее представители проявили себя как храбрые рыцари и удачливые полководцы, и к тому же строили далеко идущие внешнеполитические планы. Наконец, утверждение в Арагоне кастильской династии открывало при арагонском дворе новые возможности для кастильцев, в то время как при кастильском дворе перспективы юного Иньиго выглядели туманными.

Ум и манеры юного Иньиго Лопеса вскоре были замечены, он попал в состав свиты Фернандо Антекерского на коронации последнего в Сарагосе, где фигурировал в качестве главного виночерпия старшего из сыновей Фернандо, Альфонсо – будущего Альфонсо Великодушного, короля Неаполя и покровителя многих итальянских гуманистов. Страны Арагонской короны были связаны с ренессансной Италией гораздо теснее, чем Кастилия, и в формировании личности и литературных пристрастий Иньиго Лопеса довольно долгое пребывание в Арагоне (1414-1418 гг., с перерывами) сыграло важную роль. Там он познакомился с одним из самых ярких персонажей политической и литературной жизни той эпохи, маркизом Вильеной (ок. 1384–1434). Потомок королей, тот был не слишком удачливым политиком, но глубоким знатоком древних и новых языков, переводил Вергилия и Данте и писал на самые разные темы, от первой дошедшей до нас кастильской поэтики до трактатов об астрологии, о проказе, об искусстве изящно разрезать пищу. Они подружались – в той мере, в какой возможна дружба между людьми одного круга, но разных поколений, и многими своими знаниями об античных классиках и о новейшей итальянской литературе Иньиго Лопес был обязан именно Вильене. В 1423 г. Вильена посвятил своему юному другу трактат «Искусство слагать стихи».

Достигнув совершеннолетия, Иньиго Лопес, хотя долго еще сохранял связи с арагонским двором, активно включился в политическую борьбу в Кастилии. Нам практически ни-

чего не известно о том, как он воспринимал жизнь арагонского двора, но в Кастилии он сразу же столкнулся со всеми издержками придворной жизни с ее интригами и изменами и быстро осознал, что, оставаясь в рамках рыцарского поведения, не сможет восстановить отцовского состояния (что для него было тождественно восстановлению справедливости). Политическая ситуация в стране быстро менялась, союзы возникали и распадались; первые шаги Иньиго Лопеса (в составе арагонской партии) оказались не слишком удачными, и не случайно тема изменчивости фортуны стала одной из ключевых в его творчестве. Впрочем, он быстро усвоил правила игры. Чтобы достичь могущества и влияния, необходимых для возврата отцовского наследства, он заключал и нарушал соглашения, предоставляя свою помощь то одной, то другой стороне и отказывая в ней, пока не удовлетворены его требования. Его правилом стало выжидать и присоединяться к той стороне, которой его поддержка обеспечит победу.

При всей практической направленности политической деятельности Иньиго Лопеса, в своих поступках он руководствовался не только (а, может быть, и не столько) соображениями сиюминутной выгоды, но следовал давним традициям кастильской политической теории и практики<sup>15</sup>. Эти традиции предполагали, с одной стороны, достаточно прочные позиции монарха, положение которого выходило далеко за рамки «первого среди равных». С другой стороны, акцентировалась его обязанность управлять страной справедливо и не передавать всей полноты своей власти фавориту (который считался приемлемым лишь как помощник короля в делах управления), а также сотрудничать со знатью и делить с ней власть (а тем самым и богатства). Оттеснение знати от власти, с точки зрения Сантильяны, есть не что иное как тирания, и именно в ней он обвиняет дону Альваро.

Довольно долго Иньиго Лопес был верен арагонским инфантам, но в 1429 г. перешел на сторону коннетабля, хотя и не испытывал к нему симпатии. Поставленный на защиту участка границы с Арагоном, в начавшейся войне он был сразу же разбит (впрочем, превосходящими силами противника), но бился храбро и в общественном мнении, пожалуй, даже выиграл. По иронии судьбы, от плена его тогда спас конь, пожалованный ему незадолго перед тем королем Арагона. Переход Иньиго Лопеса на сторону дону Альваро был оплачен весьма любопытным образом: даровав Иньиго Ло-

песу 12 селений вокруг Гвадалахары, прежде принадлежавших арагонской партии, тот сделал невозможным его примирение с инфантами; последствия этого пожалования сказывались еще почти полвека<sup>16</sup>.

Несколько следующих лет были в Кастилии относительно спокойными, что позволило в 1431 г. предпринять военные действия против Гранады, увенчавшиеся важной победой при Ла Игеруэле; Иньиго Лопес был в тот момент болен и не смог лично участвовать в битве, в которой отличились многие его люди. В 1437 г. он был назначен главным капитаном на границе Гранадского эмирата с епископствами Кордова и Хаэн; ему удалось захватить важную крепость Уэльма (под Хаэном) и закрепить военную победу дипломатическими успехами: по мирному договору 1439 г. мавры освободили 550 христианских пленников и выплатили большую дань.

Когда в 1440-е гг. возобновилась борьба между Альваро де Луной и инфантом Хуаном, Иньиго Лопес поддержал коннетабля, хотя и сохраняя дистанцию по отношению к нему. Он принял участие в победоносной для королевской партии битве при Ольмедо (19 мая 1445) и спустя три месяца удостоился высоких титулов: маркиз Сантьяна и граф Мансанарес эль Реаль. Их получение закрепило высокий статус семьи и обеспечило ей права на соответствующие владения, прежде не раз оспаривавшиеся.

Наличие множества законных детей (7 сыновей и 3 дочери) открывало перед Сантьяной широкие возможности использовать их браки для укрепления позиций рода. В этих браках прослеживается стремление как укрепить или возобновить прежние связи (с потомками тех, кто когда-то поддержал Энрике II, с другими ветвями рода Мендоса), так и установить новые связи, расширявшие влияние семьи на новые регионы (двойной брачный союз с могущественным в Андалусии родом Рибера). Чутко реагируя на любые колебания политической конъюнктуры и опираясь на сплоченную группу своих сыновей, зятьев и других родственников, Сантьяна сумел окончательно закрепить за родом его основные владения и даже расширить влияние семьи на локальном уровне, особенно вокруг Гвадалахары, где находилась значительная часть ее земель. Следует подчеркнуть, что совместные действия группы родственников ради достижения общей цели были вообще характерны для кастильской аристократии этого времени, но степень сплоченности род-

ственников Сантильяны на протяжении многих лет – во многом результат его личного авторитета и усилий. Важной стороной деятельности маркиза стало дальнейшее укрепление контроля над Гвадалахарой с помощью приобретения собственности в городе и его округе, строительства дворцов, получения от короны прав на сбор королевских рент и налогов, прав замещать городские должности или назначать на них.

Смирившись с утратой отцовского титула адмирала, Сантильяна не пытался достичь других высших должностей, престижных, но сопряженных с риском, однако был связан с некоторыми из тех, кто их исполнял, через браки своих детей и т.о. влиял на официальные решения. Не будучи в таком фаворе у монарха, как его отец и дед, он избрал менее эффективную, но более надежную тактику консолидации власти на региональном уровне и подготовил апогей могущества рода Мендоса в следующих поколениях.

Всю свою жизнь Сантильяна сочетал политическую деятельность, войны и управление своими владениями с учеными беседами, чтением и литературным творчеством. По словам его младшего современника Фернандо де Пульгара, включившего краткую биографию маркиза в свою книгу «Знаменитые мужи Кастилии», «оружие не отнимало [у него] время от ученых занятий, а ученые занятия не мешали вести беседы с рыцарями и оруженосцами его дома»<sup>17</sup>. Он владел несколькими романскими языками, а недостаточное знание латыни и полное незнание греческого отчасти компенсировал тем, что окружил себя учеными и заказывал им переводы античных текстов (в т.ч. первые кастильские переводы «Энеиды», «Метаморфоз», некоторых сочинений Цицерона и Сенеки). Он прекрасно знал поэтов XIV-XV вв., не только кастильских, но и каталонских, португальских, французских и итальянских; переписывался с известными учеными и писателями своего времени, ценившими его талант, глубокие познания, остроумие и изящество стиля. Он установил тесные связи со своим старшим родственником Фернаном Пересом де Гусманом, автором популярного сборника биографий знаменитых кастильцев того времени, и с Алонсо де Картахеной, который благодаря своему участию в Базельском соборе и переписке с Леонардо Бруни находился тогда в зените славы. Маркиз окружил себя людьми, прибывшими из Италии или испытывавшими сильное влияние ее культуры, и устроил их в своем доме в качестве переводчиков, секретарей и капелланов.

Литературное наследие Сантьяго достаточно обширно и очень многогранно: он писал лирику, поэмы, прозаические сочинения, собирал и обрабатывал фольклор. В 1449 г. или, возможно, немного раньше по просьбе коннетабля Португалии он собрал в одном томе всю свою поэзию. Письмо, выполнявшее роль предисловия – «Посвящение и письмо коннетаблю дону Педро Португальскому» – это первый в Испании случай приложения истории к литературным формам. Сантьяго описывает не только разные формы поэзии, но и их распространение из одного языка в другой, их историческое развитие на протяжении веков. «Посвящение и письмо...» содержит точные характеристики многих важных деятелей и явлений провансальской, итальянской и испанской литературы. Сантьяго первым оценил важную роль галисийско-португальской лирики в истории испанской литературы и ввел в нее имена современных ему поэтов Каталонии. Всего на страницах этого сравнительно небольшого произведения встречается около 40 имен поэтов и писателей XIV-XV вв.<sup>18</sup>; среди упомянутых им кастильских поэтов несколько его родственников, и ролью своей семьи в развитии испанской поэзии он явно гордился.

В книге «Пословицы, которые говорят старухи у очага» Сантьяго собрал, обработал и прокомментировал множество пословиц и поговорок, положив начало испанской фольклористике. Столь глубокий интерес к народному творчеству, необычный для аристократа, принес ему прозвище «маркиз поговорок». В его собственном творчестве фольклорная традиция предстает, однако, не в чистом виде, а в сочетании с влиянием провансальской куртуазной лирики и новых ренессансных веяний, воспринятых как непосредственно из Италии, так и через Каталонию. Эти влияния ярко проявились в лирике Сантьяго, относящейся главным образом к раннему периоду его творчества: «Песнях» (*Cançiones*), «Сказах» (*Decires*) и «Серранильях», очень простых по конструкции, легких, изящных и музыкальных. Написав, в подражание Петрарке, «42 сонета на итальянский лад», Сантьяго впервые ввел эту форму в литературу Испании и тем самым подготовил расцвет испанского сонета в XVI в.

В зрелые годы Сантьяго, довольно скептически относясь к любовным стихам, написанным им в молодости, создавал преимущественно аллегорические и морально-дидактические произведения. Нередко, в подражание Данте, в них рассказывается, как поэта посещает видение. Так, в

диалогической поэме «Маленькая комедия о Понце» (1444) королева-мать в видении беседует с Боккаччо, сетуя на поражение короля Арагона и Неаполя Альфонсо V в морской битве близ Понцы; появившаяся аллегорическая фигура Фортуны пророчествует о скором освобождении короля из плена. В поэме «Беседа Биаса с Фортуной» Биас, один из «семи мудрецов» Древней Греции, упрекает Фортуны в том, что она покровительствует недостойным; основное место в поэме занимает изложение философии Сенеки, на тот момент очень актуальной для адресата поэмы<sup>19</sup>. Поэма «Почтение фаворитам» является, по сути, ярким политическим памфлетом. Хотя она написана уже после казни коннетабля, маркиз гневно обличает своего врага, вкладывая в его уста публичное покаяние в грехах и преступлениях.

В творчестве Сантльяны сошлись многие тенденции развития испанской литературы XV в., причем в ряде случаев он выступил подлинным новатором. В зависимости от более узкого или более широкого понимания Возрождения Сантльяна трактуется либо (чаще всего) как фигура переходная от Средневековья к Возрождению, либо даже как представитель раннего Возрождения. Ни один испанский поэт того или более раннего времени не сравнится с ним ни по широте интересов, ни по той страсти, с которой он предавался античным авторам и великим итальянцам XIV века.

В творчестве Сантльяны нередки ноты пессимизма. Описывая бедствия Испании, погруженной в политический хаос, он иной раз выражал свое смятение и безнадежность в жалобах, напоминающих самые горькие сетования ветхозаветных пророков. В условиях, когда, казалось, уже невозможно найти достойную линию поведения, маркиз призывал вернуться к чести и добрым обычаям прошлого, ища опору в традициях и древней славе своей семьи. Да и на войне он старался вести себя как рыцарь, словно подражая героям Нахеры и Алжубарроты. В то же время Сантльяна был достаточно оптимистичен в отношении потенциальных способностей человека, что, возможно, связано с тем, что его политическая карьера в целом протекала вполне успешно. Конфликты, в которые он был вовлечен, заканчивались – во многом благодаря его дипломатическим способностям – если и не к его полному удовлетворению, то во всяком случае в целом благоприятно для его материальных интересов.

Маркиз собрал великолепную по тем временам библиотеку<sup>20</sup>, но о ее составе приходится говорить с известной

осторожностью. Дело в том, что, хотя книги маркиза или, по крайней мере, их значительная часть, сохранились до наших дней, заказать их каталог он так и не удосужился и в добавлениях к завещанию предписал старшему сыну и наследнику сделать это за него<sup>21</sup>. Имеющиеся каталоги фамильной библиотеки герцогов Инфантадо – потомков Сантьяго – относятся к гораздо более позднему времени, и мы не всегда знаем, какие именно из сохранившихся в библиотеке книг XIV-XV вв. имелись уже у маркиза, а какие были приобретены позже.

Тем не менее, основа книжного собрания Сантьяго установлена достаточно точно, и в любом случае не вызывает особых сомнений, что оно была гораздо богаче других пиренейских библиотек того времени, хотя не столько в количественном отношении, сколько в отношении качества подбора древних и современных авторов. Такая библиотека не просто стоила огромных денег (большинство сохранившихся книг – подлинные шедевры искусства рукописной книги), но могла быть создана только усилиями человека хорошо образованного, обладающего широким кругозором и связями в книжном мире – и в то же время четко знающего, чего он хочет, и умеющего отобрать лучшее. Известно, что в течение ряда лет во Флоренции жил родственник и друг Сантьяго, который по его поручению покупал книги, заказывал копии и переводы, информировал маркиза о новинках в этой области. В то же время в доме маркиза в Гвадалахаре находили приют гуманисты, знатоки древних и новых языков, которые становились секретарями маркиза, переводили и переписывали ему книги. Хотя книжное собрание Сантьяго впечатляет разнообразием тематики составляющих ее книг, главные области интересов ее владельца выступают вполне отчетливо: моральная философия, поэзия и история.

Основу библиотеки составляли несколько десятков античных авторов, как римских, так и греческих; большинство из них было представлено не одной, а несколькими рукописями. Больше всего среди них историков (Фукидид, Полибий, Тит Ливий, Цезарь, Саллюстий, Квинт Курций Руф, Светоний, Иосиф Флавий), но имелись также поэты (Гомер, Овидий, Лукан, Вергилий) и философы, в том числе Платон и Аристотель. Представлены античные сочинения о военном деле и об агрикультуре, «Естественная история» Плиния, Плутарх, Квинтилиан. Любимцы Сантьяго, Цицерон и Сенека, представлены в библиотеке богаче любых других ав-

торов – десятками рукописей, в подлинниках и в переводах. Все эти книги активно использовались Сантильяной, в своем творчестве он постоянно обращался к опыту античности и в этом отношении едва ли сильно отличался от своих флорентийских современников.

Состав библиотеки столь же очевидно показывает восхищение патристикой и высокую оценку благочестия. Маркиз явно хотел иметь в своей библиотеке творения отцов церкви и других известных авторов IV-VII вв., которые как раз в те годы вызвали к себе новый интерес в связи с Ферраро-Флорентийским собором. У него были Августин, Евсевий, Иоанн Златоуст, Василий, Амвросий, Иероним, Павел Орозий, Бозций, Григорий I. Зато авторы зрелого Средневековья представлены в минимальной степени, и только наиболее масштабными фигурами (по одному сочинению Бернара Клервоского, Иннокентия III, Аквината, Винсента из Бове, Рамона Льюля). Очевидное отсутствие интереса к схоластике вполне соответствует тому, что мы знаем о религиозности маркиза Сантильяны. Глубоко верующий человек, маркиз Сантильяна по личной склонности и по семейным традициям был наиболее близок к францисканцам, а также к иеронимитам с их установкой на *devotio moderna*.

Предпочтения Сантильяны в отношении авторов XIV-XV вв., представленных в библиотеке достаточно широко (там есть и Д. де Валера, и А. Шартье, и О. Боннэ), демонстрируют очевидную ориентацию на итальянский Ренессанс; его любимцы – Петрарка, Салютати и Леонардо Бруни, но в библиотеке имеются также Данте (вместе с комментариями к нему), Боккаччо, Манетти, Пальмьери. Из не-итальянцев больше всего кастильских и французских хроник.

Состав библиотеки Сантильяны довольно сильно отличает ее от других в Кастилии того времени. Так, в сохранившемся каталоге книг графов Бенаvente (1455)<sup>22</sup> ренессансной направленности почти не прослеживается (с Флоренцией XV в. предположительно можно связать только «Книгу Леонардо» – возможно, трактат Леонардо Бруни «О благородстве»), круг античных авторов значительно уже, зато гораздо больше трудов по схоластике и средневековых энциклопедий. Рядом с библиотекой Сантильяны эта кажется гораздо более «провинциальной» и традиционной – хотя обе комплектовались в одно время и лицами одного социального статуса. Пожалуй, именно в книжном собрании мар-

киза наиболее полно воплотились его ренессансные устремления.

Судить о еще одной ипостаси маркиза Сантильяны – его деятельности как покровителя архитектуры и искусства – непросто, поскольку его заказы в области архитектуры (а именно она более всего привлекала кастильских аристократов XV в.) до нас не дошли. Виноват в этом, парадоксальным образом, он сам, передавший в наследство потомкам свою склонность к меценатству. По этой причине они перестраивали построенное по заказу маркиза в соответствии со вкусами своего времени, а иногда и вовсе ломали прежнюю постройку, чтобы воздвигнуть на том же месте новое здание. Сохранились монастыри Богоматери в Сопетране и Сан-Франсиско возле Гвадалахары (ныне в черте города), которым Сантильяна пожертвовал значительные средства<sup>23</sup>, но как раз те работы, которые были сделаны при жизни маркиза, в дошедших до наших дней постройках не прослеживаются. Не сохранился, в частности, фамильный пантеон рода Мендоса в монастыре Сан-Франсиско, где Сантильяна был похоронен рядом с отцом и с женой; в XVII в. потомки заменили позднеготические гробницы в капелле на барочный склеп, а вскоре прямая мужская линия рода пресеклась, наследница вышла замуж за герцога Пастрану, и останки ее предков были перевезены в главную церковь Пастраны.

Более повезло сделанным по заказу маркиза произведениям живописи, среди которых выделяются ретабло Хорхе Инглеса для госпиталя в Буйтраго (изображения донаторов на этом ретабло считаются наиболее достоверными портретами маркиза и его жены) и хранящееся в Прадо произведение «мастера из Сопетрана». Сантильяну отличал очевидный интерес к нидерландской живописи, переживавшей в это время свой «золотой век».

Политическая деятельность маркиза Сантильяны, его литературные произведения, характер его библиофильства и меценатства – все это свидетельствует о нем как о человеке, который не только стоял на грани двух эпох, Средневековья и Ренессанса, но и достаточно отчетливо осознавал новизну и переходность своего времени и своего творчества. Прокладывая пути новой культуре и во многих отношениях мало чем отличаясь от современных ему итальянских гуманистов (но зато очень сильно отличаясь от подавляющего большинства своих современников), он в то же время часто ориентировался на традиции – и в политической деятельно-

сти, и в социальной практике, и в творчестве. И в своей традиционности был столь же цельным, как в своем новаторстве.

---

<sup>1</sup> См., например: Смирнов А.А. Средневековая литература Испании. Л., 1969. С. 165-168; История всемирной литературы. Т. 3. М., 1985. с. 339; Плавский З.И. Литература Испании IX-XV веков. М., 1986. С. 158-162.

<sup>2</sup> Изданы лишь несколько стихотворений Сантьяго (см., например: Маркиз де Сантьяго. Серранилья. Сонет. Пословицы // Книга песен. Из европейской лирики XIII-XVI вв. М., 1986. С. 389-391), а также его историко-литературный и критический труд: Посвящение и письмо, которые маркиз де Сантьяго послал коннетаблю Португалии вместе со своими сочинениями // Испанская эстетика. Ренессанс. Барокко. Просвещение. М., 1977. С. 67-76.

<sup>3</sup> Amador de los Rios J. Obras de Iñigo López de Mendoza, marqués de Santillana. Madrid, 1852; Schiff M. La Bibliothèque du Marquis de Santillane. Paris, 1905; Pérez Bustamante R. Iñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, 1398-1458. Santillana del Mar, 1981; Redondo Alcaide I. El marques de Santillana, señor de Buitrago. Homenaje en el VI centenario de su nacimiento. М., 1998.

<sup>4</sup> Layna Serrano F. Historia de Guadalajara y sus Mendozas. Т. 1-3. Madrid, 1942. Т. 1; Nader H. Los Mendoza y el Renacimiento español. Guadalajara, 1986; Belén Sánchez Prieto A. La casa de Mendoza hasta el tercer duque del Infantado (1350-1531). El ejercicio y alcance del poder señorial en la Castilla bajomedieval. Madrid, 2001.

<sup>5</sup> El marqués de Santillana, 1398-1458. Los albores de la España Moderna. V. 1-4. Hondarribia, 2001. В юбилейный 1998 г. выставка была лишь задумана, осуществить же проект удалось лишь в 2001 г.

<sup>6</sup> См., например, полное издание: Iñigo López de Mendoza, marqués de Santillana. Obras completas / Edición, introducción y notas de Ángel Gómez Moreno, Maximilian P.A.M.Kerkhof. Barcelona, 1988.

<sup>7</sup> Layna Serrano F. Op. cit., t. 1. Apéndice documental; Pérez Bustamante R., Calderón Ortega J.M. El marqués de Santillana (Biografía y documentación). Santillana del Mar, 1983; García Rubio L. Documentos sobre el marqués de Santillana. Murcia, 1983.

<sup>8</sup> Moxó S. de. De la nobleza vieja a la nobleza nueva. La transformación nobiliaria castellana en la Baja Edad Media // Cuadernos de Historia. Anejos de la revista «Hispania». Т. 3. Madrid, 1969. P. 1-210.

<sup>9</sup> Nader H. Op. cit., p. 62.

<sup>10</sup> О роли майората для консолидации могущества кастильской знати см.: Clavero B. Mayorazgo: Propiedad feudal en Castilla, 1369-1836. Madrid, 1974.

<sup>11</sup> Такая практика, удобная полной симметричностью взаимных финансовых обязательств, была достаточно распространена.

<sup>12</sup> Такая пропорция была довольно редкой среди членов рода Мендоса, часто имевших внебрачных детей; правда, они старались по

возможности узаконивать их и обеспечивать им максимальные возможности для карьеры.

<sup>13</sup> Подробнее о политической борьбе в Кастилии в первой половине XV в., о роли в ней и о позиции маркиза Сантьяго см.: Layna Serrano F. Op. cit., t. 1. P. 134-251; Suárez Fernández L. Nobleza y monarquía. Puntos de vista sobre la historia castellana del siglo XV. Valladolid, 1959. P. 75-138; Nader H. Op. cit., p. 65-72; Belén Sánchez Prieto A. Op. cit., p. 52-113; El marqués de Santillana, 1398-1458. Los albores de la España Moderna. V. 1-4. Hondarribia, 2001. Passim.

<sup>14</sup> Одна такого рода работа была издана и на русском языке; ее название говорит само за себя: Розенберг А.М. Констебль Кастильский Альваро де Луна и его борьба с силами феодальной реакции // Ученые записки Ленинградского Государственного пединститута им. А.И. Герцена. Вып. 45. Л., 1941. С. 37-78 (под констеблем, конечно же, имеется в виду коннетабль).

<sup>15</sup> Политические взгляды маркиза Сантьяго реконструированы А. Белен (Belén Sánchez Prieto A. Op.cit., p. 79-113) на основании его литературного творчества, а также соглашений с другими аристократами о совместных действиях (confederaciones).

<sup>16</sup> Лишь в начале 70-х гг. сын Иньиго Лопеса кардинал Мендоса добился от Фернандо Арагонского признания этого пожалования в качестве одного из условий поддержки Изабеллы в ее борьбе за трон Кастилии.

<sup>17</sup> Pulgar F. del. Claros varones de Castilla / Ed. de R. B. Tate. Madrid, 1985. P. 97.

<sup>18</sup> Посвящение и письмо... // Испанская эстетика. Ренессанс. Барокко. Просвещение. М., 1977. С. 67-76.

<sup>19</sup> Маркиз посвятил поэму Фернанду Альваресу де Толедо, который с детских лет был ему ближайшим другом и «больше, чем братом»; в это время тот по приказу Альваро де Луны находился в заключении. Сам маркиз сумел тогда спастись, но болезненно переживал заключение друга.

<sup>20</sup> О библиотеке маркиза подробнее см.: Schiff M. Op. Cit.; Gómez Moreno A. Don Iñigo López de Mendoza, sus libros y su empresa cultural // El marqués de Santillana, 1398-1458. Los albores de la España Moderna. El Humanista. Hondarribia, 2001. P. 59-81.

<sup>21</sup> Layna Serrano F. Op. cit., t. 1. P. 325-326.

<sup>22</sup> Beceiro Pita I. Los libros que pertenecieron a los Condes de Benavente, entre 1434 y 1530 // Hispania. Revista española de historia. № 154. Madrid, 1983. P. 237-280.

<sup>23</sup> Fernández Madrid M. T. Una familia de mecenas: la Casa de Mendoza // El marqués de Santillana, 1398-1458. Los albores de la España Moderna. El Humanista. Hondarribia, 2001. P. 129-153.

## Как Жан Бесстрашный стал фламандцем?

Имя герцога Бургундского Жана Бесстрашного традиционно ассоциируется с целым рядом известных исторических событий. В молодости он был одним из предводителей крестового похода и побывал в турецком плену (а личным участием в крестовом походе в то время мог похвастаться далеко не каждый европейский правитель). Жан Бесстрашный заказал убийство Людовика Орлеанского, но смог оправдаться и продолжить борьбу за власть во Франции. В ходе этой борьбы герцог завоевал любовь парижан. Он проводил достаточно самостоятельную политику в отношении с Англией и в итоге, хотя так и не заключил союза с Англией, не привел свои войска на битву при Азенкуре. Жана Бесстрашного убили люди дофина, что привело к тяжелым для французской короны последствиям.

Совершенно очевидно, что во всех этих событиях (возможно, за исключением крестового похода) Жан Бесстрашный выступает как видный и временами довольно успешный французский политик. Именно так его обычно и представляют в историографии. Подавляющее большинство исследователей акцентируют свое внимание на его роли в конфликте между бургундцами и арманьяками, или же на его участии в политической борьбе в начале XV в. во Франции в целом<sup>1</sup>.

Но у Жана Бесстрашного была еще одна роль, часто оказывающаяся незаслуженно забытой историками, и в ней он оказался гораздо более удачливым, чем во французской политике: он был правителем в своих собственных обширных владениях. В том числе Жан Бесстрашный был графом славящейся своей непокорностью Фландрии. Отношения фламандцев со своими правителями традиционно складывались очень непросто. Богатые и могущественные города Гент, Брюгге и Ипр на протяжении XIV века два раза организовывали крупные восстания против своих сеньоров<sup>2</sup> и пытались признать своим сюзереном короля Англии. Кроме того, графам Фландрии периодически приходилось сталкиваться с городскими волнениями и регулярными заговорами против своей власти. Главным политическим противником графской власти был сформировавшийся к XIV в. оригинальный фламандский представительный орган, называвшийся «Четыре Члена Фландрии», в который входили три

крупнейших города и более мелкие города и поселения, объединенные в четвертый Член – Свободный Брюгге<sup>3</sup>.

До того, как земли Фландрии перешли к бургундской династии Валуа, ими больше столетия управляла другая династия, также происходившая из Франции (Шампани) – династия Дампьеров. За время своего правления эта династия успела стать для фламандцев относительно «своей». Но крупномасштабное восстание против графской власти в начале 80-х гг. XIV века значительно расстроило отношения между последним графом Фландрии из династии Дампьеров – Людовиком Мальским и его подданными<sup>4</sup>. После его смерти, произошедшей до окончательной победы над восставшими, графом Фландрии стал зять Людовика Мальского герцог Бургундский Филипп Храбрый. Таким образом, первый представитель бургундской династии во Фландрии был вынужден начать свое правление с подавления восстания. После этого отношения между герцогом Бургундским и его фламандскими подданными оставались крайне натянутыми<sup>5</sup>. Правление Филиппа Храброго в качестве графа Фландрии, как и недолгое правление его жены Маргариты Мальской после смерти мужа, было охарактеризовано фламандцами как правление верных представителей французского королевского дома<sup>6</sup>.

Герцог Бургундский произвел весьма непопулярные во Фландрии изменения: созданный им совет Фландрии находился во французской Фландрии в Лилле<sup>7</sup>, что вызвало острое недовольство Четырех Членов Фландрии, считавших, что герцог Бургундский пренебрегает, таким образом, непосредственно фламандскими городами. Кроме того, делопроизводство велось на французском языке, тогда как Четыре Члена Фландрии хотели, чтобы оно велось на фламандском.<sup>8</sup> Недовольство во Фландрии вызывало и то, что Филипп Храбрый был активно занят управлением Францией, не уделяя, по мнению фламандцев, достаточного внимания своим северным владениям.

Его супруга Маргарита Мальская, правившая во Фландрии недолгое время после смерти мужа, хотя и происходила из ставшей почти «фламандской» династии Дампьеров, демонстративно предпочитала иметь резиденцию в небольшом и спокойном графстве Артуа, а не в склонных к восстаниям фламандских городах. Четыре Члена Фландрии не желали мириться со сложившейся ситуацией и активно противостояли политике, проводимой Филиппом Храбрым во

Фландрии. Они регулярно встречались на ассамблеях и выработывали требования к герцогу Бургундскому, а также периодически организовывали заговоры против графской власти и старались помешать работе графской администрации, направленной против их интересов.

На фоне отношений графов Фландрии и их подданных в конце XIV - начале XV веков, правление во Фландрии Жана Бесстрашного, сына и наследника Филиппа Храброго и Маргариты Мальской, выглядит достаточно необычно. Еще до того, как Жан Бесстрашный унаследовал титул герцога Бургундского, он был до определенной степени вовлечен в политику, проводимую его отцом во Фландрии и в Нидерландах в целом. В качестве наследника престола он дважды путешествовал по северным владениям своего отца: в 1394 г.<sup>10</sup> и в 1398 г.<sup>11</sup>.

Во время первого из этих путешествий, Жан Бесстрашный участвовал в торжественной церемонии закладки новых укреплений в Слейсе<sup>12</sup>. Кроме того, он смог оценить трудности управления Фландрией, так как принял участие в сложных переговорах, которые проводила в это время Маргарита Мальская с фламандскими городами.<sup>13</sup> Тем не менее, после 1398 г. и до момента своего вступления на бургундский престол Жан Бесстрашный, так же как и его родители, явно не проявлял внимания к Фландрии. Он предпочитал проводить свое время либо в герцогстве Бургундия, либо в Париже с отцом, либо в Артуа с матерью.<sup>14</sup> Таким образом, Жан Бесстрашный был всё это время, так же как и его родители, вполне «французским» принцем, имевшим не слишком полное представление о своих будущих северных владениях и проявлявшим к ним не слишком большой интерес.

Ситуация резко изменилась после того, как Жан Бесстрашный унаследовал после смерти Маргариты Мальской весной 1405 г. её фламандские земли. Уже через несколько дней после смерти матери Жан Бесстрашный почувствовал, что значит быть правителем Фландрии. Представители Четырех Членов Фландрии отправили к нему делегацию с просьбой приехать во Фландрию, чтобы разрешить существующие в графстве проблемы<sup>15</sup>. Жан Бесстрашный в скором времени выполнил просьбу своих подданных и прибыл в Гент<sup>16</sup>. Там фламандцы преподнесли своему новому правителю список требований, которые они и раньше предъявляли его родителям. В числе требований было:

1) Иметь резиденцию в одном из фламандских городов. В случае отсутствия во Фландрии по каким-либо причинам Жана Бесстрашного, Фландрией должна была лично управлять его жена Маргарита Баварская. Если же не было ни герцога, ни герцогини, то они должны были назначить вместо себя советников, которые были хорошо знакомы с фламандскими делами. Требование Четырех Членов было более чем обоснованным, так как за последние четыре года правления Филипп Храбрый провел во Фландрии всего около недели, Маргарита Мальская там не появлялась<sup>17</sup>, но при этом официально никто не был назначен, чтобы замещать герцога или герцогиню<sup>18</sup>.

2) Перенести совет Фландрии из французской Фландрии (Лилля) в один из городов фламандской Фландрии, а также сохранять все привилегии, законы и права фламандцев.

3) Заключить торговый договор с Англией, переговоры о котором шли уже несколько лет, так как от морской торговли зависело процветание Фландрии<sup>19</sup>.

4) Герцог, герцогиня и совет Фландрии должны давать ответы на фламандском языке на любые требования Четырех Членов Фландрии (или каждого из них в отдельности)<sup>20</sup>.

Стоит отметить, что из вышеперечисленных требований предыдущие правители более-менее внимательно относились только к вопросу о договоре с англичанами<sup>21</sup>, хотя не совсем понятно, насколько искренними были их инициативы по поддержанию мира и безопасности торговли с Англией. Насчет остальных вопросов, Филипп Храбрый и Маргарита Мальская предпочитали отвечать, что они разрешат их, «как только представится возможность»<sup>22</sup>, и продолжали игнорировать все требования, которыми буквально засыпали их не желающие мириться со сложившейся ситуацией фламандцы.

Жан Бесстрашный не последовал примеру родителей и решил поддерживать со своими новыми подданными хорошие отношения. Все требования, выдвинутые Четырьмя Членами, были до определенной степени им выполнены. Торговым договор с Англией был, наконец, заключен в марте 1407 г. Этот договор продляли на протяжении всего правления Жана Бесстрашного, несмотря на частые изменения в

отношениях между самим герцогом Бургундским и английскими королями<sup>23</sup>. В отношениях с Англией Жану Бесстрашному достаточно успешно удавалось выступать в двух разных ролях: французского принца, который мог воевать с англичанами, пытаться заключить с ними политический союз или соблюдать нейтралитет, и графа Фландрии, который оберегал торговые интересы своих северных владений, стараясь, чтобы их не коснулись перипетии англо-французской борьбы.

Также было выполнено требование Четырех Членов, касающееся переноса совета Фландрии из Лилля в один из фламандских городов. Сначала совет перенесли в Ауденарде<sup>24</sup>, а через несколько лет в самый крупный фламандский город – Гент, который стал на время центром герцогской власти во Фландрии. Большинство членов совета Фландрии были фламандцами, что вполне удовлетворяло ожидания Четырех Членов. При этом герцог приказал, чтобы в совете разговаривали на французском языке только в том случае, если происходит его закрытое заседание. В противном случае разговаривать следовало на фламандском. На этом же языке следовало отвечать на поданные на фламандском запросы<sup>25</sup>.

Стоит отметить, что Жан Бесстрашный сам не знал фламандского языка, хотя Филипп Храбрый и пытался обучить ему своего сына. Тем не менее, известно, что герцог Бургундский выбрал себе девиз именно на языке жителей Фландрии, звучавший как «Ik hou» («Я выстою»). Несмотря на собственный горький опыт с изучением фламандского, Жан Бесстрашный постарался научить языку своих северных земель сына и наследника Филиппа.<sup>26</sup> Видимо, будущий Филипп Добрый в итоге так и не освоил фламандский, так как во время своего правления всегда обращался к жителям Фландрии через переводчика<sup>27</sup>. Но то, что Жан Бесстрашный показал уважение к языку фламандцев, уже заслуживает внимания.

Однако еще более интересно то, что Жан Бесстрашный смог в значительной мере выполнить требование Четырех Членов Фландрии о резиденции во Фландрии. В первые несколько лет своего правления он часто проводил там время, уделяя внимание проблемам своих подданных. Хотя политическая ситуация во Франции складывалась в это время весьма не благоприятно для Жана Бесстрашного, он не забыл о Фландрии ради борьбы за влияние на Карла VI. Осо-

бенно обращает на себя внимание год, в который произошло убийство Людовика Орлеанского: Жан Бесстрашный организовал устранение политического противника, а при этом сам значительную часть времени – примерно полгода – провел не во Франции, а в своих северных владениях. И большая часть этого полугодия приходится на время до того момента, как герцогу Бургундскому пришлось срочно бежать из Парижа, опасаясь наказания за убийство.<sup>28</sup>

Еще больше времени во Фландрии проводила в начале правления Жана Бесстрашного его жена Маргарита Баварская, которая по много месяцев жила в Генте, также занимаясь государственными делами<sup>29</sup>. В 1409 году её отправили управлять южными владениями в самом герцогстве Бургундия<sup>30</sup>. На её место в 1411 г. Жан Бесстрашный, решивший удовлетворить жалобы фламандцев на долгое отсутствие в графстве правителей, отправил своего 15-летнего сына Филиппа, вскоре официально назначенного наместником герцога Бургундского<sup>31</sup>. Сам герцог также продолжал приезжать во Фландрию на довольно долгие сроки<sup>32</sup>. При этом он по-прежнему старался удовлетворять большинство требований, предъявляемых ему фламандскими подданными.<sup>33</sup> В связи с этим жалобы фламандцев на отсутствие правителей кажутся не слишком обоснованными. Но, по всей видимости, им бы хотелось, чтобы герцог Бургундский и его родственники окончательно превратились во «фламандцев», постоянно проживая на территории Фландрии и окружив себя фламандскими чиновниками и советниками.

Интересно, что на первый взгляд политика Жана Бесстрашного во Фландрии не привела к тем результатам, на которые мог бы рассчитывать герцог взамен на «профламандское», а не «профранцузское» отношение к этим землям. Он практически не получал от них ни дополнительных дотаций, о которых он их просил, ни поддержки контингентами войск, которая была ему необходима. А если фламандцы и шли навстречу своему правителю, то они стремились дорого продать ему вотирование требуемых дотаций или войска, настаивая на введении многочисленных новых привилегий. Тем не менее, его политика во Фландрии оказалась эффективнее политики его отца, постоянно игнорировавшего требования фламандцев, так как Жану Бесстрашному чаще удавалось добиться от фламандцев вотирования дополнительных налогов. Относительно хорошие отношения герцога Бургундского с фламандцами принесли свои плоды и во

время войны с арманьяками. Фламандцы мало чем помогли своему графу, несмотря на его неоднократные просьбы. Но в критический момент, когда арманьяки, выступая от имени Карла VI, попытались уговорить фламандцев не подчиняться Жану Бесстрашному, они предпочли сохранить верность своему правителю.

Правление Жана Бесстрашного во Фландрии являет собой разительный контраст как с правлением его отца, так и с правлением Филиппа Доброго. За 14 лет, которые Жан Бесстрашный был графом Фландрии, его отношения с подданными значительно улучшились благодаря тому, что он шел навстречу интересам фламандцев. Стоит отметить, что за это время не только не произошло ни одного крупного восстания, которыми так славилась Фландрия, но даже и относительно небольших конфликтов городов с герцогом Бургундским было не много. Жану Бесстрашному в большинстве случаев удавалось поддерживать хорошие отношения с муниципалитетами и Четырьмя Членами Фландрии. Он умело лавировал, используя внутренние конфликты, существовавшие между городами и в самих городах, добиваясь выгодного ему политического режима во Фландрии<sup>34</sup>. Кроме того, ему удалось успешно использовать восстание в расположенном недалеко от Фландрии Льежском епископстве, чтобы напомнить фламандцам на чужом примере, как подавляются восстания.

Несомненно, что фламандцы, хотя и продолжали постоянно что-то требовать от своего графа (доказывая, что полностью довольными люди никогда не бывают), все-таки были в достаточной степени удовлетворены его мирным правлением, при котором постоянно уделялось внимание их интересам. Для них Жан Бесстрашный «стал фламандцем» гораздо больше, чем большинство из их предыдущих и последующих правителей (за исключением разве что Карла V). Возможно, именно поэтому правление Жана Бесстрашного — практически единственное не омраченное восстаниями, войнами и кровавыми битвами фламандцев со своими графами.

---

<sup>1</sup> См., в частности: Avout J. d'. La querelle des Armagnacs et des Bourguignons. Histoire d'une crise d'autorité. Paris. 1943; Dupuy M. Le chaos d'ou sortit la France: Le temps des Armagnacs et des Bourguignons (1380-1435). Paris. 1980; Ehlers J. Ludwig von Orleans und Johann von Burgund (1407/1419). Vom Tyrannemord zur Rache als Staatsraison. Köln. 1996; Nordberg M. Les ducs et la

royauté. Études sur la rivalité des ducs d'Orléans et de Bourgogne. 1392-1407. Uppsala. 1964; Schoos J. Der machtkampf swischer Burgund und Orleans unter den Herzögen Philipp dem Kühnen, Johann ohne Fureht von Burgund und Ludwig von Orleans. Luxembourg. 1956; Shnerb B. Les Armagnacs et les Bourguignons: La maudite guerre. Paris. 1988; Zeller B. Les Armagnacs et les Bourguignons. La commune de 1413. Paris. 1886.

<sup>2</sup> Во время этих событий на сторону восставших городов переходило большинство жителей Фландрии. Графы Фландрии фактически не были в состоянии самостоятельно подавлять такие крупномасштабные восстания и были вынуждены обращаться за помощью к королям Франции.

<sup>3</sup> Свободный Брюгге включал не все небольшие города Фландрии, некоторые из них входили в состав других Членов, а некоторые вообще не входили ни в один из них. Таким образом, Четыре Члена Фландрии не включали в себя представителей всей страны. Во Фландрии существовал и более традиционный представительный орган – Штаты, но его влияние по сравнению с могущественными Четырьмя Членами Фландрии было крайне незначительным.

<sup>4</sup> До этого восстания отношения графа со своими подданными были относительно благополучными, так как он прислушивался к ряду требований, предъявляемых его подданными. Во время правления бургундской династии фламандцы часто вспоминали о том, как Людовик Мальский старался учитывать их интересы, например, в отношении поддержания перемирия и торговых отношений с Англией (Например: *Pétition des Brugeois et réponse des ambassadeurs anglais* (14 mars 1404) // *Le Cotton Manuscrit Galba B I. Annoté par Gilliodts van Severn M.L. Bruxelles. 1896. P. 74; Lettre des ambassadeurs d'Angleterre aux Brugeois* (7 mai 1404) // *Ibid. P. 83.*) Тем не менее, фламандцы были крайне недовольны усилением французского влияния во Фландрии, которое выразилось и в том, что Людовик Мальский не смог избежать заключения матримониального союза между своей дочерью и наследницей Маргаритой и герцогом Бургундским Филиппом Храбрым.

<sup>5</sup> *Les Chroniques de sire Jean Froissart qui traitent des merveilleuses emprises, noble aventures et faits d'armes advenus en son temps en France, Angleterre, Bretagne, Bourgogne, Escosse, Espagne, Portingal et les autres parties.* Ed. J. A. C. Buchon. T. 2. Paris. 1835. P. 64-93, 132-146, 196-286, 316-325, 339-351.

<sup>6</sup> seigneur et dame ... de la maison de France de la quelle il est extrait... (Protocole des ambassadeurs du duc de Bourgogne remis à ceux d'Angleterre (4 mai 1405) // *Le Cotton Manuscrit. P. 219.*

<sup>7</sup> Французская Фландрия отличалась от фламандской Фландрии по языку, на котором говорила большая часть населения этих земель. Кроме того, до заключения брачного договора между Филиппом Храбрым и Маргаритой Мальской, эти земли определенное время

находились под властью французского короля, и хотя были по этому договору вновь присоединены к Фландрии, но четко отделялись от фламандской её части.

<sup>8</sup> Vaughan R. John the Fearless. The growth of Burgundian power. L. 1966. P. 15.

<sup>9</sup> Только за период с начала февраля 1404 г. по начало марта 1405 г. Четыре Члена Фландрии собирались, по меньшей мере, на 40 парламентах или ассамблеях. Они рассматривали вопросы, касающиеся торговли и внешней политики, обсуждали требования правителей о вотировании налогов и выделении воинских контингентов. (Compte [du Franc de Bruges – A.M.] du 19 janvier 1404 (n. st.) au 12 mars 1405 (n. st.) // Le Cotton Manuscrit. P. XXXVIII – XLV.

<sup>10</sup> Во время своего первого большого путешествия во Фландрию Жан Бесстрашный, в основном, сопровождал свою мать. Филипп Храбрый, очевидно, решил, что фламандцам будет достаточно внимания со стороны его супруги, и провел во Фландрии в 1394 г. всего несколько дней (во фламандской Фландрии – всего три дня), продолжив затем заниматься более важными для него французскими делами. (Itinéraires de Philippe le Hardi // Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, ducs de Bourgogne (1363-1419), d'après les comptes de dépenses de leur Hôtel. Paris. 1888. P. 235.)

<sup>11</sup> В 1398 г. Жан Бесстрашный находился во фламандской Фландрии вместе с отцом, пробывшим там чуть больше двух месяцев (конец февраля, большая часть марта, первая половина апреля). Во время этого визита наследник бургундского престола также присутствовал на встречах своего отца с представителями фламандских городов и администрации. (Itinéraires de Philippe le Hardi // Itinéraires. P. 271-273.)

<sup>12</sup> Minute d'une lettre de [Jean, comte de Nevers] à son père [Philippe, duc de Bourgogne, etc.] 15 septembre 1394 / Laurent H., Quicke F. Documents pour servir à l'histoire de la Maison de Bourgogne en Brabant et en Limbourg (Fin du XIV<sup>e</sup> s.). Bruxelles. 1933. P. 122.

<sup>13</sup> Эти переговоры в том числе касались вотирования налогов, добиться которого от Четырех Членов Фландрии было всегда очень сложно. (Extrait de la minute d'une lettre de [Marguerite de Flandre] à son époux [Philippe, duc de Bourgogne, etc.] 12 octobre 1394 / Laurent H., Quicke F. Documents. P. 122-123.)

<sup>14</sup> Например: Itinéraires de Philippe le Hardi // Itinéraires. P. 297 – апрель и май 1400 г. Жан Бесстрашный проводит с отцом в Париже и его окрестностях. P. 323-325 – апрель и май в Аррасе и других городах Артуа с отцом, матерью и другими членами семьи, июнь – в Аррасе с матерью.

<sup>15</sup> Compte [de Bruges – A.M.] du 2 septembre 1404 au 2 septembre 1405 // Le Cotton Manuscrit. P. XXV.

<sup>16</sup> Маргарита Мальская скончалась 16 (по другим источникам – 21) марта 1405 г. А уже 15 апреля Жан Бесстрашный приехал в Гент,

пробыл там до конца месяца, а затем отправился в два других Члена Фландрии: Брюгге и Ипр, в каждом из которых провел примерно по полмесяца. Подобное внимание со стороны нового правителя должно было стать для фламандцев приятной неожиданностью, так как у них не было никаких оснований ожидать от Жана Бесстрашного, что он будет выполнять те требования, которые упорно игнорировали его родители (*Itinéraires de Jean sans Peur // Itinéraires. P.347-349.*)

<sup>17</sup> Филипп Храбрый в основном посещал Фландрию проездом из Артуа в Брабант. Самой длинной его остановкой во Фландрии за это время стало двухдневное пребывание в Ауденарде в октябре 1404 г. (*Itinéraires de Philippe le Hardi // Itinéraires. P. 318, 338.*)

<sup>18</sup> Во время короткого правления герцогини Маргариты Мальской Четыре Члена Фландрии буквально засыпали её требованиями приехать во Фландрию или постоянно поселиться там. В декабре 1404 г. они даже начали готовиться к её торжественному въезду в Брюгге, но приготовления были остановлены, так как стало очевидно, что герцогиня не приедет в ближайшем будущем. (*Compte [de Bruges – A.M.] du 2 septembre 1404 au 2 septembre 1405 // Le Cotton Manuscrit. P. XXI – XXIII.*)

<sup>19</sup> *Compte [de Bruges – A.M.] du 2 septembre 1404 au 2 septembre 1405 // Le Cotton Manuscrit. P. XXVII.*

<sup>20</sup> Vaughan R. *Op.cit.* P. 14-15.

<sup>21</sup> Сложнейшие англо-фламандские переговоры продолжались на протяжении 1402-1407 гг. Но во время правления Филиппа Храброго и Маргариты Мальской эти переговоры не привели к желаемому результату, хотя на словах герцог и герцогиня Бургундская стремились к заключению перемирия и торгового договора и предпринимали необходимые для его заключения действия. Интенсивная переписка между заинтересованными сторонами за эти годы содержится в публикации манускрипта *Le Cotton Manuscrit Galba B.I.* Например: *Réponse de la duchesse de Bourgogne aux quatre membres de Flandre (16 mai 1404) // Le Cotton Manuscrit. P. 86-87.*

<sup>22</sup> Vaughan R. *Op.cit.* P.15-16.

<sup>23</sup> *De Conventionibus cum Duce Burgundiae // Rymer. Foedera, conventiones, litterae et cujuscumque generis acta publica, inter reges Angliae & alios quosuis imperatores, reges, pontifices, principes vel communitates. L. 1816 – 1830. V. 4. Pt. 1. P. 109-112; De tractando cum Duce Burgundiae // Foedera. V. 4. Pt. 1. P. 125; Tractatus cum Duce Burgundiae, pro securitate mercatorum ex parte Franciae ratificatio // Foedera. V. 4. Pt. 1. P. 139-140; De tractando, cum adversario Franciae et cum Duce Burgundiae // Foedera. V. 4. Pt. 1. P. 189-190; Super motibus Ducis Burgundiae contra alligatos principes // Foedera. V.4. Pt.2. P. 12; De Proclamatione Treugarum Flandriae // Foedera. V.4. Pt. 2. P. 17-18.*

<sup>24</sup> Это требование фламандцев было выполнено довольно быстро, так как уже в августе 1405 г. совет заседал в Ауденарде и Четыре

Члена Фландрии вели с ним активную переписку и посылали туда своих представителей, чтобы разрешить различные вопросы. (Compte [de Bruges – A.M.] du 2 septembre 1404 au 2 septembre 1405 // Le Cotton Manuscrit. P. XXVII.)

<sup>25</sup> Vaughan R. Op.cit. P. 18-19.

<sup>26</sup> Linden H. van der, Hamelius P. Anglo-belgian relations. Past and present. L. 1918. P. 52.

<sup>27</sup> Vaughan R. Op.cit. P. 155.

<sup>28</sup> Жан Бесстрашный провел во Фландрии февраль, март, период с конца мая по август и часть декабря 1407 г.. (Itinéraires de Jean sans Peur // Itinéraires. P.357-360).

<sup>29</sup> Например, в том же 1407 г. герцогиня Маргарита Баварская приехала к Жану Бесстрашному в Гент в апреле (до этого она находилась в Дуэ и Турнэ) и осталась во Фландрии после отъезда мужа в Париж в конце августа (Ibid. P. 356, 360).

<sup>30</sup> Маргарита Баварская прибыла в Бургундию вместе с мужем и детьми в мае 1409 г. С этого момента она в течение 10 лет достаточно успешно занималась управлением южными владениями Жана Бесстрашного. (Ibid. P. 370, 382, 392, 414, 433.)

<sup>31</sup> Филипп, граф Шароле (таков был титул наследника герцогства Бургундского), приехал во Фландрию вместе с отцом в июле 1411 г. и участвовал во встречах Жана Бесстрашного с представителями фламандских городов. Затем в сентябре Жан Бесстрашный уехал в Слейс, а потом в Париж, оставив во Фландрии вместо себя сына. (Ibid. P.380-382)

<sup>32</sup> Например, он провел на территории фламандской Фландрии почти всё время с сентября по декабрь 1413 г., январь, часть марта, большую часть апреля, часть мая, часть июля, начало августа и конец сентября – начало октября 1414 г., с марта по июль 1416 г. (Ibid. P. 401-412, 424-427.)

<sup>33</sup> Продлить на длительный срок торговый договор и перемирие с Англией; начать выпускать новые серебряные монеты, о которых договорились друг с другом Четыре Члена Фландрии; чтобы фламандцы подчинялись только собственным законам, традициям и обычаям, и герцогские чиновники не вмешивались в их дела; устранить препятствия для торговли с Францией и открыть франко-фламандскую границу; назначать в совет Фландрии в Генте, а также в качестве герцогских чиновников, только фламандцев по рождению и т.д.

<sup>34</sup> Vaughan R. Op.cit. P. 163-172.

### **Генрих V во Франции: нерожденная империя**

Высадка английского войска под командованием короля Генриха V в Северной Франции в 1415 г., битва при Азенкуре и последовавшая борьба англичан за оккупацию Нормандии – широко известные факты второго периода Столетней войны. Этот бесконечно долгий англо-французский военно-политический конфликт в целом представляет собой, на мой взгляд, очень ясное «зеркало осени Средневековья» в Западной Европе.

Фигура Генриха V, знаменитого героя Азенкура, идеализированная и воспетая британской историографией и гением Шекспира, – одна из весьма характерных для социально-психологического и конкретно-исторического контекста эпохи. Думаю, что его достаточно короткая жизнь (1387-1422 гг.) и судьба удивительно отчетливо отразили переломный характер рубежа XIV-XV вв., что позволяет рассматривать их как своего рода «зеркало» внутри «зеркала осени Средневековья».

Планы Генриха V во Франции можно с большой уверенностью рассматривать как очевидное наследие классического Средневековья. Конфликт между королевскими домами Капетингов и Плантагенетов восходил к середине XII в. и был отчетливо окружен «романтическим ореолом» браков и разводов, любви и ревности. Средоточием этого была Алиенора Аквитанская, побывавшая последовательно королевой Франции и Англии. Это была абсолютно куртуазная фигура, впитавшая поэтическое наследие своих предков-трубадуров, героиня бесконечных поэтических состязаний и рыцарских турниров, участница Второго Крестового похода.

Развитие англо-французского конфликта в первой половине XIV в., получившее в историографии XIX в. условное название Столетней войны, также вполне отражало идеалы «рыцарского Средневековья».

Английский король Эдуард III имел вполне законные права на французский престол, будучи внуком знаменитого Филиппа IV Красивого. Свои отвергнутые в 1328 г. французской знатью династические притязания он возобновил в 1337 г. посредством совершенно средневекового жеста, включив изображение французских лилий в геральдическое поле Плантагенетов. Последовавшие события Столетней войны (сражения при Слейсе, Креси, Пуатье) также неотделимы от истории рыцарства, о гибели «цвета» которого со стороны французов так скорбел хронист Фруассар<sup>1</sup>.

В битве при Пуатье один из образцовых рыцарей Западной Европы – сын английского короля Эдуард Черный Принц – нанес поражение французскому королю Иоанну II Доброму, известному своей преданностью рыцарским идеалам и попыткой подкрепить их с помощью созданного им «Ордена Звезды». Поражение при Пуатье превратило его в почетного пленника английской короны, так и скончавшегося в заточении, слагая куртуазные стихи. Классическое рыцарственное поведение Иоанна II Доброго проявилось также в его добровольном возвращении в заточение в связи с неполной уплатой суммы выкупа и бегством заложника-сына.

Конец XIV в. внес в характер англо-французского конфликта принципиальные изменения, глубинную сущность которых далеко не всегда замечали и понимали современники. Так, французский король Карл V, отнюдь не случайно получивший прозвище Мудрый, вызвал недоумение современников, назначив коннетаблем Франции неродовитого бретонского рыцаря Бертрана Дюгеклена. Методы ведения войны, которые применял Дюгеклен, встречали в среде французской знати уже не только недопонимание, но и осуждение. По существу он вел партизанскую войну против англичан на Юго-Западе Франции, не вступая в традиционные крупные сражения, устраивая засады и даже заключая тайные соглашения с жителями оккупированных французских городов<sup>2</sup>. Все это было весьма «нерыцарственно», однако принесло существенные результаты в ходе войны против англичан.

Наступление XV века в Англии было облечено в трагическую и символическую форму насильственной смены династии в результате дворцового переворота 1399 г. и слегка завуалированного убийства Ричарда II (свергнутый последний Плантагенет умер в заточении, по слухам – от голода).

Первым представителем новой династии Ланкастеров стал отец Генриха V, Генрих IV (1399-1413 гг.). При французском дворе его открыто называли узурпатором, при английском дворе это слово звучало в шепоте недовольных и из уст бесконечной череды заговорщиков. Все современные событиям хроники пересказывают слухи о том, что Ричард II жив и скрывается то ли на севере Англии, то ли в Шотландии.

Здесь, на мой взгляд, можно говорить об одном из истоков самоидентификации Генриха V: вольно или невольно он – сын «узурпатора», того, чье правление положило конец великой династии Плантагенетов, начавшейся в 1154 г. при Генрихе II. Именно Плантагенеты открыто и непримиримо противо-

стояли французской короне в борьбе за свои законные, с точки зрения феодального права, владения во Франции: Нормандию, Анжу, Мен, Турень и Аквитанию. К концу правления первого Плантагенета в 1189 г. они составляли почти половину всех французских земель. Это породило известный историографический термин «Анжуйская империя»<sup>3</sup>. Под ним разумеется территориальное образование, которое создал английский король, присоединив к наследственным владениям Нормандского и Анжуйского домов во Франции некоторые территории в Шотландии и Ирландии. Империя не была провозглашена и закреплена юридически, существуя, так сказать, «виртуально».

Именно за эти земли боролся ставший легендарным английский король Эдуард III почти сто лет назад. Он вошел в историю Англии королем-героем, легендой, «человеком-Креси». Генриху V надо было дотянуться до этой высокой оценки, а скорее – превзойти её. Ведь он – сын «узурпатора». Таким образом, мир идей, с которыми Генрих V отправился во главе английского войска во Францию, безусловно, восходил к Средневековью, к давней традиции ставшего привычным противостояния Капетингов и Плантагенетов. Ему было необходимо принять на себя груз неразрешимых противоречий, реанимировав призрак «Анжуйской империи». Восстановление в политической практике великой цели – возвращения Англии континентальных владений в былом объеме – к тому же сулило новые военные победы и добычу. Это давало шанс умиротворить недовольных, привлечь на сторону Ланкастеров новый круг объединенных общей целью вассалов.

Арсенал средств, которыми английский король мог воспользоваться для решения поставленной задачи, был также очерчен средневековой традицией борьбы с Капетингами и «узурпаторами» (по версии Плантагенетов) Валуа. Эдуард III в свое время официально обращался к Филиппу VI именно как к узурпатору, называя его в письмах «Филиппом Валуа, который управляет сейчас вместо короля»<sup>4</sup>. В августе 1415 г. герольд Генриха V вручил Карлу VI письмо, которое начиналось так: «Благородному принцу Карлу, нашему кузену и противнику во Франции – Генрих, божьей милостью король Англии и Франции»<sup>5</sup>. Далее в письме говорилось, что он *обязан* вернуть законные права своих предшественников. В этом смысле Ланкастер прямо повторял действия Эдуарда III.

Давнюю средневековую традицию имели и матримониальные намерения Генриха V, которые реализовались в 1420 г.

согласно знаменитому договору в Труа<sup>6</sup>. Как известно, победитель битвы при Азенкуре вступил в брак с французской принцессой Екатериной, дочерью французского короля Карла VI Безумного. Этот династический союз, закреплявший намеченное в Труа объединение английской и французской корон под эгидой Ланкастерского дома, имел длительную предысторию, восходящую к временам Генриха II и Алиеноры Аквитанской.

Династическая линия взаимоотношений английской и французской корон получила развитие уже в ходе Столетней войны в самом конце XIV в. В 1396 г. в Кале было заключено малоизвестное мирное соглашение между последним Плантагенетом Ричардом II и французским королем Карлом VI<sup>7</sup>. Договор ограничивался сроком (28 лет), не решал реально ни одного спорного территориального вопроса, закрепив *status quo*, но был пышно и торжественно оформлен династически в классическом средневековом стиле. Овдовевший двадцатидевятилетний Ричард вступил в брак с девятилетней французской принцессой Изабеллой. После венчания маленькая принцесса вместе с куклами и няньками была отправлена в Лондон, где должна была жить в символическом браке до своего совершеннолетия. Французский король Карл VI, по сообщениям хронистов, стал называть Ричарда II «своим возлюбленным сыном»<sup>8</sup>.

Через двадцать четыре года тому же Карлу VI предстояло обрести по договору в Труа 1420 г. другого «возлюбленного сына» в лице Генриха V Ланкастерского. Династические жесты выглядят на удивление похожими, однако в начале XV в. исторический контекст события решительно и принципиально изменился.

Прибывший в Северную Францию в 1415 г. с грузом описанного выше «наследия», принятого им от Капетингов, Генрих V поначалу вполне мог испытать ощущение вернувшегося времени Эдуарда III, то есть эпохи великих побед Англии и возрожденной веры в скорое возвращение французских владений. Захват Гарнфлера и очередная громкая победа над французским войском при Азенкуре, должно быть, создавали именно такое впечатление. Отмечу, что в этих первых действиях Генриха V во Франции отчетливо проступал традиционный средневековый характер англо-французской войны. После захвата Гарнфлера и суровой расправы с его жителями английский король принял решение пройти грандиозным опустошительным рейдом через Нормандию, Пикардию и Фландрию до Кале. Недалеко от этого города, у деревушки

Азенкур, состоялась, также вполне в средневековой традиции, битва двух войск, встретившихся «в чистом поле».

Однако уже во время этого сражения произошло событие, на первый взгляд малозначительное, но принципиальное и по существу весьма симптоматичное. Английские хронисты в один голос сообщают о том, что в разгар битвы некие французские «грабители» напали на английский обоз. И это не очень отчетливо, но все же увязывается ими с беспрецедентным решением Генриха V приказать перебить пленных французских рыцарей.

Вглядываясь более пристально в этот удивительный эпизод, я пришла к выводу, что в данном случае надо поверить одиноко стоящему сообщению бургундского хрониста Монстреле. Он рассказал, что на английский обоз напал отряд из шестисот французских крестьян во главе с местными рыцарями. Они не только похитили имущество из обоза, но и захватили «многих англичан»<sup>9</sup>. Это выглядит не просто грабительской акцией, а скорее настоящим ударом в тыл, нанесенным неким французским отрядом в самом разгаре сражения. Подтверждением такого предположения является, на мой взгляд, и необычное поведение «грабителей», о котором дружно сообщают английские хронисты. Вместо того, чтобы бежать с добычей, чтобы бежать с добычей, пользуясь суматохой сражения, они начали бить в колокола, кричать, что английский король убит, и громко распевать молитву «Тебя, Господи, хвалим!»<sup>10</sup>.

Все это заставило современников предположить, что пленные французские рыцари под влиянием необычного поведения своих земляков могли как-то проявить готовность снова ринуться в бой. Это было бы грубым нарушением строгих законов рыцарской чести. Однако уже вторая половина XIV в. дала немало примеров отступлений от того, что в эпоху классического Средневековья казалось незыблемым<sup>11</sup>.

Упомянувшийся выше французский король Иоанн II Добрый был борцом за укрепление пошатнувшихся устоев самого знаменитого в тогдашней Европе французского рыцарства, но те, кто бросил его с немногочисленным окружением на поле боя близ Пуатье в 1356 г., конечно же, попрали былые великие идеалы. Это прекрасно поняли современники – например, автор анонимной поэмы «Жалобная песня о битве при Пуатье» или французские горожане, которые забрасывали тухлыми овощами рыцарей, предавших короля под Пуатье.

Английский король Генрих V, сын первого Ланкастера, предводитель английского войска при Азенкуре, был, как показано выше, основательно вооружен идеями и мечтами «рыцарских веков». Но он сам, видимо, уже должен быть назван человеком рубежного XV века. И он не стал дожидаться возможного отступления пленных французов от рыцарских идеалов. Он нарушил их первым, отдав приказ перебить пленных. Как правило, специалисты по военной истории отмечают, что этим английский король предотвратил возможный перелом в сражении, вызвав осуждение некоторых современников<sup>12</sup>.

Поведение Генриха V после Азенкура внешне весьма напоминало действия Эдуарда III в начале Столетней войны. Нет сомнений, что Ланкастеру очень хотелось походить на знаменитого Плантагенета. Как когда-то Эдуард III после Креси, Генрих проследовал во главе войска в Кале. В отличие от великого предшественника, он не должен был осаждать этот город, который современники называли «воротами Франции». Со времени Эдуарда III Кале находился под английской властью, что могло создать иллюзию «открытых ворот» для завоевателей. В стратегическом отношении это так и было. Генриху V, казалось бы, было гораздо легче завоевать Францию, чем когда-то Эдуарду III. Если последнему пришлось целых восемь месяцев осаждать этот прекрасно укрепленный город, то Генриха V там ждали. Его прибытие было отмечено непрерывными праздничными шествиями и торжественными богослужениями в честь великой победы в сражении.

При всей пышности торжеств в Кале, еще нельзя было говорить о выполнении главной задачи – возвращении утраченных владений во Франции. Сам Кале уже более семидесяти лет был английским городом, и прибытие в него Генриха V с войском ничего не меняло по существу. Для реального покорения территорий, некогда принадлежавших английской короне во Франции, нужны были специальные усилия. Условия для выполнения исторической задачи казались идеальными: во Франции, потерпевшей очередное сокрушительное поражение от англичан, разразилась давно назревавшая гражданская война.

Долгое правление душевнобольного Карла VI Валуа (король с 1380 г.) создало к началу XV в. благоприятные условия для непримиримой борьбы придворных «партий» Арманьяков и Бургиньонов за реальную власть. Арманьяки группировались вокруг Орлеанской ветви королевского дома, Бургуньоны – вокруг Бургундской. Последние твердо шли к союзу с англи-

чанами, готовые в случае успеха уступить им часть французских земель. В этом классически феодальном контексте восходящие к глубинам Средневековья цели Генриха V должны были представляться вполне выполнимыми. В 1416 г. английский король заключил с герцогом Бургундским официальный союз<sup>13</sup> и летом 1417 г. снова высадился во Франции с большим войском.

Специалисты по военной истории, изучавшие военные кампании Генриха V, называют его «завоевателем нового типа». Он стремился реально подчинить себе северофранцузские территории, расположив в захваченных городах английские гарнизоны и проведя массовые конфискации земель в пользу своих английских вассалов<sup>14</sup>. При этом он возвращал конфискованные владения тем французским феодалам, которые твердо переходили к нему на службу<sup>15</sup>.

И все же в благоприятных для англичан условиях отчаянной борьбы придворной знати за власть, фактически приведшей к довольно масштабной гражданской войне во Франции (Бургуньоны штурмом взяли Париж, уцелевших Арманьяков возглавил дофин Карл, бежав в Пуатье и там объявив себя регентом etc.), Генрих V покорял Северную Францию с очень большим трудом. Завоевание Нормандии отняло у него два года (1417-1419 гг.). Причиной этого стало нарастающее сопротивление со стороны местных жителей, прежде всего горожан, а подчас и крестьянских отрядов, во главе которых вставали местные рыцари.

Так, в 1418 г. войску Генриха V пришлось в течение семи месяцев осаждать один из крупнейших городов Нормандии Руан. Жители терпели страшные бедствия, но не желали сдаться Ланкастеру, включившему в свой герб французские королевские лилии. Более того – в последние недели осады два нормандских рыцаря собрали отряд численностью около двух тысяч человек и попытались прорвать осаду города<sup>16</sup>.

Нетрудно представить, какое бешенство «непобедившего победителя», героя Азенкура могла вызвать эта ситуация. Однако окончательно невыносимой и, может быть, необъяснимой она стала в глазах Генриха V после подписания 21 мая 1420 г. уже упоминавшегося договора в Труа. Согласно его условиям, продиктованным Карлу VI Безумному английским королем в союзе с бургундским герцогом, Генрих V стал регентом и наследником французской короны. А города продолжали сопротивляться, нарушая тем самым традиционные юридические нормы. Англичане объявляли их «восставшими

против регента и наследника французской короны», что оправдывало самую беспощадную расправу в случае капитуляции или захвата города<sup>17</sup>.

Нараставшее взаимное ожесточение сторон все больше выходило за традиционные рамки отношений между сеньором и вассалами. Однако Генрих V пытался удержать ситуацию хотя бы внешне именно в этих рамках. У стен небольшого города Мелена к югу от Парижа уже после подписания договора в Труа он попробовал самым решительным образом обратиться к вассально-ленным нормативам, которые веками определяли сущность и путь разрешения конфликтов. Английское войско задержалось у стен Мелена больше чем на месяц. Досадуя на эту проволочку в его продвижении в сторону подвластного дофина Карлу Юго-Запада, Генрих V привез в свой лагерь под Меленом Карла VI и потребовал, чтобы жители города подчинились «их подлинному государю». Они ответили, что не сдаются именно потому, что верны своему королю, ибо «английский король – давний смертельный враг Франции»<sup>18</sup>.

Слово Франция здесь ключевое. Некими неведомыми путями принципиальные перемены, прораставшие в «осени Средневековья», привели этих людей к сознательному отступлению от буквы феодального договора в Труа к идее служения тому, что они называли Францией. Королевство, которое юридически возглавлял Карл VI, обещав передать его как некий свой аллод или домен «возлюбленному сыну и регенту» Генриху, превращалось в страну, а подданные короля – во французов.

Реакция английского короля на поведение жителей Мелена была психологически понятной и весьма интересной с точки зрения прогрессирующего отхода от этических ценностей Средневековья. После падения Мелена Генрих V расправился с непокорными совсем не по-рыцарски: многих защитников города из рыцарской среды он приказал повесить, а командира гарнизона рыцаря Барбазана – посадить в железную клетку и возить по Франции для устрашения непокорных.

Символом несломленного сопротивления населения Нормандии англичанам стал монастырь Мон-Сен-Мишель. Он остался единственным островком земли на территории Нормандии, где и после 1419 г. не удалось поставить английский гарнизон. Аббатство было расположено на гранитной скале и отделено участком моря от берега. Оно по существу было неприступной военной крепостью, которая так и не сдалась

англичанам до 1444 г., года освобождения Нормандии. Но этого не узнал Генрих V, внезапно скончавшийся в 1422 г. При его жизни Мон-Сен-Мишель, как и вся Франция, казалось, вот-вот будет покорен. Это ощущение особенно укрепилось после перехода на сторону Генриха V аббата и капитана монастыря Робера Жоливе (1419 г.)<sup>19</sup>.

Однако монахи и крошечный французский гарнизон (около двадцати человек)<sup>20</sup> не пожелали последовать примеру Жоливе, которого, кстати говоря, Генрих V щедро отблагодарил за предательство. В силу того самого «сознательно-подсознательного», что происходило в почти завоеванной Франции, защитники Мон-Сен-Мишеля объявили себя сторонниками дофина Карла, самопровозглашенного регента королевства (до смерти Карла VI в 1422 г.), а затем – «буржского короля», которого его сторонники короновали в Пуатье. И дело было, конечно, не в личности будущего Карла VII, в тот момент весьма мало известной. Дело было в том, что он, отвергнутый как наследник французской короны по договору в Труа, стал в силу обстоятельств символом борьбы за независимость Франции и центром притяжения сил и идей, связанных с зарождением национального самосознания. Именно к нему по этим самым причинам придет в 1428 г. Жанна д'Арк.

Генрих V умер за шесть лет до ее появления на исторической сцене и не увидел перевоплощения духа французов под ее лидерством. Он не узнал также о том, что число защитников Мон-Сен-Мишеля выросло до тысячи человек, и они начали временами переходить к наступательным действиям против англичан в Нормандии.

До конца Столетней войны и почти полного изгнания английских войск из Франции еще оставалось довольно много времени. Но главное, концептуальное крушение идеи «Анжуйской империи» произошло, на мой взгляд, еще при жизни Генриха V, попытавшегося возродить и воплотить классический средневековый замысел на закате Средневековья.

---

<sup>1</sup> Froissart J. *Chronicles of England, France, Spain* / Transl. D. Bouchier lord Berners. L., 1812. V. I. P. 156.

<sup>2</sup> См. подробнее: Басовская Н.И. Освободительное движение во Франции в период Столетней войны // Басовская Н.И. «Цель истории – история». М., 2002, С. 234-235.

<sup>3</sup> Hollister W., Keefe Th. The Making of the Angevin Empire // *Journal of British Studies*, 1973, V. XII, № 2; Jillingham J. *The Angevin Empire*. L., 1984.

- 
- <sup>4</sup> Foedera, conventiones, litterae et cujuscunque generis acta / Ed. Th. Rymer. Hague, 1739-1745. V.II. Pars III. P. 184.
- <sup>5</sup> Chroniques de Monstrelet (France, Angleterre, Bourgogne) 1400-1444 / Ed. J. Bouchon. P., 1875. P. 365.
- <sup>6</sup> Les Grands traités de la Guerre de Cent ans / Publ. E. Cosneau. P., 1889, P. 103-115.
- <sup>7</sup> Ibidem, P. 71-99.
- <sup>8</sup> Walsingham Th. Historia Anglicana // Chronica Monasterii S. Albani / Ed. by Ryley. Vol. 2. L., 1864. P. 71-99.
- <sup>9</sup> Chroniques de Monstrelet, P.376.
- <sup>10</sup> Capgrave John. Chronicle of England / Ed. F. Ch. Hingeston. L., 1858. P.312; Walsingham T. Historia Anglicana. V. II. P.313.
- <sup>11</sup> См.:Barnie J. War in Medieval English Society. Social Values in the Hundred Years War 1337-1399. Ithaca; N.Y., 1974.
- <sup>12</sup> См.: Hibbert Ch. Agincourt. L., 1978; Jarman R.H. Crispin's Day. The Glory of Agincourt. L., 1979.
- <sup>13</sup> Foedera... V. IV. Pars 2, P. 177-178.
- <sup>14</sup> См.: Curry A.E.. The First English Standing Army? – Military organization in Lancastrian Normandy, 1420-1450 // Patronage, pedigree and power in later medieval England. Gloster-Potowa, 1979.
- <sup>15</sup> См.: Бароне В.А. Английская осада Мон-Сен-Мишеля (1418-1444 гг.) // Новый исторический вестник. 2005. № 1 (12). С. 138-139.
- <sup>16</sup> Chronique des Quatre premiers Valois (1327-1393) / Publ. S.M. Luce. P. 1862. P. 87.
- <sup>17</sup> Walsingham. Op.Cit. V. II. P. 355.
- <sup>18</sup> Monstrelet. P. 487-488.
- <sup>19</sup> См. подробнее: Бароне В.А. Английская осада Мон-Сен-Мишеля (1418-1444 гг.). Работа В.А. Бароне – единственное подробное исследование феномена Мон-Сен-Мишеля, основанное на интереснейшем источнике «Хроника Мон-Сен-Мишель» (1343-1468), опубликованном С. Люсом в XIX в. Chronique du Mont-Saint-Michel (1343-1468): Publ. S. Luce. Paris, 1879.
- <sup>20</sup> Бароне В.А. Указ. соч., С. 140.

**Идентичность  
и вера**



**Фома Кемпийский: монах в гармонии с миром и с собой**

В 1399 г. папа Бонифаций IX предоставил желавшим покаяться жителям северонидерландского г. Зволле отпущение грехов. «В этом же году я, Фома Кемпийский, девентерский школяр, рожденный в Кельнском диоцезе, пришел в Зволле за индульгенцией. Затем, исполненный радости, проследовал в монастырь горы св. Агнессы, попросил там пристанища и был милосердно принят»<sup>1</sup>.

Монастырь горы св. Агнессы входил в Виндесгеймский капитул монастырей августинских уставных каноников. Вместе с полусветскими общинами братьев и сестер «общей жизни» виндесгеймские монастыри составили позднесредневековое религиозное движение *Devotio Moderna* («Новое благочестие»), которое возникло в конце XIV в. в северных провинциях Нидерландов и затем охватило южные провинции и Германию. Движение ставило целью восстановление норм жизни раннехристианской церкви, что на практике вылилось в духовное самосовершенствование его участников и в религиозное просвещение народа.

Биографические сведения о Фоме Кемпийском немногочисленны. Его имя упоминается историографом «Нового благочестия» Иоганном Бусхом как автора книги «О подражании Христу»<sup>2</sup>. Краткие записи о событиях собственной жизни, подобные цитированной выше, приводятся Фомой в «Хронике монастыря горы св. Агнессы», которую он вел на протяжении нескольких десятилетий. После смерти Фомы в 1471 г. в этой же «Хронике» ему посвящен короткий, но очень емкий некролог. Наконец, скудные сведения о себе изредка проскальзывают в других сочинениях Фомы, когда он ведет рассказ о людях, с которыми был лично знаком.

При отрывочности и неполноте фактических данных обширный материал для реконструкции внутреннего мира Фомы Кемпийского дают его произведения. Религиозная этика «Нового благочестия» имела ярко выраженную личностную окраску. Требование индивидуального подхода к чтению Св. Писания, медитации, молитве вело к индивидуализации других видов духовной деятельности, и прежде всего творческой. При всем старании смирить себя – широко известна высказанная им в «Малом алфавите монаха» и дословно повторенная в «Подражании Христу» фраза: «Люби, чтобы тебя не знали и ни во что не ставили»<sup>3</sup>, глубоко личное отношение Фомы к Богу и к истинам христианского вероучения создали синтез мыслей и чувств, состав-

вивших «Подражание Христу» и другие его сочинения. В книгах раскрывается неповторимая личность их автора, с его страхами, надеждами, борьбой и упованиями, любовью к людям и к Богу. Все, о чем писал Фома, извлекалось из недр его собственного опыта, было им выстрадано, глубоко прочувствовано и тщательно продумано. Фома умел наблюдать и фиксировать свои мысли и чувства и находить для них точные вербальные эквиваленты, ясно и просто объяснять сложные и трудные для понимания темы. В его изложении обретали свое подлинное значение также обыденные, но чрезвычайно важные вещи, такие, как необходимость трудиться, умение обходиться с ближними и т.д.

Тема, которой посвящены все сочинения Фомы – путь человека к Богу. Умеренный мистик, Фома сознавал, что нельзя «держаться всегда на высшей степени созерцания»<sup>4</sup>. Будучи также трезво мыслящим и адекватно воспринимавшим реальность человеком, он полагал, что свою тропу к Творцу всего сущего каждый индивид пролагает в земном мире: «Покуда мы живем в мире, не можем быть без смущения и искушения»<sup>5</sup>. Путь к Богу предстает у него в виде трехчленной структуры: человек – мир – Бог. Образцом, всегда предстоявшим перед его духовным взором, служила земная жизнь Христа, который в своем человеческом воплощении прошел ее от рождения и до смерти. «Итак, да будет нам главное попечение – поучаться в жизни Иисуса Христа»<sup>6</sup>.

### ***Мир.***

Фома Кемпийский родился в 1379 или 1380 г. в расположенном неподалеку от Кельна городке Кемпене в семье кузнеца. Тринадцати лет от роду он пришел в 1393 г в нидерландский город Девентер к своему старшему брату Иоганну (1365-1432). Брата в Девентере он не застал – тот с пятью другими клириками основал монастырь Виндесгейм и стал августинским уставным каноником. Мальчика приветил священник Флоренс Радевейнс (ок. 1350 -1400)<sup>7</sup>.

Радевейнс учился в Пражском университете. По получении степени магистра искусств принял в Утрехте сан священника, но под влиянием проповеди основателя «Нового благочестия» Герта Грооте (1340-1384) поменял пребенду в епископской резиденции Утрехт на место священника в Девентере. В его девентерском доме нашли приют бышие школяры, переписывавшие для Грооте книги. Из этих писцов, в числе которых был старший брат Фомы Иоганн, и составила первая община братьев «общей жизни». Радевейнс определил Фому в школу и устроил пансионером в дом некой благочестивой женщины.

Позднее мальчик стал жить в общежитии для школьников при доме Флоренса Радевейнса, которое содержали братья «общей жизни»<sup>8</sup>. Братья–репетиторы помогали школьникам готовить задания, по вечерам читали с ними Библию и другие благочестивые книги, комментировали прочитанное и разговаривали на религиозные темы.

У братьев Фома научился слушать (воспринимать на слух и понимать) тексты благочестивых книг, самостоятельно читать Св. Писание и писать, т.е. переписывать книги<sup>9</sup>. Но в доме Флоренса Радевейнса Фома получил не только навыки и умения. Неизгладимый след в душе юноши оставили атмосфера и весь строй жизненного уклада живших в доме священников и клириков, их повседневное общение между собой и с другими людьми. Фома сознавал, что каждый из них, выражаясь современным языком, нашел себя и свое место в этом мире. Благодарная память о проведенных среди братьев годах побудила его позднее поведать о них в своих «Диалогах новичиев»: «Приближенный таким образом к благочестивому мужу [Радевейнсу] и его братьям, - вспоминал Фома, - я ежедневно наблюдал и внимательно следил за их благочестивым образом жизни, и находил радость и удовольствие в добрых нравах их и в дружеских словах, которые исходили из их смиренных уст; потому что не помню, чтобы когда-либо раньше видел людей, столь благочестивых и ревностных в любви к Богу и к ближним, – людей, которые, живя среди мирян, ничего общего с мирской жизнью не имели»<sup>10</sup>. Особенно любовная интонация сквозит в строках, посвященных Флоренсу Радевейнсу. Обаяние личности этого девентерского священника оказало определяющее влияние на духовное становление подростка и всю его последующую жизнь. По словам Фомы, благодаря беседам с мастером Флоренсом он и его товарищи стали «наилучшим образом обученными в школе Христа»<sup>11</sup>.

По окончании школы в 1399 г. Радевейнс направил Фому в монастырь горы св. Агнессы, приором которого только что был избран старший брат Фомы Иоганн. Фому приняли донатом, что позволяло ему проводить некоторое время вне монастыря, жить в общежитии для бедных школьников при доме братьев «общей жизни» в Зволле и посещать знаменитую городскую школу, в старших классах которой изучались дисциплины факультета искусств и начатки философии<sup>12</sup>. Шесть лет он прожил в монастыре сначала донатом, потом новичием и лишь на седьмой год счел возможным произнести торжественные монашеские обеты<sup>13</sup>. В 1413/1414 г. был рукоположен в сан священника<sup>14</sup>. «Ве-

лика тайна и великое достоинство священнического звания! – писал позднее Фома, – им дано то, чего и ангелы не прияли. Одни только священники, по чину церковному поставленные, власть имеют совершать службу и освящать Тело Христово»<sup>15</sup>. В монастыре он исполнял обязанности наставника новициев, историографа, гимнографа, дважды назначался помощником приора и один раз – прокуратором. Переписывал книги «для дома и на продажу»<sup>16</sup> и сочинял свои собственные книги.

Августинский устав не предусматривал клаузуры. Миряне приходили в виндесгеймские монастыри по праздничным и воскресным дням на благочестивые собеседования и для приобретения переписанных в монастырских скрипториях религиозных книг. Но Фома стремился свести к минимуму немногие контакты с людьми, не только с мирянами, но и собратями-монахами, – разговоры, если они не велись на благочестивые темы, уводили от Бога. «Желал бы я теперь, чтобы в прежнее время чаще доводилось мне молчать и реже бывать между людьми!»<sup>17</sup> Пользе молчания и уединения в монашеской келье для духовного преуспевания индивида посвящен написанный им небольшой трактат<sup>18</sup>.

Замкнутое пространство монастыря диктовало свои условия. Первую из «Проповедей к новициям» Фома начал словами псалма «Как хорошо и приятно жить с братьями вместе» (132, 1), и дважды повторил эти слова в тексте проповеди, вероятно для того, чтобы новиции запомнили наизусть девиз своей будущей монашеской жизни<sup>19</sup>. Нечасто, но в монастырских хрониках содержатся упоминания о разладах внутри монашеских общин<sup>20</sup>. О том, что неурядицы среди братьев и сестер не были чем-то исключительным, свидетельствует также известная молитва «Oratio pro congregatione», в которой в числе других несчастий, от которых просят защиты у Господа, упоминаются раздоры<sup>21</sup>. Обитателям небольшой монашеской общины не были чужды зависть и другие отрицательные эмоции. «Есть такие люди, – писал Фома, – что и себя соблюдают в мире и с другими имеют мир; есть и такие, что сами в себе не имеют мира и других в мире не оставляют. Тяжки они для других, но для себя всегда еще тяжелее»<sup>22</sup>. Нормальное функционирование монастырского мирка требовало мирного сосуществования всех его членов, что было невозможно без воспитания терпимости к другим людям: «Учись в терпении переносить чужие недостатки и слабости, какие бы ни были, – писал Фома, – ибо и у тебя есть много такого, что другие переносить должны. [...] Мы желаем, чтобы другие были совершенны, а своих недостатков не исправляем»<sup>23</sup>. Продуктивная

жизнь всего монастыря достигалась повседневной неустанной работой каждого монаха над собой. «Нужно, чтобы научился ты во многом переломить себя, если хочешь удержать мир и согласие с другими людьми»<sup>24</sup>, писал он в другом месте. Монашеское сообщество отторгает людей, не желающих считаться с принятыми в общине нормами поведения<sup>25</sup>.

Смирение – одна из главных добродетелей монаха. «Не думай, что ты хотя мало вперед подвинулся, пока не почувствуешь себя всех ниже», – писал Фома<sup>26</sup>. Его биография (Фома дважды избирался помощником priора монастыря горы св. Агнессы и один раз – прокуратором) свидетельствует, что он, хотя и не уклонялся от начальнических должностей, но долго на них не задерживался<sup>27</sup>, полагая, что гораздо безопаснее быть в подчинении, чем начальствовать<sup>28</sup>.

Занятия, которые соответствовали его наклонностям, были переписка книг и наставление новичиев. Книги играли в жизни Фомы огромную роль<sup>29</sup>. Из поколения в поколение монахи монастыря горы св. Агнессы передавали его слова: «Во всем искал я покоя и не находил, разве только в уголочке с книжкой»<sup>30</sup>.

Обучать новичиев Фома стал вскоре после принятия священнического сана. Наставнические обязанности развили его природный дар передавать свои знания и свой духовный опыт другим людям. Естественным следствием стали сочиненные Фомой книги, доверительная и ненавязчивая интонация которых создавала у читателя ощущение беседы с глазу на глаз со старшим, опытным и чутким товарищем. Собственно говоря, благодаря этому обстоятельству – необходимости наставлять юношей, вставших на путь монашеского служения, обязаны своим появлением на свет большинство созданных им (не путать с переписанными!) произведений, в которых Фома реализовал свой творческий потенциал, а также заложенную в нем потребность любить людей и помогать им. Фома не презирал сотворенный Богом мир<sup>31</sup> и не призывал к огульному презрению мирских вещей и забот, но видел свою задачу в избавлении людей от духовной слепоты<sup>32</sup>.

### **Человек**

«Прежде всего приношу хвалу тебе, Господу Богу моему, творцу всего, за то, что ты удостоил сотворить меня разумным человеком [...] по образу и подобию твоему»<sup>33</sup>, – писал Фома в своем «Солилоквию». Хотя подобные слова благодарности к Богу были достаточно общим местом в позднесредневековой

религиозности и, в частности, в немецких молитвенниках<sup>34</sup>, в устах Фомы они звучат искренно и проникновенно.

Во времена своего ученичества в Девентере Фома близко общался с братьями «общей жизни», жившими как монахи без принесения монашеских обетов. Вероятно, уже тогда он помышлял о жизни в монастыре и примерял себя к ней. Позднее он воздал восторженную хвалу монашескому служению: «О, какое священное состояние службы иноческой: оно делает человека равным ангелам, Богу приятным, злым духам страшным, и у всех верных достохвальным! Как не приять, как не желать всячески этого служения, когда им приобретается верховное благо, через него достигается радость, без конца пребывающая!»<sup>35</sup> При вступлении в монастырь испытательный срок не превышал одного – полутора лет. Двадцати лет Фома был принят донатом в монастырь св. Агнессы, затем новицием, и только в 1406 г. принес торжественные обеты. Причина, по которой Фома более шести лет проходил испытательный срок, кроется, скорее всего, в его высокой требовательности к себе. Он понимал, что «не всем дано, отказавшись от всего, принять жизнь монашескую»<sup>36</sup>; к тому же, утверждал Фома, «наружный обычай и пострижение немного значит; но изменение нравов и внутреннее умерщвление страстей – вот что совершает истинного монаха»<sup>37</sup>.

Одной из самых тяжелых сторон монашеской жизни были плотские и духовные искушения. «Иные в начале своего обращения терпят более от искушений, – писал Фома, – другие в конце. Иные всю жизнь как будто не выходят из тяжелого состояния. У иных искушения бывают легче: таков о них промысел божественный, премудрый и правый»<sup>38</sup>. Об искушениях Фома знал не понаслышке – в «Хронике монастыря горы св. Агнессы» его безымянный собрат сообщал, что в монастыре Фома терпел «великие искушения»<sup>39</sup>. Борьбе с ними посвящены многие страницы его книг: «Железо испытывается огнем, и праведный человек – искушением. Мы сами часто не знаем своих сил, но искушение открывает, что в нас есть»<sup>40</sup>. Победа над собой, над своими страстями и недостатками представляется одной из главных задач внутреннего человека: «Не тому ли труднее всего борьба, кто старается победить себя самого? И вот какое должно быть наше дело: себя самого побеждать и каждый день оттого становиться сильнее и восходить на лучшее»<sup>41</sup>.

Известный со времен античности постулат «познай самого себя» представлялся для Фомы не самоцелью, но необходимым и точным инструментом для исследования и преодоления своих недостатков. «К самому себе обращай взоры»<sup>42</sup>, – не устают по-

учать Фома. «Себя самого вправду знать и презирать себя – вот выше всего и всего полезнее знание»<sup>43</sup>. Осознание своих слабостей позволяет упорядочить жизненный уклад и ведет к духовному преуспеянию: «И внешнее свое и внутреннее должны мы исследовать и приводить в порядок, потому что и то и другое важно для преуспеяния. [...] Поутру располагай свои поступки, вечером обсуди, каков ты был того дня в слове, в деле и в помышлении»<sup>44</sup>.

Внутренне собранный, трудолюбивый и смиренный человек обладает доброй совестью, которая одна, по мысли Фомы, доставляет внутренний мир и радость: «Слава доброму человеку – свидетельство доброй совести. [...] В сладости почивать будешь, когда сердце не укоряет тебя.»<sup>45</sup>. Внутреннее умиротворение не равнозначно покою – душевный мир для Фомы категория активная, достигаемая борьбой и трудом: «Никогда не бывай в праздности»<sup>46</sup>, - настаивал Фома, тогда как покой ассоциировался у него с ленью: «Что ищешь покоя, когда рожден ты для труда?»<sup>47</sup> Фома далек от аскетизма. Жизнь, исполненная неустанного умственного и духовного труда и отказа от обычных человеческих слабостей, не означала стремления к смерти. В упражнениях необходимо было знать меру: «Невозможно отвергнуть все, потому что природу надобно поддерживать»<sup>48</sup>. Следовало также принимать во внимание индивидуальные особенности людей, поскольку «не всем одинаковый труд побеждать и умерщвлять себя»<sup>49</sup>. Наградой ревностной жизни монаха в этом мире служила любовь. «Великое дело любовь, – воистину и благо она великое. [...] Ничего нет слаще любви, ничего крепче, ничего выше, ничего шире, ничего приятнее, ничего – полнее, ничего нет лучше ее ни на земли, ни на небе»<sup>50</sup>.

Начиная с XIII в. люди начинают осознавать земное время как нечто позитивное. В сочинениях францисканских авторов проводится мысль, что время, если его правильно использовать и не потерять, может послужить покаянию в грехах<sup>51</sup>. К привычным представлениям о повторяющихся сменах времен года и циклическом литургическом календаре добавилось осознание векторной составляющей времени, которое нельзя вернуть, и которое поэтому представляет определенную ценность. Фома остро чувствовал однонаправленность времени, уносящего с собой нереализованные возможности человека. «Ничего нет драгоценней времени, в течение которого ты можешь заслужить царство Божие»<sup>52</sup>, поучал он в «Малом алфавите монаха» и в другом месте добавлял: «Ныне время самое драгоценное; но горе тебе, что бесполезно расточаешь время, тогда как в нем

можешь заслужить себе вечную жизнь! Придет время, когда одного дня или часа пожелаешь себе на исправление, и как знать, получишь ли»<sup>53</sup>.

Антропология Фомы далека от пессимизма. Он вкладывает в уста Бога слова ободрения: «Не все еще погибло, оттого, что часто видишь ты себя в бедах или тяжких искушениях. Человек ты, а не Бог; плоть, а не ангел. Как бы тебе возможно было пребывать в том же состоянии добродетели, когда не дано было того ни ангелу на небеси, ни первому человеку в раю?»<sup>54</sup> Человек, воспитавший себя подобно «крепкому мужу брани»<sup>55</sup>, имеет все возможности сообразовать свою жизнь с божественной волей. «Брат! Не теряй веры в успех духовной жизни: есть у тебя еще время и час. Для чего хочешь откладывать со дня на день то, что положил себе? Встань, начни в ту же минуту и скажи: ныне время делания, ныне время борьбы, ныне время способное для исправления»<sup>56</sup>. В испытаниях и бедах следует сохранять стойкость, и тогда в душе человека воцаряется мир: «...не должен ты падать и отчаиваться, но спокойным духом принять волю Божию, и все, что на тебя находит, терпеть во славу Христа Иисуса. Ибо после зимы наступает лето, за ночью день возвращается, и после бури небо проясняется великим сиянием»<sup>57</sup>.

### **Бог.**

Как и большинство его современников, Фома не делал онтологического различия между Богом-отцом и Богом-сыном. Бог для него первопричина и конечная цель мира в целом<sup>58</sup>, а также человека и человеческого сознания. «Служит тебе, Господь Бог, все что я делаю, читаю и пишу; все, что знаю, говорю и осознаю. От тебя исходит, и через тебя и в тебе весь труд мой завершается»<sup>59</sup>. По большей части он обращается к Христу, видя в нем друга<sup>60</sup>, который благодаря своей человеческой природе ближе к людям, чем другие лица божественной Троицы. Как отмечают исследователи, расстояние между Богом и человеком в позднее Средневековье ощущалось как весьма близкое, особенно в молитве<sup>61</sup>. «В то время как мы молимся, мы подчас как с другом и близким беседуем с Богом»<sup>62</sup>, – писал на рубеже XIV-XV вв. канцлер Парижского университета Жан Жерсон. Обращение к Христу как к другу и брату часто встречается в текстах молитв в рукописных молитвенниках XV в.<sup>63</sup>

Бог – высшая тайна, и рассуждать о нем, полагал Фома, не следует. Все вопросы о Боге он переводит в этическую плоскость. «Что пользы тебе высоко мудрствовать о Троице, когда нет в тебе смирения и оттого ты Троице не угоден?»<sup>64</sup> – вопрошает он своего читателя. «Не мудрствуй о делах Всевышнего

Бога»<sup>65</sup>, – говорит Фоме Бог, и в другом месте продолжает эту тему: «Иные люди не искренно передо мною ходят, но в духе какой-то пытливости и своевольтва, хотят мои тайны уведать и уразуметь высоты Божии, позабыв о себе и о своем спасении»<sup>66</sup>.

Бог постоянно присутствует в душе Фомы. В непрестанном диалоге с ним Фома рассказывает о том, что лежит у него на сердце, задает вопросы и получает исчерпывающие ответы. «Се все Твоя суть, что я имею и чем служу Тебе. Но по истине Ты обратно мне служишь более, чем я служу Тебе. И небо, и земля, тобою сотворенные, всегда на чреде пред тобой. И сего мало, ибо и ангелов учредил Ты на служение человеку. Но превыше всего, что Ты благоволил послужить человеку и Себя Самого обещал дать ему»<sup>67</sup>. Общение с Богом выливается в непосредственный мистический контакт, который приводил к слиянию человеческой души с Творцом всего сущего: «Вопль великий слышится Богу в пламенном желании души, взывающей: Боже, Боже мой, Любовь моя, Ты мой весь и я весь Твой»<sup>68</sup>.

При всем ощущении близости к Богу Бога боялись. Рассуждая с позиций современного человека о страхе Божьем, следует принимать во внимание, что в сознании средневекового человека понятие «страх» имело несколько иной оттенок. В Средние века страх был неразлучным спутником людей от рождения и до смерти. Боялись эпидемий, непогоды, неурожая. Боялись Бога, и этот страх, если можно так выразиться, носил позитивный характер, удерживая от дурных поступков и наставляя к добродетели. «Нет истинной свободы и доброй радости, если только не в страхе Божьем и доброй совести», – писал Фома<sup>69</sup>.

Любовь к Богу, однако, превалирует над страхом. Верующая душа любит Бога, который сам является творцом и источником любви. «Одержим любовью, хочу вознестись выше себя, в избытке горячности и изумления. Хочу петь песнь любви, хочу за Тобою Возлюбленным в высоту проникнуть. Изумевает в хвале Твоей душа моя, празднующая Тебе любовью. Хочу Тебя любить больше себя, и себя – ради Тебя одного любить хочу, и всех в Тебе любить, кто по правде Тебя любит, как велит закон любви, от Тебя просиявший»<sup>70</sup>. Бога следует любить и благодарить от всего своего любящего сердца: «Благодари Бога неустанно, сердцем и устами»<sup>71</sup>, писал Фома и наставлял в этой преданности своих подопечных: «Христос – жизнь твоя, урок твой; твое размышление, твоя речь. Он – твое стремление, твое богатство: вся твоя надежда и твоя награда»<sup>72</sup>.

Фома Кемпийский избрал для себя монашескую жизнь как наиболее верный путь к Богу. При этом он отдавал себе отчет во

всех ее трудностях и подводных камнях. «Не малое это дело – живя в монастырях или в общинах, – писал он в «Подражании Христу», – обходиться без жалобы и до самой смерти пребывать в верности. Блажен, кто хорошо тут прожил и завершил счастливо!»<sup>73</sup> Фома завершил счастливо. Об этом свидетельствуют его книги, в которых тема борьбы и неустанного труда разрешается достижением человеком мира и любви. Об этом же говорит и посвященная Фоме запись в «Хронике монастыря горы св. Агнессы»:

«В день св. Иакова старшего на 92 году жизни преставился возлюбленный брат наш Фома Хемеркен из города Кемпен кельнской епархии, на 73 году монашеского и 58 году священнического служения. В юные годы был воспитанником господина Флоренса в Девентере и по достижении 20 лет направлен им к его брату, тогда приору монастыря горы св. Агнессы, которым и был по истечении 6 лет испытания пострижен. В монастыре терпел великие искушения, лишения и нужду. Переписал всю нашу Библию и многие другие книги для монастыря и на продажу. Сверх того для образования молодежи сочинил различные книжки, и хотя стиль этих книг прост и ясен, но содержание – величественно, и воздействие – эффективно»<sup>74</sup>.

---

<sup>1</sup> «Eodem anno ego Thomas Kempis, scholaris Daventriensis, ex dioecesi Coloniensi natus veni Zwollis pro indulgentiis. Deinde processi laetus ad montem sanctae Agnetis et feci instantiam pro mansionem in eodem loco; et fui misericorditer acceptatus.» – Thomas a Kempis. Opera omnia. Ed. M.J. Pohl. T. 1-7. T. 7. Freiburg, 1922, p. 368.

<sup>2</sup> Johannes Busch. Chronicon windeshemense. Ed. K. Grube. Halle, 1885, p. 58

<sup>3</sup> «Ama nescire et pro nihilo reputari» – Thomas a Kempis. De imitatione Christi. Hrsg. von K. Hirsch. Berlin, 1874., p. 7. «Ama nesciri: et pro nihilo reputari. Hoc tibi salubrius est et utilius: quam laudari ab hominibus» – Thomas a Kempis. Opera, t.3, p. 317.

<sup>4</sup> Русский текст приводится по изданию: Фома Кемпийский. О подражании Христу. Пер. К.П. Победоносцева. Брюссель, 1983, С. 244 (Далее – О подражании Христу).

<sup>5</sup> Там же, С. 23.

<sup>6</sup> Там же, С. 1.

<sup>7</sup> «Cum igitur studii causa in annis adolescentiae Daventriam pervenissem: quaesivi iter pergendi ad regulares in Windesem. Ibi que inventis fratribus canonicis regularibus cum germano meo, hortatu illius inductus sum adire summae reverentiae virum magistrum Florentium Daventriensis ecclesiae vicarium sacerdotemque devotum.» – Thomas a Kempis. Opera, t.7, p. 214-215.

<sup>8</sup> Ibid., p. 215.

<sup>9</sup> «Ibi quippe didici scribere et sacram scripturam legere, et quae ad mores spectant: devotosque tractatus audire.» – Thomas a Kempis. Opera, t. 7, p. 319.

<sup>10</sup> «Adiunctus itaque tam devoto viro et fratribus eius cotidie devotam eorum conversationem attendi et inspexi: et gavisus sum ac delectatus in bonis moribus eorum et in verbis gratiae quae de ore humilium procedebant; quia numquam prius tales homines tam devotos et ferventes in caritate Dei et proximi me vidisse memini, qui inter saeculares viventes de saeculari vita nihil habebant: nihilque de terrenis negotiis curare videbantur.» – Thomas a Kempis. Opera, t. 7, p. 215-216.

<sup>11</sup> «... et in schola Christi optimis collationibus informati». – Thomas a Kempis. Opera, t. 7, p. 154.

<sup>12</sup> Van Geest P. Thomas a Kempis (1379/80 – 1471). Een studie van zijn mens- en godsbeeld. Analyse en textuutgave van de Hortulus rosarum en de Vallis liliorum. Kampen, 1996, blz. 45-46.

<sup>13</sup> Thomas a Kempis. Opera, t. 7, p. 371-372

<sup>14</sup> Van Geest P. Op.cit., P. 45-46.

<sup>15</sup> О подражании Христу, С. 298

<sup>16</sup> «... pro domo et pro pretio.» – Thomas a Kempis. Opera, t. 7, P. 466.

<sup>17</sup> О подражании Христу, С. 18.

<sup>18</sup> «Epistula ad quendam a ministerio suo absolutum de recommendatione solitudinis et custodia silentii». – Thomas a Kempis. Opera, t. 4, p. 399-445.

<sup>19</sup> Thomas a Kempis, Opera, t. 6, p. 7.

<sup>20</sup> Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Западе. М., 2005, С. 393-395.

<sup>21</sup> «Custodi domine locum istum ab omni peccato atque ab omni scandalo et ab omni perturbacione ...» – Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, Ms. 1411 Helmst., f. 195; Ms. 1412 Helmst., f. 127.

<sup>22</sup> О подражании Христу, С. 78.

<sup>23</sup> Там же, С.31.

<sup>24</sup> Там же, С.32.

<sup>25</sup> «Coenobium monachorum est sicut salsum mare, quod corpora mortua non potest in se retinere; sed statim ad litus putrida proicit ...» – Thomas a Kempis. Opera, t.6, p. 12.

<sup>26</sup> О подражании Христу, С. 76.

<sup>27</sup> Van Geest P. Inleiding // Thomas a Kempis. De navolging van Christus. Kampen, 1995, blz. 17.

<sup>28</sup> «Великое дело быть в послушании, жить под начальником и не иметь своего права. Гораздо безопаснее быть в подчинении, чем начальствовать.» – О подражании Христу, С. 16.

<sup>29</sup> Логотова М.Г. Фома Кемпийский и книги // Человек в культуре античности, средних веков и Возрождения. Иваново, 2006, С. 129-142.

<sup>30</sup> Franciscus Tolensis. Vita Thomae // Opera omnia. Ed. H Somalius. Keulen, 1759, p. 29.

<sup>31</sup> «И небо, и земля, тобою сотворенные, всегда на чреде пред тобой.» – О подражании Христу, С. 137.

<sup>32</sup> Waaijman K. e.a. Nuchtere mystiek. Navolging van Christus. Kampen, 2006, blz. 10-13.

<sup>33</sup> «Primum igitur gratias ago tibi Domino Deo meo creatori omnium quod me hominem rationalem dignatus es creare; et super opera manuum tuarum secur-

dum animam ad imaginem tuam et similitudinem factam constituere» – Thomas a Kempis. Opera, t. 1, p. 335.

<sup>34</sup> Logutova M.G. Kommentar // Liber precum. Vollständige Facsimil-Ausgabe der Handschrift Ms. Lat.O.v.I.206 der Russischen Nationalbibliothek in St. Petersburg. Graz, 2003, S. 30, 40.

<sup>35</sup> О подражании Христу, С. 138.

<sup>36</sup> Там же, С. 137

<sup>37</sup> Там же, С.33.

<sup>38</sup> Там же, С. 26.

<sup>39</sup> Thomas a Kempis. Opera, t. 7, p. 466.

<sup>40</sup> О подражании Христу, С. 25.

<sup>41</sup> Там же, С. 7-8..

<sup>42</sup> Там же, С. 27.

<sup>43</sup> Там же, С. 5.

<sup>44</sup> Там же, С. 39.

<sup>45</sup> Там же, С. 82.

<sup>46</sup> Там же, С. 39.

<sup>47</sup> Там же, С. 94.

<sup>48</sup> Там же, С. 180.

<sup>49</sup> Там же, С. 65.

<sup>50</sup> Там же, С. 121.

<sup>51</sup> Бондарко Н.А. Историческое и сакральное время в немецком духовной прозе XIII в. // Атлантика. Записки по исторической поэтике. Atlantica. Вып. VII. Издательство Московского университета. М., 2005, С. 188.

<sup>52</sup> «Omne tempus utiliter cum Deo expendas; nihil enim pretiosius tempore: in quo promereri potes regnum Dei» – Thomas a Kempis. Opera, t. 3, p. 319.

<sup>53</sup> О подражании Христу, С. 56.

<sup>54</sup> Там же, С. 266.

<sup>55</sup> Там же, С. 20.

<sup>56</sup> Там же, С. 51-52.

<sup>57</sup> Там же, С. 89.

<sup>58</sup> Van Geest P. Thomas a Kempis (1379/80-1471). Een studie van zijn mens- en godbeeld ... blz. 180-184.

<sup>59</sup> «Serviat tibi Domine Deus quicquid ago lego et scribo: omne quod cogito dico et intellego. A te incipiat: et per te et in te omne opus meum finiatur» – Thomas a Kempis. Opera, t.1, p. 330-331.

<sup>60</sup> Van Geest P. Op.cit., blz. 167.

<sup>61</sup> «Eine weitere Möglichkeit, Individualität zu fassen, bietet der Bezug zwischen Gott und dem Menschen. Bezug meint in diesem Kontext Nähe oder Distanz. In Verlauf des Mittelalters wird die Distanz zwischen Gott und dem Menschen, namentlich im Gebet, immer geringer.» – Signori G. Räume, Gesten, Andachtsformen. Geschlecht, Konflikt und religiöse Kultur im europäischen Mittelalter. Ostfildern, 2005, S. 118

<sup>62</sup> «Quid est oratio nisi ascensio vel elevatio mentis in Deum, per pium et humilem affectum; quo fit, ut dum oramus, nos familiari quadam proximate Deo colloquimur» – Ioannis Gersonii Opera omnia. Antwerpen, 1706. Vol. III., p. 1. p. 271.

---

<sup>63</sup> Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, Ms. 1208 Helmst., f. 4: «O myn vterwelde leue vrunt [...] Myn broder.»

<sup>64</sup> О подражании Христу, С. 11

<sup>65</sup> Там же, С. 12

<sup>66</sup> Там же, С. 118.

<sup>67</sup> Там же, С. 137.

<sup>68</sup> Там же, С. 122.

<sup>69</sup> «Non est vera libertas, nec bona laetitia: nisi in timore Dei cum bona conscientia» – Thomae Kempensis. De imitatione Christi. Ed. Carolo Hirsche. Berolini, 1874, p. 56.

<sup>70</sup> О подражании Христу, С. 123.

<sup>71</sup> «Gratias age Deo semper corde et ore ...» – Thomas a Kempis. Opera, t.3, p. 318.

<sup>72</sup> «Xristus sit vita tua, lectio tua: meditatio tua, locutio tua. Ipse desiderium tuum, lucrum tuum: tota spes tua et merces tua. Si aliud quaeris quam pure Deum, damnum patieris: laborabis et requiem non inuenies.» – Thomas a Kempis. Opera, t. 3, p. 321.

<sup>73</sup> О подражании Христу, С. 32-33.

<sup>74</sup> «... in festo sancti Iacobi maioris post completorium obiit praedilectus frater noster Thomas Hemerken de Kempis natus, civitate dioecesis Coloniensis, anno aetatis suae xcii. et investitionis suae lxiii, anno autem sacerdotii sui lviii. Hic in iuvenili aetate fuit auditor domini Florentii in Daventria et ab eo directus est ad fratrem suum germanum, tunc temporis priorem montis sanctae Agnetis, anno aetatis suae xx, a quo post sex annos probationis suae investitus est. Et sustinuit ab exordio monasterii magnam penuriam, temptationes et labores. Scripsit autem Bibliam nostram totaliter et alios multos libros pro domo et pro pretio. Insuper composuit varios tractatulos ad aedificationem iuvenum in plano et simplici stilo, sed praegrandes in sententia et operis efficacia» – Thomas a Kempis. Opera, t. 7, p. 466-467.

## **ГРЕЧЕСКОЕ МОНАШЕСТВО В ИТАЛИИ XV В.: СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ**

XV в. в истории Византии – это гибель Империи, тяжелое время упадка, метаний веры и борьбы. 29 мая 1453 г. пал Константинополь. Как только кардинал Виссарион получает это известие, 13 июля пишет письмо дожу Франческо Фоскари, просит его возглавить борьбу с турками. Одновременно он обращается с письмом к Михаилу Апостолию, который ранее жил в Константинополе, а после 1453 г. бежал на о. Крит, и к епископу Афин Феофану – о том, чтобы они, не считаясь ни с чем, спасали и приобретали греческие рукописи, руководствуясь при этом соображениями спасения греческой мудрости. Что это, как не способ сохранить свою культуру и свою идентичность после падения Константинополя под ударами турок в 1453 году?

Напомню, что знаменитый Виссарион Никейский – масштабная и уникальная личность для европейской культуры эпохи Возрождения<sup>1</sup>. Грек, родившийся в Трапезунде в 1399/1400 г., руководимый митрополитом Досифеем, который в 1416 г. забрал его в Константинополь, принявший монашескую схиму в 1423 г., получивший образование у Иоанна Хортасмена, Георгия Хрисококка, в Мистре становится учеником Георгия Гемиста Плифона, затем живет в Константинополе. С 1437 г. став митрополитом Никейским, принимает участие в переговорах об унии на Ферраро-Флорентийском соборе, на котором вскоре становится ключевой фигурой в политике и духовной жизни того времени. После этого, вернувшись в Никею и оказавшись там в атмосфере полного неприятия, он решает переехать в Италию, где его скоро избирают кардиналом. Таким путем, как он считал, можно больше сделать для своего отечества: Виссарион переезжает в Рим и делает все для организации крестового похода против турок при содействии королей Франции и Кастилии. В это время он переводит на латинский язык Ксенофонта, посвящая этот перевод кардиналу Чезарини, активно занимается приобретением греческих и латинских рукописей. Лоренцо Валла характеризует его как «самого латинского из греков и самого греческого из латинян». В 1446 г. кардинал Виссарион назначается протектором и куратором ватиканских монастырей Южной Италии и Сицилии, где он также продолжает собирать греческие рукописи. В этом качестве он также пытается возродить греческий язык: в Мессине на Сицилии он учреждает кафедру греческого языка (официально с

1461 г.), которая сохранилась там до настоящего времени. В 1449 г. назначается папским легатом в Анкону, Романью и Болонью, куда направляется в 1450 г. и проводит там реорганизацию университета, а также основывает кафедру риторики и завершает перевод «Метафизики» Аристотеля. В феврале 1453 г. покупает виноградник по Аппиевой дороге на пути к римским катакомбам. Здесь он организывает собственный скрипторий, где итальянские греки, его ученики, переписывали для него разные книги, копировали древние рукописи, огромные фолианты и даже карты мира. С 1456 г. он назначается архимандритом монастыря Сан-Сальваторе в Мессине.

В 50-х гг. XV в. папа Каликст III, по предложению Виссарiona, поручает Афанасию Халкеопулу предпринять инспекцию калабрийских греческих так называемых василианских монастырей. Установление условий существования различных монастырских центров нужно было для того, чтобы подготовить мероприятия по прекращению их деградации и восстановлению тех, которые находились в катастрофическом упадке<sup>2</sup>.

Афанасий Халкеопул<sup>3</sup> происходил из Константинополя. До 1448 г. он был афонским монахом в Ватопедском монастыре. После этого стал доверенным лицом кардинала Виссарiona, копировал у него греческие рукописи, писал на латинском языке, был ученым, переводчиком с греческого на латынь Никомаховой этики Аристотеля в 1446/1447 гг. Затем был последовательно назначен: архимандритом монастыря Санта Мария дель Патир в Россано в Калабрии (1448-1458), Санта Мария дель Арко в Сиракузах на Сицилии (1458-1461), епископом Джераче в Калабрии (1461-1497), епископом Оппидо в том же регионе (1472-1497).

Афанасия Халкеопула – настоятеля монастыря Богородицы в Россано (Санта Мария дель Патир) и будущего епископа Джераче и среди прочих друга аретинского гуманиста и папского библиотекаря Джованни Тортелли – сопровождал в его инспекции Макарий, архимандрит монастыря Св. Варфоломея в Тригоне. Инспекция продолжалась с 1 октября 1456 г. до 5 апреля 1457 г. Их пунктуальный отчет – *Liber visitationis* («Книга визитаций») – опубликован выдающимися французскими византинистами Л. Лораном и А. Гийу в 1960 г. и является важнейшим документом для истории италогреческого монашества и, в частности, калабрийского монашества в середине XV в.<sup>4</sup>

Взору историка, читающего этот документ, предстает унылая картина монастырской жизни греческих обитателей Юга Италии конца 50-х гг. XV столетия. Обескураживает даже не

столько материальное разорение некогда процветавших греческих монастырей или отступление монахов от духовных и аскетических принципов восточного монашества, сколько отсутствие культуры и вопиющее незнание монахами греческого языка. Поэтому в отчете симптоматичны весьма экспрессивные выражения, в которых описывают ситуацию эти люди высшего духовного сословия и высокой образованности, проводившие инспекцию: «dicit tantum missam, quia non habet socium secum»<sup>5</sup> – так характеризуется ими речь настоятеля монастыря Сан-Джованни в Кастаньето Варнавы; «ebreus, insensatus, frequentator tabernarum; neque dicit officium, nec celebrat missam et rixator publicus [...] concubinariis, nunquam stat in monasterio [...] non portai abitum»<sup>6</sup> – это свидетельство о монахе Лоренцо из ближайшего окружения настоятеля в монастыре Сан-Фантино; «homo grossus»<sup>7</sup> – это игумен общежительного монастыря Сан-Мена. «Ydiota, ignorans licteras, ignarus licterarum, nescit unum iota»<sup>8</sup> – все эти определения, употребляемые проводившими инспекцию, ясно описывают ситуацию культурной несостоятельности и вакуума. Однажды монахи все же упоминают о литературных произведениях, но не по поводу их значимости и потребности в них в повседневной религиозной жизни, а в связи с принадлежностью их к тем незначительным материальным ценностям, которые имеются и находятся в плачевном состоянии и которые надо бы спасти, при этом забывая об их истинном предназначении. Упадок маленьких монастырских центров зачастую выражается в господстве латинского большинства – многие настоятели-латиняне (даже бенедиктинцы и августинцы<sup>9</sup>) вульгарно высмеивают греческий элемент<sup>10</sup> – подобная же ситуация повторяется и в крупных монастырях. Так, в монастыре Сан-Джованни-Териста недалеко от Стило, где на протяжении XII-XIV вв. наблюдался культурный и экономический расцвет и где еще в XV столетии сохранялось довольно большое количество книг (грамматики, словари, сборники канонического и гражданского права, и, среди прочего, Конституции Фридриха II Гогенштауфена (короля Сицилии и Неаполя 1212–1250) в греческом переводе)<sup>11</sup>, теперь настоятель Герасим «nunquam dicit officium quia nescit dicere, cum ignorantissimus sit, quia vocat anastasimum pro triodio et triodium pro anastasimo»<sup>12</sup>. И когда недоверчивые визитеры дают ему книгу, чтобы «a capite usque ad pedem volvit», а он не может «dicere unum yota»<sup>13</sup>, можно констатировать, что «totaliter ignorantem, ita quod vix scit loqui vulgariter, quod potius videtur quoddam monstrum quam homo»<sup>14</sup>, «eciam facit comedi libros a canibus»<sup>15</sup>.

В целом общая картина удручающе печальна. Если кратко перечислить причины этого упадка, то на судьбах греков в Калабрии отрицательно сказались, несомненно, норманнское завоевание, закончившееся падением г. Бари в 1071 г. Греческая культура Южной Италии вплоть до конца XII в. оставалась на довольно высоком уровне<sup>16</sup>. Затем господство Штауфенов, потом Анжуйской династии, арагонцев – все это вехи на пути прогрессирующего упадка греческой культуры в регионе. Как гражданское греческое население, так и греческий клир постепенно ассимилировались все более и более доминирующим латинским миром. В атмосфере нестабильности и перманентной войны греки испытывали на себе гонения со стороны властей. В последующие годы такая же судьба постигла и греческое монашество. Василианские монастыри, окруженные глухой враждебностью латинского мира и конкурентами в лице цистерцианцев и нищенствующих орденов, в частности, францисканцев, которые с конца XIII в. начинают медленно распространять свое влияние также и в Калабрии, где традиционно сохранялся греческий язык и традиции, также начали довольно быстро приходить в жалкое состояние. Ко всему этому следует добавить еще и то, что после взятия и разграбления Константинополя латинянами в 1204 г. контакты между Востоком и калабрийской «окраиной» становились все более слабыми и спорадическими. Увеличение числа монахов за счет их притока из Константинополя стало невозможным, а дисциплине уже плохо следовали. Были, конечно, в XIV, XV, XVI вв. монахи, византийские ученые люди, образованные каллиграфы, которые работали в Калабрии в это время, но они не могли оказать существенную помощь, способную выявить, возродить и реорганизовать ничтожно малую и обескровленную грекофонную этническую общность.

Несколько попыток реформировать василианское монашество не дали ожидаемого эффекта. Кардинал Биссарион, который очень хотел привести в пристойный вид монастырскую жизнь и монастыри юга региона и был очень последователен в попытке вернуть в нормальное русло культурную и духовную жизнь греков, не мог не отметить обреченность на провал любой инициативы дать новую жизнь греческой культуре в Южной Италии. Так, в предисловии к своему сочинению *Σύντομος ἐκλογή*, (что в переводе означает «краткая выборка») – сборнику аскетических и моральных предписаний монахам при толковании аскетических установлений св. Василия Великого, которое было написано на греческом, латинском и вольгаре около

1451 г., – он отмечает в числе прочего общее незнание греческого языка монахами («ἄγνοια τῆς γλώσσης»), которые теперь латиняне или дети латинян<sup>17</sup>. Бесплодной оказалась предпринятая попытка (отраженная в XI постановлении созванного в Риме в ноябре 1446 г. под председательством Виссарiona собрания капитула) предписать каждому настоятелю пригласить в монастырь учителя, который бы учил монахов основам грамматики для того, чтобы они хотя бы смогли «читать и петь божественную литургию»<sup>18</sup>.

Такое незнание греческого, которое демонстрировали греческие монахи в середине XV в., впрочем, имело место уже во времена Альфонсо Великодушного, знаменитого покровителя гуманистов, который, находясь в Мессине в марте 1421 г., упрекает архиепископа и архимандрита «ignorantiam licterature et scientie grece, quae in abatibus et monacis grecis existit, ita quod communiter fertur quod multi eorum vix officium ecclesiasticum sciunt legere, ordinare ac declarare»<sup>19</sup> и предлагает призвать калабрийца Филиппа Руффо, «in utaque lingua expertum», т.е. преподавателя греческого и латинского языков<sup>20</sup>.

Еще одну попытку возродить «василианские монастыри» предпринял папа Николай V (1447-1455). Будучи озабочен плачевным состоянием ордена Св. Василия, он издал буллу 15 марта 1447 г., в которой призвал епископа Сквилаче оказать поддержку калабрийским киновиям, которые были одно время центрами греческой культуры, а ныне стали местами «немыми» и находящимися в упадке<sup>21</sup>.

Со второй половины XII в. и позднее периодически следовали попытки духовного оздоровления греческого монашества: достаточно напомнить о деятельности Гонория III (1221), Урбана V (1370) или Григория XI (1373)<sup>22</sup>. Однако о медленном и неотвратимом упадке грекофонного компонента в составе населения свидетельствует список епископств XIV в., в котором проявляется знаменательное латинское присутствие именно в тех центрах, где ранее более всего проявлялась и консолидировалась греческая община<sup>23</sup>. Другие показатели упадка – достаточно незначительное число актов публичных и частных, составленных в XIII-XV вв. на греческом языке по сравнению с предшествующим периодом, а также адаптация византийского формуляра к формуляру латинскому, последовавшая после реформы Фридриха II, который изъяснял из-под контроля греческого клира нотариат<sup>24</sup>. Еще одной причиной могло стать, по видимому, то, что система обучения, как известно, на протяжении веков византийского господства никогда не была органиче-

ски структурируемой и координируемой институционально: греки Калабрии допускались к приобретению начального уровня образования, который теперь стал латинским, это и привело их к невозможности обучиться греческому алфавиту.

Не менее 50 монастырей посетил Афанасий Халкеопул с инспекцией в 1456-1457 гг. Монастыри эти сохраняли очень богатый документальный и книжный архив – остатки славного прошлого. В отчете, так или иначе, упомянуты 1600 кодексов по большей части сакрального характера, большая часть которых – литургического содержания. Изредка встречаются «современные» византийские авторы (Феофилакт Болгарский и Христофор Митиленский)<sup>25</sup>. Очень редко упоминаются светские тексты – их только 21: грамматики, словари, сборники канонического и римского права, одна книга по медицине в монастыре Санта-Мария в Карра и одна в монастыре Санта-Мария в Террети, где сохранился также один кодекс с сочинениями Галена. Сочинения Гомера и «Физиолог» в монастыре Св. Василия в Месиано, и «liber unus ubi est pars Omeri et Arestofany et una tragidia Euribilis Eschuba» в Сан-Филарето в Семинара<sup>26</sup>. Строго светского содержания были лишь два манускрипта, содержащие Конституции Фридриха II: одна рукопись – в монастыре Санта-Мария в Трапецомета, другая – в Сан-Джованни-Териста<sup>27</sup>. И примечательно, что книги по грамматике, лексикографии, праву, медицине и риторике включены в каталог интересов монашеской среды с полными заглавиями.

Таким образом, каталог калабрийских книг, представленных в «Книге Визитаций» содержит, с известными ограничениями, совокупность авторов и произведенных или циркулирующих в византийской Калабрии текстов и выявляет культурные запросы и интересы греческой среды. Не должно вводить в заблуждение присутствие в каталоге светских произведений Гомера, Аристофана, Еврипида. Хорошо известно, что греческие монахи почти никогда не переписывали классические произведения античности<sup>28</sup>; их достаточно ограниченное присутствие в библиотеках монастырей можно объяснить тем фактом, что монастыри Юга Италии являлись местом хранения как манускриптов, так и документов – в полном соответствии со средиземноморской традицией.

Интересно, что мы имеем свидетельство об упадке греческой культуры в Южной Италии в письмах другого константинопольского гуманиста, действовавшего на Юге Италии, в Мессине – Константина Ласкариса (Византийца) (1434-1501), – которые проливают свет на состояние другого культурного среза. Это

епископское окружение и светско-аристократические круги, которые противостояли монашеству<sup>29</sup>. В письмах, датированных 1462 г., известный константинопольский интеллектуал высокопарным слогом описывает свое разочарование жребием, выпавшим на долю Афанасия Халкеопула, незадолго до этого назначенного епископом в Джераче, и выражает возмущение равнодушием гражданских и религиозных властей, которые назначили его друга в провинцию, и теперь тот вынужден провести часть жизни в одиночестве, среди «грубых земледельцев», в селении, известном своей культурной изоляцией и бедностью. Такая же участь постигла и других, например, Феодора Газу, определенную папой Сикстом IV в другое калабрийское селение<sup>30</sup>.

Несомненно, что идеи и акценты, высказанные Ласкарисом, несут в себе черты топосов. Тем не менее, можно констатировать, что он осознает глубокую интеллектуальную пропасть между Византией и южно-итальянской провинцией, дихотомию между уже погибшим центром и периферией, один полюс которой определяется наличием школ, кружков интеллектуалов, ученым обменом, а другой – грубостью, невежеством и варварством. В письме, написанном 8 сентября 1462 г. в Поликастро, Феодор Газа (ок. 1400-1475/6) пишет о варварской культуре, с которой он столкнулся в Калабрии, в духе суждений Ласкариса<sup>31</sup>.

Все это подтверждается и *Liber Visitationis*. Привязанность к собственным корням проступает в Калабрии там, где древние епископства исконно были греческими – Россано, Джераче, Бова и Оппидо<sup>32</sup>, и в некоторых смежных более мелких селениях, с относительно высокой плотностью грекоговорящего населения, где до XVI в. еще могли переписывать книги.

Разрушенная, без связующих нитей с Византией греческая калабрийская общность была неспособна оказать сопротивление в этническом и культурном смысле, как это произошло, к примеру, с греческим населением в местности Terra d'Otranto<sup>33</sup>, сохранившим, вопреки всему, собственную идентичность вплоть до конца XVI в. С XIII в. греки там группировались вокруг крупнейшего и могущественного монастыря Св. Николая в Казоле, а также в монастырской среде, связанной прямыми связями с тем слоем духовенства, где традиционно от отца к сыну передавались книги, культура и искусство каллиграфии. Они копировали книги и служили в церквах и монастырях по греческому обряду для массы неграмотных или полуграмотных крестьян, которые в

течение еще долгого времени все же продолжали говорить на «сниженном» греческом языке.

<sup>1</sup> Биографию Виссариона и библиографию трудов о нем см.: Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. Hrsg. von E. Trapp, R. Walther, H.-V. Beyer, K. Sturm-Schnabl. Wien, Fasc. 2. 1977. No. 2707. (Далее – PLP).

<sup>2</sup> Le «Liber Visitationis» d'Athanase Chalkéopoulos (1457-1458). Contribution à l'histoire de monachisme grec en Italie méridionale, par L.-H. Laurent – A. Guillou [Studi e Testi, 206]. Città del Vaticano, 1960.

<sup>3</sup> PLP. No. 30412.

<sup>4</sup> Le «Liber Visitationis» d'Athanase Chalkéopoulos ...P. XXIV-XLV.

<sup>5</sup> Ibid. P. 4.

<sup>6</sup> Ibid. P. 64.

<sup>7</sup> Ibid. P. 14.

<sup>8</sup> Ibidem.

<sup>9</sup> Ibid. P. 46, 103, 106, 117, 126, 129, 158, 159, ecc.

<sup>10</sup> Ibid. P. 96, 160.

<sup>11</sup> Ibid. P. 91-93. Cp. также: Mercati S.G. (†), Gianelli C. (†), Guillou A. Saint-Jean Théristsès (1054-1264). Città del Vaticano, 1980 (Corpus des actes grecs d'Italie du Sud et de Sicile. Recherches d'histoire et de géographie, 5); Lucà S. Le diocesi di Gerace e Squillace: tra manoscritti e marginalia // Calabria bizantina. Civiltà bizantina nei territori di Gerace e Stilo. Soveria Manelli, 1998. P. 280-293, 301-302.

<sup>12</sup> Le «Liber Visitationis» d'Athanase Chalkéopoulos ...P. 86.

<sup>13</sup> Ibid. P. 91.

<sup>14</sup> Ibidem.

<sup>15</sup> Ibid. P. 87.

<sup>16</sup> Guillou A. La Théotokos de Hagia-Agathè (Oppido) (1050-1064/1065). Città del Vaticano, 1972 (Corpus des actes grecs d'Italie du Sud et de Sicile. Recherches d'histoire et de géographie, 3). P. 4.

<sup>17</sup> Rodriquez M.T. Addizione d'autore nel Messan. gr. 113 // Bolletino della Badia Greca di Grottaferrata. N.S. 55. 2001. P. 165-179.

<sup>18</sup> Le «Liber Visitationis» d'Athanase Chalkéopoulos ... P. 260.

<sup>19</sup> Rodriquez M.T. Addizione d'autore... P. 166; Scaduto M. Il monachesimo basiliano nella Sicilia medievale. Rinascità e decadenza, sec. XI-XIV. Roma, 1982. P. 321-352, 453-461.

<sup>20</sup> Scaduto M. Il monachesimo basiliano... P. 330.

<sup>21</sup> Pontieri E. La Calabria del sec. XV e la rivolta di Antonio Centeglia // Archivio storico per le province napoletane. N.S. 10. 1924. P. 5-154: 43.

<sup>22</sup> Ibid. P. 327-328; Lucà S. Γεώργιος Ταυρόζης copista e protopapa di Tropea nel sec. XIV // Bolletino della Badia Greca di Grottaferrata. N.S. 53. 1999. P. 307-311.

<sup>23</sup> Vendola D. Rationes decimarum Italiae. Apulia – Lucania – Calabria. Città del Vaticano, 1939. P. 179-343: no. 3291, 3293, 3497, ecc.

<sup>24</sup> Falkenhausen V. von. Friedrich II. und die Griechen im Königreich Sizilien // Friedrich II. Tagung des Deutschen Historischen Instituts in Rom im

Gedenkjahr 1994 / Federico II. Convegno dell'Instituto Storico Germanico nell'VIII Centenario della nascita. Hrsg. Von A. Esch und N. Kamp. Tübingen, 1996. S. 235-262.

<sup>25</sup> Le «Liber Visitationis» d'Athanasios Chalkéopoulos ... ad indicem; Lucà S. I normanni e la «Rinascità» del sec. XII // Archivio Storico per la Calabria e La Lucania. Anno LX (1993). Roma, 1993. P. 82-87; Codici greci dell'Italia meridionale. A cura di P. Canart – S. Lucà. Roma, 2000. P. 24.

<sup>26</sup> Le «Liber Visitationis» d'Athanasios Chalkéopoulos ... ad indicem.

<sup>27</sup> Ibid. P. 54, 92, 107, 111.

<sup>28</sup> Cavallo G. Πόλις γραμμάτων. Livelli di istruzione e uso di libri negli ambienti monastici a Bisanzio // Travaux et Mémoires. Mélanges Gilbert Dagron. 14. 2002. P. 95-113; Id. Gli usi della cultura scritta nelle comunità monastiche a Bisanzio nel riflesso dei typika di fondazione // Byzantium: State and Society. In memory of Nikos Oikonomides. Athens, 2003. P. 125-136.

<sup>29</sup> Le «Liber Visitationis» d'Athanasios Chalkéopoulos ... P. 199-201.

<sup>30</sup> Leone P.L.M. Le lettere di Teodoro Gaza // Dotti bizantini e libri greci nell'Italia del sec. XV. Atti del Convegno internazionale (Trento 22-23 ottobre 1990). A cura di M. Cortesi a E.V. Maltese. Napoli, 1992. P. 206-218; Lucà S. Le diocesi di Gerace e Squillace... P. 302-303.

<sup>31</sup> Theodori Gazae Epistolae. Ed. P.A.M. Leone. Napoli, 1990. Ep. 6. P. 53.

<sup>32</sup> Епископский престол в Россано было латинизирован в 1461 г., Джераче – в 1480 г., Опидо – к концу XV в., Бова в 1573 г. См.: Vaccari A. La Grecia nell'Italia meridionale. Studi letterari e bibliografici // Orientalia christiana. 3. 1925. P. 307-319; Devresse V. Les manuscrits grecs de l'Italie méridionale (Histoire, classement, paléographie). (Studi e Testi, 183). Città del Vaticano, 1955. P. 42-43; Codici greci dell'Italia meridionale... P. 28-29; Lucà S. Teodoro sacerdote, copista del Reg. Gr. Pii II 35. Appunti su scribi e committenti di manoscritti greci // Bolletino della Badia Greca di Grottaferrata. N.S. 55. 2001. P. 147-148; Id. Γεώργιος Ταυρόζης copista... P. 335-344.

<sup>33</sup> Cavallo G. Libri greci e resistenza etnica in Terra d'Otranto // Libri e lettori nel mondo bizantino. A cura di G. Cavallo. Roma-Bari, 1990. P. 157-178, 223-228; Jacob A. Culture grecque et manuscrits en Terre d'Otrante // Atti del III Congresso Internazionale di Studi Salentini e del I Congresso Storico di Terra d'Otranto (Lecce, 22-25 ottobre 1976). Lecce, 1980. P. 61-65; Id. La formazione del clero greco nel Salento medievale // Ricerche e studi in Terra d'Otranto. 2. 1987. P. 221-236; Id. Une bibliothèque médiévale de Terre d'Otrante (Parisinus gr. 549) // Rivista di studi bizantini e neoelenici. N.S. 22-23 (1985-1986). P. 285-315.

**ИДЕНТИФИКАЦИЯ DE MORTE**

XV столетие, яркое и судьбоносное для всего Пиренейского полуострова, принесло заокеанские ветры, начертило новую политическую карту, на которой появилась Арагоно-Кастильская уния и бесследно исчезло Гранадское королевство, а к вкусу пряностей и побед добавило горечь принудительного крещения иудеев и мавров.

Пожалуй, именно последнее было одним из наиболее новаторских предприятий, радикально изменившим принципы, до тех пор лежавшие в основе отношений власти и ее подданных-иноверцев. Это в полной мере относится к мусульманскому населению, о котором дальше и пойдет речь. Хотя эдикты о принятии христианского вероисповедания маврами появляются только в конце XV – начале XVI в., уже законы арагонского короля Мартина – на рубеже XIV-XV вв. – оставляли горькое послевкусие, толкавшее сарацин к эмиграции. Эти законы свидетельствовали о постепенном отходе короны от принятых, ставших за три столетия традиционными, отношений с ее вассалами-сарацинами.

В Арагоне и соседней Кастилии мусульманское население было не только многочисленным (особенно в аграрном секторе), но и весьма значимым, поскольку именно оно наполняло казначейские сундуки обеих стран<sup>1</sup>. По мере продвижения Реконксты и присоединения Мурсии, Валенсии, Гранады количество подданных мусульман росло. Порядок, принятый еще в XI в. на более северных территориях, распространялся и на эти земли. Мусульмане жили общинами, внутри которых они обладали правом автономного самоуправления. Кроме того, они свободно исповедовали ислам и даже строили мечети, придерживались своих законов и судились у своего кади, водили детей в свои медресе, хоронили покойников на своих кладбищах, по своим обычаям праздновали свадьбы и отправлялись в паломничество.

В XIV столетии, в общем, эта практика сохранялась, но королевская власть старалась больше контролировать дела мусульманских общин, хотя еще не отрицала тех привилегий, которыми мавры традиционно обладали. Первым их начал целенаправленно и последовательно ограничивать арагонский король Мартин, вступивший на престол в 1395 г. Принимавшиеся им законы препятствовали свободному выезду из страны, передвижению по стране, паломническим поездкам, публичному отправлению культа и т.д.

XV век вошел в жизнь пиренейских мусульман ущемлением прав и свобод, нарушением договора, заключенного между сарацинами и властью. Вошел с тем, чтобы изменить ее до неузнаваемости, и, в конце концов, уходя, увести их с собой со сцены истории. Что уж тут говорить о дестабилизации положения сарацинского населения, о понижении его статуса, и как следствие – о тревожных ожиданиях, о необходимости примеряться к изменяющимся политическим и социальным условиям и т.д.

Мусульманское население в христианских государствах полуострова всегда существовало обособленно, вплоть до стен, насыпных валов, запирающихся на ночь ворот в морериях, мусульманских кварталах. Благодаря этому, а также приверженности своему Богу и своему Закону, сарацинам была свойственна активная самоидентификация.

Со стороны христианского общества идентификация мусульманского населения принимала разные формы, но в целом ее можно определить как акцентированную. С XV в. становится обычной и рефлексия власти по поводу инаковости и обособленности мавров. Закономерной реакцией на это было повышение самосознания сарацин, стремление защитить свою идентичность и общность.

Такая картина вырисовывается благодаря королевским дипломам из Архива Арагонской Короны в Барселоне. Общие тенденции, о которых только что шла речь, прослеживаются на материалах документации, зафиксировавшей официальные сношения между короной, курией и сарацинскими общинами. И хотя этот материал более или менее отражает объективные процессы, он все же остается в известном смысле на уровне идеального – некой декларацией о намерениях и со стороны короны, и со стороны должностных лиц альхамы. Представляется не только интересным и плодотворным, но и обогащающим, корректирующим общую картину, ракурс исследования индивидуального. Какие идентичности будут актуальны в повседневной жизни в ситуации личного выбора?

Постановка такого вопроса упирается в почти непреодолимое молчание источников. Единственная возможность раздобыть информацию – это искать в частных обращениях сарацин в королевскую курию, надеясь на то, что хотя бы в некоторых из них возникнет необходимость развернутой самоидентификации просителя, а еще лучше – отразится выбор просителя в пользу той или иной идентичности. Но, к

сожалению, в публикациях королевских грамот из Архива Арагонской Короны в Барселоне, частные мусульманские петиции XV в. практически не отражены.

Единственная грамота, которая более или менее отвечала поставленным требованиям, оказалась подлинным чудом. Конечно, ее содержание было мне известно и раньше, я использовала ее в своей работе, посвященной гендерным аспектам мусульманских петиций в Арагонском королевстве XIII – начала XV вв. Однако, будучи вставлена в богатое и изящное обрамление «идентификаций средневекового человека», грамота короля Мартина заиграла новыми красками, обнаружила невидимые ранее грани.

Пристальное исследовательское внимание к одному документу, описывающему один казус, сегодня уже не вызывает ни недоумения, ни неприятия. Но мне хотелось бы подчеркнуть, что в данном случае обращение к информации одного диплома оправдано не только ее уникальностью, но и способностью высветить момент личного выбора и индивидуального поведения, что придает материалу известную самостоятельность и ценность. Мое внимание будет сконцентрировано на казусе мавра, жившего в самом начале XV в., на особенностях этого дела, форме позиционирования себя и своих целей действующими лицами, на признаках эпохи и произошедших переменах по сравнению с XIII-XIV вв.

Грамота<sup>2</sup>, о которой идет речь, была составлена 12 августа 1401 г. Естественно предположить, что и действующие лица казуса, и система делопроизводства принадлежат скорее ушедшему XIV веку, чем XV. Этот момент, ставящий под сомнение репрезентативность источника в рамках проблематики сборника, нивелируется теми изменениями в королевской политике, которые начались буквально за несколько лет до интересующих нас событий, но не остались незамеченными и свидетельствовали о наступлении новой эпохи.

Внешним признаком этой эпохи был каталанский язык, вытеснивший как раз в это время латынь из королевских распоряжений. И хотя каталанский пока еще только дословно следовал латинским клише и формуляру, все равно мы уже читаем не о сарацине, а о мавре.

Грамота была записана в королевской канцелярии и представляла собой распоряжение короля Мартина байлу Алжиры в связи с петицией, поданной мусульманином, жителем этого города. Согласно правилам того времени королевский писец предварил королевское волеизъявление пере-

сказом прошения. Он довольно подробен и обстоятелен, занимает не менее половины грамоты, включает и описание ситуации, и аргументацию просителя, и собственно просьбу. Скорее всего, писец списывал с текста прошения целыми фразами. Таким образом, мы знакомы с позицией и доводами мавра только через посредство писца, а, скорее всего, двух писцов, поскольку петицию тоже следовало надлежащим образом оформлять. Важно, что цель просителя и средства, которыми он предполагал достичь ее, отражены и вряд ли могли быть искажены.

Грамота зафиксировала сложный момент в жизни обычного горожанина, о статусе которого не сказано ничего, кроме того, что он – мавр и житель Алжиры. Судя по всему, он не занимал никаких постов в альхаме, которые раздвигали бы его горизонты и облегчали обращение в курию – иначе об этом было бы упомянуто. Перед нами представитель пресловутого «безмолвствующего большинства», подавший голос в тяжелой, болезненной ситуации, которая требовала от него решительных действий, а значит, и выбора в пользу того или иного способа достижения своей цели. Благодаря этому документу появляется возможность прикоснуться к теме «маленького» человека, на долю которого выпало жить в переломную эпоху, отстаивая себя и свой мир.

В литературе этой грамоте посвящено четыре небольших абзаца, принадлежащих перу М.Т.Феррер и Майол, которая транскрибировала и опубликовала не одну сотню документов из Архива Арагонской Короны. Каталонская исследовательница рассматривает казус мавра из Алжиры в рамках параграфа, посвященного детям от смешанных союзов.<sup>3</sup> Она подчеркивает уникальность этой грамоты, которую невозможно встроить в ряд подобных дел, чтобы скорректировать и дополнить полученную информацию.

12 августа 1401 г. в королевской канцелярии, в Согорбе, было составлено королевское распоряжение, направленное байлу города Алжира: «Мартин, и проч., верному нашему Микелю Венрелю, байлу города Алжира, или его заместителю, привет и милость»<sup>4</sup>. Далее излагается суть прошения, поступившего в курию от Адамбакайша – мавра, жителя того же города. Больше никаких сведений, идентифицирующих просителя, не указано. Мы не знаем ни занятий Адамбакайша, ни имени его отца. Очевидно, что для курии важно было обозначить место жительства и «сословие», т.е. в данном случае принадлежность к особой группе населения – му-

сультманам. С другой стороны, высока доля вероятности, что и в прошении Адамбакайша больше ничего не значилось – как правило, куриальные писцы, не особенно раздумывая, копировали куски текста петиций. Если бы мавр назвал свою профессию, она, скорее всего, была бы зафиксирована и в королевской грамоте.

Скупость отрефлексированной самоидентификации оттеняется подробностями о семейном положении мавра, о которых становится известно из его собственного рассказа (естественно, переписанного писцом). Последуем за Адамбакайшем и выслушаем скорбную песнь о постигшем его несчастье.

Приблизительно за двадцать дней до составления грамоты, т.е. в середине июля 1401 г., в Алзире умер некий Антони Сафабрега, христианин, о чем недвусмысленно свидетельствует его имя, местный житель. В своем последнем, как определяет документ, завещании Антони признался в том, «что четыре года тому назад или около того, он пал с Ашой, мавританкой»<sup>5</sup>. К несчастью для Адамбакайша Аша была его женой. Одного такого посмертного признания было бы достаточно для того, чтобы Аша была подвергнута суровому наказанию, тем более что речь шла не просто об адюльтере, но об адюльтере христианина с мусульманкой, за что по разным фуэро полагались разные суровые наказания, вплоть до костра, хотя на практике чаще всего это означало конфискацию в пользу курии. В начале же XV в. не было никаких оснований уповать на королевскую милость или какие-либо другие способы смягчения кары.

Впрочем, к чести Антони Сафабрега и по «счастью» для Аши, следует сказать, что мавританки к моменту составления завещания уже не было в живых. Делая свое признание, Антони преследовал определенную цель, и хотя ею не было облегчение совести или наказание совиновницы, по сути, он искал «восстановления справедливости», обернувшегося для Адамбакайша не меньшим несчастьем, чем возможное обвинение жены.

Дело в том, что Антони Сафабрега хотел «вернуть себе» сына. Он был уверен, о чем и говорил в завещании, «что вследствие этого (т.е. того, что он пал с Ашой) Махомет точно был его сын»<sup>6</sup>. На основании завещания и, видимо, по заявлению новоиспеченного деда, байл Алзиры предпринял решительные шаги: он забрал Махомета из дома и передал его Бернату Сафабрега, отцу почившего Антони.

В августе 1401 г. мальчику было чуть больше трех лет. С рождения Махомет жил в доме Адамбакайша, который кормил, содержал и воспитывал его как собственного<sup>7</sup> и, прибавим, законного сына. Однако с мнением мавра никто не посчитал нужным считаться, о чем есть упоминание в грамоте. Во-первых, он утверждает, что не знал обо всем произошедшем<sup>8</sup>, а во-вторых, он апеллирует к тому, что нельзя человека лишать чего-либо из принадлежащего ему без его ведома<sup>9</sup>. Все это говорит в пользу предположения, что малыша могли забрать из отчего дома в отсутствие отца.

Адамбакайш, буквально в одночасье лишившийся сына, решает обратиться за помощью к королю. В выборе такого поведения, в общем-то, не было ничего невероятного для мусульман Арагонской Короны и в начале XV в. Поскольку дело Адамбакайша относилось к категории смешанных дел, в котором мусульманская сторона противостояла христианской, оно, безусловно, могло рассматриваться в суде высшей инстанции. Кроме того, сарацин вряд ли мог рассчитывать на непредвзятость местной королевской администрации, так поспешившей в пользу христианской стороны. Дело было только за деньгами – королевское решение стоило недорого.

Адамбакайш пошел на серьезные траты (хотя мы ничего не знаем о его состоятельности и обеспеченности и не можем судить о том, насколько тяжким финансовым бременем для него было обращение в курию, дальнейшие события показали, что денежный вопрос для мавра стоял не на последнем месте) и, скорее всего, усилия – петицию следовало отвезти ко двору, из Алжиры в Согорб (расстояние около 100 км), и ждать решения. Такой поступок не вызывает удивления – ведь речь идет о сыне, и может быть, единственном сыне.

Это предположение возникает скорее из ощущения, которое трудно будет доказать и которое, по всей вероятности, связано с самым первым упоминанием мальчика Махомета в грамоте. Выглядит оно так: «...жалобщик произвел от Аши, некогда своей жены, I сына в возрасте трех лет с небольшим, по имени Махомет...»<sup>10</sup>. Бросается в глаза использование цифры I вместо, допустим, неопределенного артикля или обычных для делопроизводства этого времени расплывчатых формулировок типа «некий сын». Благодаря присутствию конкретной цифры создается ощущение, как уже было сказано, что Махомет был единственным сыном Адам-

бакайша, а может быть, и единственным ребенком. Опыт работы с королевскими грамотами подсказывает, что проситель, стараясь доказать свое отцовство, скорее всего апеллировал бы к тому, что имел от своей жены и других детей. Например, рассказывая о том, что Махомет воспитывался в его доме, Адамбакайш к вящей своей правоте мог бы присовокупить, что Махомет воспитывался «как и все прочие его дети от названной жены» или «со всеми другими его детьми на равных». Но мы не находим здесь такого утверждения. Напротив, Адамбакайш или всецело поглощен судьбой Махомета, или ненавязчиво обходит молчанием вопрос о прочих своих отпрысках. Мавр использует иную аргументацию.

Первое, на что он обращает внимание короля, это факт, что он, Адамбакайш, ничего «не слышал» ни о завещании Антони Сафабрега, ни о притязаниях Берната Сафабрега и настаивает на неправомочности изъятия ребенка из дома без его, Адамбакайша, ведома. Любопытно, что первый довод имеет формальный характер и касается процедуры.

Затем он прибегает к «конфессиональному» аргументу: «и он (Адамбакайш) боится, как бы названного Махомета, который такой маленький, находящегося во власти названного Берната Сафабрега, тот не смог привести к тому, чтобы сделать его христианином»<sup>11</sup>. Здесь уместно будет привести точку зрения М.Т.Феррер и Майол, которая считает, что в это время отец и сын разлучались, если принадлежали к разным конфессиям<sup>12</sup>. Насколько это было обязательно, сказать трудно, поскольку не сохранилось достаточно репрезентативного количества источников. Если такая норма, хотя бы на уровне ординарного судопроизводства и в массовом правовом сознании, бытовала, то перед нами попытка апеллировать к этой правовой норме.

Возможно, однако, что Адамбакайш высказал здесь собственные опасения, и тогда мы имеем дело со стремлением сарацина прибегнуть к христианскому королю как гаранту и защитнику мусульманской идентичности. Такая постановка вопроса не должна вызывать смущения: мусульмане, как правило, были прямыми вассалами короны, доходы которой непосредственно зависели от численности альхамы. Это обстоятельство на протяжении XIII-XIV вв. позволяло сарацинам отстаивать свои интересы, в том числе и в делах религиозных. В начале XV столетия подобный довод уже не кажется столь безотказно срабатывающим, как раньше: при

дворе экономические мотивы нередко теперь уступают место политическим.

С другой стороны, в этом пассаже мавр касается самого болезненного для него самого аспекта и недвусмысленно дает понять, что религиозная принадлежность его сына – вопрос первостепенной важности. Он не стесняется в отстаивании своего права сохранить конфессиональную идентичность и, что не менее существенно, преемственность.

Третий аргумент направлен против источника притязаний противоположной стороны. Адамбакайш не признает силы «одного только утверждения названного некогда Антони, ... тем более что названная Аша, мать названного ребенка, пока была жива, никогда ничего не говорила об этом...»<sup>13</sup>. Этот довод, хотя и стоит на последнем месте, ключевой в аргументации мавра. Он оспаривает юридическую силу предсмертного признания. Кажется не случайным отсутствие слова «testament» в этой фразе; оно используется в начале документа, там, где говорится о завещании: «...Антони Сафабрега из названного города, который ушел из этой жизни, тому дней двадцать прошло, сказал в своем последнем завещании...»<sup>14</sup>. В первом случае употребляется формулировка «son derrer testament», а во втором – «sola asserció», одно утверждение. Складывается впечатление, что речь идет не о составленном письменно документе, зафиксировавшем последнюю волю Антони Сафабрега, а о его устном предсмертном признании. Это впечатление или умело создается подачей и оформлением информации, или соответствует действительности, о чем уверенно судить трудно. Однако в пользу второй версии говорят два слова, стоящие рядом со словом testament: derrer и dix – завещание определяется как последнее и Антони его «сказал», а не составил или велел составить, написать и т.д. Труднее представить себе относительно молодого человека (отца трехлетнего ребенка, собственный отец которого не только еще здравствует, но активен и готов взять на себя воспитание внука), успевшего составить не одно завещание, чем его же, высказавшего вслух свою последнюю волю. Кроме того, справедливости ради надо отметить, что о практике составления завещаний горожанами-христианами в Арагонском королевстве XV столетия известно очень мало.

Контраргумент Адамбакайша основывался на отсутствии заявлений со стороны жены Аши. Очевидно, что сильным его признать нельзя. Мавр противопоставлял утвержде-

нию одного покойного молчание другой усопшей, но первый был христианином и, кроме того, сделал свое заявление на пороге смерти, что придавало ему особый вес.

Кратко система защиты Адамбакайша сводится к следующему: с формальной точки зрения дело ведется неверно, может привести к опасным последствиям, и при том не имеет вообще никакого основания. Очевидно, что она не могла быть спонтанной. Мавр, составляя петицию, продумал свою позицию и выделил те моменты, на которые он мог рассчитывать опереться, исходя из правил ведения процесса того времени. Два его довода, прежде всего, формально-юридические, а еще один рассчитан на то, чтобы заинтересовать в деле корону. В то же время прошение зафиксировало и личное отношение мусульманина к происходящему, а в его доводах отразилось то, что он сам считал существенным в своем деле.

Адамбакайш «нижайше просил... названного ребенка повелеть вернуть ему и возратить или другим образом относительно названного позаботиться о каком-либо добром средстве»<sup>15</sup>. Рискнем предположить, что мавр в своем прошении говорил именно о возвращении Махомета и восстановлении тем самым своих отцовских прав, а та часть фразы, которая говорит об ином добром средстве – или дань формуляру петиций или клише, прибавленное уже куриальным писцом (тот факт, что мы имеем дело с устоявшимся и распространенным клише, не вызывает сомнения).

Королевское распоряжение, составленное в ответ на петицию, было осторожно аккуратным, что, впрочем, не выходило за рамки традиционного способа разрешений тяжб и конфликтов на местах. От имени Мартина байл Микель Венрей получил инструкции забрать мальчика у Берната Сафабрега и передать его Гильему Гомбау, жителю Алжиры, исполнявшему обязанности заместителя хустисьи города. Тот должен был содержать малыша до тех пор, пока не закончится процесс и не будет вынесено справедливое решение. Грамота предписывала «сразу действительно и эффективно»<sup>16</sup> передать Махомета Гильему и не отступать от королевского решения под угрозой наказания в тысячу золотых флоринов.

Далее в грамоте были помещены обычные в таких случаях указания о ведении процесса: вызвать и опросить всех, кого следует, подготовить решение, затем материалы процесса или его изложение, достойное веры, передать ко-

ролю с тем, чтобы он, рассмотрев и ознакомившись с ним, мог вынести окончательное решение.

К сожалению, ничего не известно о том, чем закончилось дело Адамбакайша, хотя М.Т.Феррер и Майол упоминает еще о двух документах, составленных в связи с ним. Первый был датирован 23 августа того же 1401 года и благодаря ему мы знаем, что к этому моменту Микель Венрей еще не выполнил королевское распоряжение. Второй документ, появившийся 10 октября, окончательно лишает нас надежды проникнуть сквозь толщу времени, пытаясь разглядеть дальнейшие события в жизни наших героев. Дело в том, что «обе стороны договорились о том, чтобы дело судил байл Алзиры с тем, чтобы оно не было таким дорогим, как оно стало бы, если бы пошло в королевский суд»<sup>17</sup>. Документация судебных разбирательств на местах не поступала в королевский архив, а поскольку вероятность наткнуться на нее в другой коллекции приближается к нулю, знакомство с заключительным решением кажется практически нереальным.

Ограниченность дополнительных сведений, почерпнутых у М.Т.Феррер и Майол (конечно, было бы намного интересней располагать текстами грамот, а не краткими аннотациями к ним), в известном смысле восполняется их красноречивостью. Ясно, что дело, возбужденное Адамбакайшем, как минимум рассматривалось, что уже было для него продвижением вперед по сравнению с состоянием дел на начало августа, когда его позиция не интересовала никого, в том числе и королевского официала. Обращение в королевский суд, хоть и не привело Адамбакайша к заветной цели, но заставило окружающих принимать его всерьез, считаться с его аргументами. Вместо того чтобы отмахнуться от него, вычеркнув из жизни ребенка, Бернат Сафабрега был вынужден сначала договариваться с ним, а затем судиться. Изменился Микель Венрей, явно не расположенный к мавру, о чем говорит как то, что он увел Махомета из дома без ведома отца, так и то, что не провел перед тем никакого расследования. Даже после получения королевских инструкций он не торопился исполнять монаршее распоряжение и забирать ребенка у Берната Сафабрега. В августе байл отказывал Адамбакайшу в праве голоса, а в октябре согласился выслушать обе стороны и быть им судьей. Само собой разумеется, что мавр при несправедливом и откровенно конъюнктурном решении,

не учитывающем его интересы, мог апеллировать в королевский суд, и это было понятно всем.

Конечно, и в начале XXI века вопрос о судьбе маленького Махомета по-человечески эмоционально актуален и весьма интересен при изучении правовой практики XV в., однако не менее любопытно пристальнее взглянуть в фигуры всех участников драмы, репрезентация и поведение которых наводят на некоторые размышления о гранях идентичности человека. Представленная далее реконструкция во многом гипотетична и даже умозрительна, но в сущности не зависит от того, правду ли говорят герои событий.

Инициатором дела был Антони Сафабрега. Мы можем верить ему, исходя, например, из принципа «дыма без огня не бывает», а также признав, что ложное предсмертное признание в адюльтере является настолько девиантным поведением, что вообразить себе его в реалиях XV в. сложно. Наше доверие, впрочем, касается только той части его «завещания», где он признается в своем падении с мусульманской замужней женщиной и называет ее имя. Это событие могло стать причиной появления на свет Махомета, но могло и не быть ею. Установить истину в этом вопросе невозможно. Согласно грамоте, Антони ссылался только на произведенные им подсчеты времени, но не упоминал никакой информации, полученной им от Аши.

Так же и Адамбакайш указывал на то, что его жена никогда ничего об этом не говорила.

Молчаливый силуэт Аши стоит за всем делом, присутствует в «речах» обоих мужчин: то как тень, витающая над умирающим, то как дух, придающий силу в борьбе за сына. Аша не произносит ни слова (следует учитывать, что включение прямой речи, в том числе не от своего собственного имени, вполне могло встретиться в королевских грамотах этого времени), но всем очевиден ее выбор, наверное, по-женски мудрый, если она, вообще, сомневалась в отцовстве Адамбакайша, в чем мы не уверены: она предпочла, чтобы сын воспитывался в доме ее мужа, среди привычных для него домочадцев, в вере ее предков, считался законнорожденным и не бросал тень на репутацию родителей и любовника-христианина. Аша, в отличие от Антони Сафабрега, не могла открыть своей тайны, не только потому, что ушла из жизни раньше его, но еще более потому, что заботилась о муже и сыне. Скорее всего, это была продуманная, личная позиция, проверенная жизнью, поскольку, судя по всему,

умерла Аша не в родах (о чем, вероятно, было бы сказано), а спустя какое-то, неизвестное нам время.

Небезынтересно и то, что мужчины (Адамбакайш, Антони и Бернат Сафабрега), все внимание которых сконцентрировано на ребенке, и которые помнят об Аше, призывают ее в свидетели, совершенно не интересуются ею самой. Она присутствует в тексте как воспроизводящий сосуд, не сообщивший об использованных ингредиентах. Они, в частности, не заботятся о сохранении ее доброго имени, что особенно странно выглядит в поведении Адамбакайша. В этом, как представляется, не только проявление традиционного гендерного восприятия, но и выражение всепоглощающего интереса, не оставившего места ничему другому.

Этот интерес напрямую связан с одним из самых древних присущих человеку видов идентичности.

Антони Сафабрега, любовник, соблаздивший замужнюю женщину и всю отмеренную ему после ее кончины жизнь боявшийся принять на себя ответственность за ребенка и понести наказание, разрушает мир Адамбакайша и маленького Махомета вовсе не из чувства раскаяния в своем грехе. Для покаяния достаточно было бы признаться в совершенном прелюбодеянии. Антони Сафабрега не дает покоя его отцовство. Он умирает, но остается его продолжение.

Адамбакайш в не меньшей степени занят сохранением своего статуса как отца. Для него, пожалуй, это не только способ защитить свой мир и своего ребенка, но и самодостаточная цель. После кончины Антони Сафабрега Адамбакайш превращается из благополучного в прошлом мужа, ныне вдовца, растящего сына, в человека социально несостоятельного – обманутый муж, бездетный вдовец. Значение последнего обстоятельства здесь принципиально, но, к сожалению, очень мало данных для того, чтобы определить его. Мы уже говорили, что, скорее всего, Махомет был единственным ребенком в семье, но нам неизвестно, как долго Аша и Адамбакайш были супругами. Если Махомет был долгожданным и единственным ребенком, понятно насколько обостренное отношение могло быть у мавра ко всей этой ситуации, ставящей под сомнение его маскулинную идентичность.

Позволим себе заметить, что грамота, разумеется, ничего на этот счет не говорит, но в одном пассаже петиции Адамбакайш разрешает себе личную и, в общем-то, необязательную интонацию, которая затем попадает в грамоту.

Рассказ о нанесенном ему ущербе приобретает следующий вид: «...вы (байл) взяли названного Махомета у названного просителя, лишив его обладания им, [о чем] он не слышал и что еще хуже, этот Махомет был передан названному Бернату Сафабрега, отцу названного Антони, к большому ущербу и урону вышеназванного просителя...»<sup>18</sup>. Очевидно, что мавр особенно болезненно переживает то обстоятельство, что сына отдают именно Бернату, тем самым признавая отцовство Антони.

Идея продолжения рода и себя, состоятельности себя как мужчины стоит в этом деле на первом месте для обеих сторон. Это утверждение прозвучит убедительней, если заметить, что Махомету практически не уделяется внимания. Чувства, переживания, комфорт маленького человека не заботили ни умирающего Антони, ни полного решимости Адамбакайша. В своей петиции мавр не сетует на несчастную судьбу малыша, потерявшего недавно мать, а теперь лишившегося и отца, и привычного с детства дома, хотя это тоже могло бы стать аргументом. Еще удивительнее то, что в документе, по сути, посвященном спорной ситуации, возникшей после смерти, ни разу не поднимается вопрос о наследстве, которое должен был бы получить Махомет. Мы можем только предположить, что Антони затеял все ради того, чтобы передать свое имущество Махомету, обеспечить тем самым жизнь ребенка лучше, и в этом проявилась его забота о нем. К сожалению, это предположение подкрепить нечем – нам ничего не известно о материальном положении Сафабрега, тем более в сопоставлении с имущественными возможностями Адамбакайша.

Пока взрослые спорили (как минимум в течение трех месяцев), мир Махомета стремительно поменял очертания и ориентиры, мальчик столкнулся с новыми людьми, новой средой обитания – христианской общиной, новыми обычаями и правилами, новым Богом. Судьба мальчика, во всем остальном являющегося лишь предметом спора, вызывает волнение только тогда, когда речь заходит о вероисповедании. И тут мы подходим к специфически пиренейскому аспекту проблемы.

Мы уже говорили о том, что Адамбакайш опасался, что его сын станет христианином. Настойчивость и эффективность позиции Берната Сафабрега, чудесным образом внезапно обретшего внука и не хуже мавра понимавшего существовавшие нормы, красноречиво свидетельствует в пользу

предположения, что Бернат, сам или исполняя завещанное сыном, предполагал крестить Махомета. Это было обязательно и для того, чтобы получить наследство. Мальчик мог бы претендовать на него как бастард Антони, но для этого он должен был быть одной с ним веры. По религиозным, духовным и материальным соображениям крещения сына должен был бы желать и уходящий в мир иной Антони. О важности исповедания Махометом ислама для Адамбакайша упоминалось выше.

Представленная реконструкция – хрупкое и несовершенно строение, линии которого, едва обозначенные, обрываются, лишённые прочной информационной опоры. Что мы можем сказать о причинах духовного свойства в поступке Антони – в частности, о его надежде встретиться и воссоединиться с сыном на небесах, для чего Махомет должен был стать христианином – если ничего не известно о религиозности усопшего алзирца или хотя бы его семьи? Что мы можем прибавить о материальной стороне дела, если в грамоте эта тема не поднимается ни разу? Как мы можем судить об истинном – в повседневности – отношении взрослых к малышу, если перед нами официальная бумага? И так далее.

В то же время наша смелая реконструкция с самого начала возводилась на поле, которое задавало всему строению и его отдельным деталям стиль, послужило ему основанием и ландшафтом. Мы говорим о правовом поле. Конечно, оно предполагало и естественные границы, например, требовало формализации сведений, тем самым многое упрощая, от многого отказываясь. Но за простыми линиями лучше видны несущие конструкции.

Совпадение, переплетение маскулинной, отеческой и конфессиональной идентичностей в данном казусе, как представляется, высвечивает глубинную их взаимосвязь, которая в традиционном конфессионально одномерном пространстве не обращает на себя внимания. Физическое рождение и духовное, кровное родство и духовное идут рука об руку. В век потрясений социальных основ, ломки стереотипов, каким, безусловно, был XV в., эти две грани идентичности человека остаются незабываемыми – не потому ли, что определяют его место в тварном и вечном мирах?

Не удивительно, что осмысление и репрезентация граней идентичности, т.е. идентификация самого себя, своего сына, «своего мира», происходит здесь в контексте смер-

ти. Именно она высвобождает силы, несущие информацию, взрывающие привычные отношения и, в итоге, приводящие к необходимости ответить, что есть главное.

---

<sup>1</sup> Подробнее см. об этом: Варьяш И.И. Правовое пространство ислама в христианской Испании. М., 2001.

<sup>2</sup> Ferrer i Mallol M.T. Els sarraïns de la corona catalano-aragonesa en el segle XIV. Barcelona, 1987. Appèndice documental, № 148.

<sup>3</sup> Ibidem. P. 27-28.

<sup>4</sup> «En Martí, et cetera, al feel nostre en Miquel Venrell, batlle de la vila de Flgezira, o a son lochtinent, salut e gràcia.»

<sup>5</sup> «...que quatre anys ha passats o aquèn entorn que ell se gitava ab la... Axa, mora...»

<sup>6</sup> «...que per consegüent lo dit Mahomet ere per tot cert son fill...»

<sup>7</sup> «... e aquell (Mahomet) haja tengut e nodrit per son propi fill en sa casa tot lo dit temps (tres anys poch més)...»

<sup>8</sup> «ell no hoÿt...»

<sup>9</sup> «...que com alcú de la sua cosa sens conexença no deja ésser privat...»

<sup>10</sup> «...ell exposant haja procreat de Axa, quondam muller sua, l fill de edat de tres anys poch més, appellat Mahomet...»

<sup>11</sup> Этот пассаж из грамоты, в общем-то, не такой уж и сложный, был неверно мной интерпретирован в статье: «Сарацины и сарацинки бьют челом сеньору королю» // Адам и Ева. СПб., 2003. С. 115-130. «...él se dubte que stant lo dit Mahomet, qui és tant petit, en poder del dit Bernat Ça Fàbrega, no pugués ésser procehit a fer aquell cristià...»

<sup>12</sup> Ferrer i Mallol M.T. Op. cit. P. 28.

<sup>13</sup> «...per sola asserció del dit quondam Anthoni., majorment com la dita Axa, mare del dit infant, en temps que vivia, d'aquest coses jamés djugués res...»

<sup>14</sup> «...n'Anthoni Ça Fàbrega de la dita vila, qui passà d'esta vida entorn vint jorns són passats, dix en son derrer testament...»

<sup>15</sup> «...humilment supplicat... lo dit infant manar-li restituhir e tornar o en altra manera sobre les dites coses de alcun bon remey provehir.»

<sup>16</sup> «encontinent realment e de fet»

<sup>17</sup> Ferrer i Mallol M.T. Op. cit. P. 28.

<sup>18</sup> «...havets levat lo dit Mahomet a ell dit exposant privant-lo'n de possessió, ell no hoÿt e que, pijor és, aquell Mahomet havets coanat al dit Bernat Çafàbrega, pare del dit Anthoni, en gran dompnatge e prejudice dell exposant dessus dit...»

**Две новохристианских семьи из Сьюдад Реаль:  
истинная идентичность и «видимое глазу»**

Феномен перехода из иудаизма в христианство возник, разумеется, в первые годы существования христианства как отдельной религии. Оставим за скобками период формирования христианской церкви, но с того времени, как христианство стало господствующей религией и вплоть до Высокого Средневековья группа обращенных евреев была весьма незначительной. В христианской церкви официально доминировала установка исключительно на добровольное крещение, базирующаяся, в первую очередь, на предписании Августина Аврелия сохранить евреев как носителей пророчеств о Христе, не уничтожать их физически и не уничтожать их религиозную идентичность<sup>1</sup>.

В раннем Средневековье иногда имели место миссионерские эксцессы, инициированные местными церковными властями, однако Рим, как правило, осуждал юдофобски настроенных клириков и ориентировал их исключительно на добровольное крещение<sup>2</sup>. Последнее, впрочем, зачастую стимулировалось навязанными евреям проповедями, а иногда и подкреплялось угрозами изгнания, однако массовых переходов в христианство не наблюдалось. Светские власти в ту эпоху обычно не поддерживали миссионерские инициативы церкви – за исключением испанских королей в католический период истории Вестготского королевства.

С XI века начинают случаться всплески официально не санкционированной антиеврейской агрессии, когда евреям предлагалась альтернатива: крещение или смерть, и некоторые выбирали первое; также производились принудительные крещения. Подобное имело место в ходе погромов во время первых трех крестовых походов, преимущественно в Германии, Франции и Англии соответственно. Однако же число обращенных не было преобладающим, и после погромов они в основном возвращались в иудаизм, иногда с разрешения государственных властей<sup>3</sup>.

Совсем иными оказались последствия серийных погромов 1391-92 годов в Кастилии и Арагоне, через двадцать лет закрепленных новой волной погромов и жестким антиеврейским законодательством 1412 года. В результате в испанских королевствах сформировалась значительная прослойка новохристиан еврейского происхождения, *конверсо*

или *маранов*; их численность в разных источниках колеблется от нескольких десятков до нескольких сот тысяч<sup>4</sup>; судя по всему, эта прослойка составила не меньше половины еврейского населения Испании. Конверсо привлекали и привлекают особое внимание – как в науке, так и в публицистике, и в религиозной полемике – по причине своей исключительно успешной абсорбции в высших стратах испанского общества и по причине масштабных преследований инквизиции, подзревавшей их в тайной приверженности законам и обрядам иудаизма (в *криптоиудействовании*).

\*\*\*

Ключевой вопрос в отношении конверсо, волновавший как современников, так и потомков, как евреев, так и христиан, как страстных полемистов, так и «беспристрастных» исследователей, – это вопрос об их истинной религиозной принадлежности или, иными словами, о том, права ли была испанская инквизиция. И здесь обнаруживаются разные грани их идентичности и разные критерии определения этой идентичности. Основными вопросами, которые поставили писавшие о конверсо раввины XV века, были следующие: каким образом человек крестился (во время погромов и под страхом смерти или же раньше/позже и добровольно)? продолжает ли он втайне соблюдать иудейские обряды? прилагает ли он усилия к тому, чтобы эмигрировать из страны туда, где сможет открыто вернуться к иудаизму, или же, наоборот, проявляет склонность к полной ассимиляции в христианском обществе?

Именно ответы на эти вопросы давали возможность классифицировать обращенных евреев как *апикоросим* или *миним* («еретики», «неверные»), или – чуть мягче – как *мешумадим* («апостаты», «отступники»), или же – максимально апологетично – как *анусим* («принужденные», т.е. насильственно обращенные). Самым нейтральным был термин *мумар* («поменянный», т.е. поменявший веру), применявшийся к разным типам конверсо. От этого слова выводят самый популярный испанский термин, затмивший более официальные *converso* и *cristiano nuevo*, – *marrano*. Есть гипотеза, что он образовался путем прибавления к слову *мумар* испанского суффикса *-ано* или же путем контаминации *мумар* и *анус*<sup>5</sup>. Возможно, магистральная этимология этого термина – от испанского *marano* («нахал», «свинья») – не совсем этимология, а позднейшее семантическое обогащение, по созвучию.

Сефардская юридическая и гомилетическая литература XV века демонстрирует разные оценки конверсо, в целом с негативной хронологической динамикой. Поначалу, на рубеже XIV–XV веков, конверсо продолжают считать частью народа Израилева, но при этом уже тогда не считалось само собой разумеющимся, что все обращенные втайне соблюдают иудаизм, то есть являются криптоиудеями. Ко второму и третьему поколению конверсо относились жестче, главным образом в связи с тем, что они не эмигрировали из «страны преследований», т.е. из Испании. В конце XV века еврейские авторы осуждают всех – и *мешумадим*, и *анусим*, прочат всем полную ассимиляцию (превращение в *гоим гмурим*, «совершенных неевреев»), единственную надежду возлагая – парадоксальным образом – на инквизицию, которая «ложно (sic!) обвинит их в тайном иудействовании» и будет их за это жечь на кострах, и тогда они ради спасения жизни эмигрируют в другие страны и там вернуться к вере отцов<sup>6</sup>.

Так или иначе, после изгнания евреев и во время апогея инквизиционной деятельности, многие пиренейские конверсо эмигрировали в Османскую империю, Италию и Нидерланды, и уже в эмиграции возник мощный культ маранов, погибших на кострах инквизиции, как мучеников за веру. Литературно этот культ выражался в особых поминальных молитвах («Да отмстит великий могущественный и грозный Бог за Его святого слугу *имярек*, который был сожжен заживо, прославив Его Имя...»<sup>7</sup>) и героической поэзии<sup>8</sup>:

### **На смерть Диего де ла Асенсьон, заживо сожженного в аутодафе в Лиссабоне**

День третий августа, в веселье звона  
В шестьсот втором году был возвешен.  
Чудовищный костер сооружен  
На площади великой Лиссабона.

Но даже пытка не исторгнет стона  
Из уст Диего де ла Асенсьон:  
На высь единой правды вознесен,  
Он встал на страже своего закона.

Прорвав цепь заблуждений, сбросив гнет,  
Он погибает в огненном затворе,  
Но воскресает Фениксом – и нам,

Позоря церковь, в славе предстает.  
Прах в этом пепле исчезает в море,  
Дух в озаренье всходит к небесам.

Эта тенденция к героизации была унаследована учеными, стоявшими у истоков еврейской исторической науки, авторами многотомных компендиумов по истории еврейского народа (Генрих Грец, Семен Дубнов), а также представителями авторитетнейшей «иерусалимской школы» (Ицхак Бер, Хаим Бейнарт). У них практически не вызывало сомнений тождество понятий «конверсо» и «криптоиудей»; тем самым они, парадоксальным образом, соглашались не с сефардским раввином, а с инквизиторами:

«Было ясно, что большинство новообращенных приняло только крещение, а не христианскую религию. Эти невольники церкви, «анусим», оставались в душе верными своей национальной религии и тайно соблюдали ее законы со страстностью гонимых» (С. Дубнов)<sup>9</sup>;

«Большинство конверсо были истинными иудеями. ... Конверсо и евреи составляли один народ; их объединяла одна религия, общая судьба и мессианские надежды. По сути, инквизиция была права в оценке конверсо» (И. Бер)<sup>10</sup>;

«Они прилагали все усилия к тому, чтобы сохранить верность своей еврейской вере; и за нее праведные и благочестивые мучениками восходили на костер» (Х. Бейнарт)<sup>11</sup>.

Подобные оценки ученых породили категорично односторонние дефиниции в популярной литературе и даже ошибки в литературе, посторонней этому предмету, где уже без всяких оговорок слово «мараны» употребляется в значении «тайные иудеи»:

«Испанские евреи, внешне принявшие христианство, но тайно оставшиеся иудеями, получили прозвище маранов (презрительная кличка, означающая «свиньи»). Мараны держали свое иудейство в тайне, о нем было известно только ближайшим родственникам и другим маранам. Обычно они исполняли еврейские ритуалы в подземельях» (раби Йосеф Телушкин)<sup>12</sup>;

«[Газета] Е[врейское]С[лово] всегда приходила к читателям в плотном конверте. Читатель хочет получить еврейскую газету, тем более бесплатную, но боится слова «Еврейская». Он хочет быть тайным евреем – как марраны в Испании в средние века. Там, когда узнавали, что человек – марран, его сжигали на костре... (Леонид Радзиховский)<sup>13</sup>».

Лучшим источником для ученых этой парадигмы<sup>14</sup>, позволяющим создать убедительную картину криптоиудействования большинства конверсо, являются инквизиционные документы. Однако полифоническое инквизиционное «дело» являет собой равновесную, чуть ли не симметричную систему, содержащую аргументы в обе стороны. Обычно подобное дело состоит из обвинения, признания обвиняемого, а иногда и отречения от этого признания, показаний свидетелей обвинения и показаний свидетелей защиты, отводящих свидетелей обвинения (как вообще ненадежных или неподходящим по причинам личной вражды), и постановления трибунала. Исследователь, при всем стремлении к беспристрастности и попытках с помощью объективных критериев вычлениить истинную информацию или скорректировать ложную<sup>15</sup>, должен выбирать, чему верить: клишированному обвинению, указующему на самые стандартные признаки иудействования, или клишированному же отводу свидетелей обвинения, указующему на самые стандартные дезавуирующие факторы; или, если не верить ни тому, ни другому, то на каком основании выстраивать собственную версию. Позиция представителей героической парадигмы в этом вопросе очевидна, хотя и несколько парадоксальна. Так, всячески показывая бесчестность инквизиционной практики<sup>16</sup>, они при этом безоговорочно верят инквизиции во всех обвинениях или даже расширяют их: «...если в свидетельских показаниях упоминается одна заповедь [которую соблюдал обвиняемый], то на самом деле, по-видимому, соблюдались если не все шестьсот тринадцать заповедей, то уж точно многие из них»<sup>17</sup>.

Ввиду амбивалентности инквизиционных документов, крайней сложности в различении клеветы и истины, видимости и сущности, представляется любопытным и полезным релятивистский эксперимент по двойному прочтению нескольких файлов, чьи герои формально обладают одинаковой идентичностью – конверсо-криптоиудеи (так как попадают на суд инквизиции и не удостоиваются оправдания) – и при этом существенно отличаются друг от друга.

Эти файлы взяты из документации трибунала в Сьюдад Реаль (Вильяреаль), крупного города в кастильской Ла Манче, находящегося на пути из Толедо в Кордову. Значительная еврейская община, существовавшая в городе со времени его основания Альфонсо Мудрым, в XV веке пре-

вратилась в общину конверсо, и в Сьюдад Реаль был учрежден первый в Кастилии (не считая Андалусии) инквизиционный трибунал (в 1483 году)<sup>18</sup>.

Инквизиционные дела зачастую группируются по большим семьям (родители, дети, их супруги и родственники): обвинение поступает сразу на нескольких родственников, их судят синхронно или последовательно, они являются свидетелями на процессах друг друга. Мы рассмотрим судьбу двух таких семей.

\*\*\*

Диего Лопес де Альмодовар & Эльвира Гонсалес

↓                    ↓                    ↓                    ↓                    ↓  
Леонор    Виоланте    Гийомар    Майор    Инес Лопес  
Альварес

Диего Лопес де Альмодовар умер за три года до того, как против него возбудили дело, но успел воспитать своих дочерей так, что все они предстали перед судом инквизиции, а некоторые даже взошли на костер. Казалось бы, перед нами образцовая (в рамках героической парадигмы) семья конверсо-криптоиудеев, мучеников за веру. Однако же, рассмотрим их дела подробнее.

Диего Лопес, умерший в 1481 году, был судим по-смертно в 1484 году и через год оправдан – вероятно, благодаря тому, что его зять смог найти хорошего защитника. Его жена Эльвира Гонсалес получила примирение во время Срока милости, что означает, что она покалась и, скорее всего, донесла на других. Действительно, известно, что она свидетельствовала против своего мужа. Подобные действия в данном случае, с одной стороны, могут вызвать осуждение, поскольку совершались они не под пытками, а практически добровольно; с другой стороны, моральным оправданием может служить тот факт, что муж уже умер, и свидетельствованием против него она уже не могла причинить вред ему, зато могла облегчить свою судьбу. Однако интересно, что спустя годы одна из дочерей включает ее в список отводимых свидетелей обвинения, то есть полагает, что та могла бы дать против нее показания<sup>19</sup>. В этом документе сообщается, что «Эльвира Гонсалес, мать вышеупомянутой Инес Лопес, была и есть ее враг. ... и эта женщина много раз сходила с ума»<sup>20</sup>. Свидетельствование против родственников –

явление, очень характерное для процессов в Сьюдад Реаль. В указании на сумасшествие Эльвиры у нас есть богатый выбор видеть либо свидетельство психически тяжелой жизни криптоиудеев, вынужденных все время что-то скрывать, а что-то, наоборот, изображать, либо же стандартный аргумент для отвода свидетелей.

Сестры Майор и Виоланте предстали перед трибуналом, и Виоланте была осуждена и сожжена в 1494 году, но их дела не сохранились. Зато сохранилось дело другой сестры, Леонор Альварес, в 1496 году осужденной на пожизненное заключение. Леонор Альварес сделала несколько признаний. В первом она сообщает о типовых вещах, которые в юности делала под влиянием подружек: ела в субботу то, что они приготовили в пятницу, пожертвовала масло в синагогу, надела чистую одежду в субботу. После свадьбы она ничем подобным не занималась. В Срок милости она не пошла каяться в трибунал, так как боялась, что муж, если узнает, «ее убьет или бросит»<sup>21</sup>. В этом признании легко увидеть набор клише, высказанных обвиняемой с целью получить за добровольное признание в таких не очень серьезных проступках, совершенных к тому же давно, легкий приговор. При этом в реальности обвиняемая могла действительно совершать все эти вещи, могла совершать гораздо более серьезные вещи, а могла даже вообще не знать, что это все значит и отвечать по подсказке защитника или же в ответ на вопросы инквизиторов. Интересно, что дальше Леонор Альварес признается в вещах более оригинальных и, возможно, более достоверных. Она сообщает, что неоднократно занималась гаданием с целью узнать будущее и узнать, что делал муж в ее отсутствие. Кроме того, она рассказывает следующую историю:

«Когда мы были в Гранаде, у моего сына была подруга, которая навела на него чары, из-за которых он ее очень любил и очень был близок к помешательству; и эта его подруга знала, что я ее очень не люблю, и я это знала, и чтобы она не причинила мне вреда и не заколдовала меня, как его, я поговорила с одним мавром, и он мне сказал, что нечего бояться, имея то, что он мне даст, и он мне дал несколько слов, записанных на арабском, и я прилежно носила их с собой, думая, что этого достаточно, чтобы уберечь себя от вышеупомянутых чар»<sup>22</sup>.

Последняя сестра, Инес Лопес, была судима дважды. В первый раз, в 1495–96 годах она была «примирена» благодаря полному признанию. Однако впоследствии она говори-

ла – согласно многочисленным свидетельским показаниям, – что «не делала ничего из того, что рассказала инквизиции, из-за чего и получила «примирение», а говорила так, чтобы ее не сожгли, а на самом деле ничего этого не делала». Она противопоставляла свое «умное» поведение неправильному поведению матери и сестер, которых в результате сожгли: «и ее мать и сестры, которых сожгли, не делали ничего из того, за что их сожгли, ... во всем этом их оклеветали. ... Ее мать и сестры хотели умереть, чтобы не признаваться в том, чего не делали, а она, чтобы не умереть, как мать и сестры, призналась в том, чего не делала»<sup>23</sup>. Погибать было очевидно неправильно, равно как и эмигрировать, причем выбор, поведение, – по крайней мере, Инес Лопес – определялось скорее социальными представлениями, чем религиозными убеждениями. Так, в ходе отвода свидетелей обвинения рассказывается следующая история.

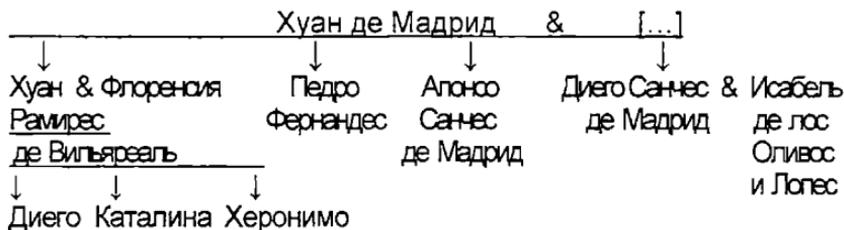
«Одна ее неприятельница говорила: смотрите, ... зазнавалась как христианка, а [теперь] ходит в санбенито. А Инес Лопес отвечала ей, что лучше быть примиренной, чем бежать с зятем в Португалию [как сделала мать этой неприятельницы]»<sup>24</sup>.

В 1511-12 годах Инес Лопес судили вторично и сожгли, причем обвиняли ее на этот раз отнюдь не в иудействовании, а в нелояльном отношении к самой инквизиции. Как уже было сказано, многие свидетели заявили, что Инес Лопес говорила о несправедливом осуждении ее семьи. Кроме того, она сокрушалась о том, что все судопроизводство инквизиции построено на показаниях дурных свидетелей: «Постоянно ходила и говорила: да сохранит меня Господь от лже-свидетельств! И говорила: Посмотрите, от чего зависит моя жизнь – от слов какого-нибудь пьяницы или какой-нибудь пьяницы!»<sup>25</sup> В инквизиции, возмущалась она, «все клеветали и клеветают», все происходит «из-за вражды и неприязни», и наконец, «вся эта инквизиция – чтобы вытянуть деньги»<sup>26</sup>.

Таким образом, перед нами «героическая» семья криптоиудеев, в которой отец был оправдан; мать покаялась – настолько тактически верно, что очень вероятно, что в несуществующих грехах; одна дочь, по собственному признанию, тоже возвела на себя напраслину, но через пятнадцать лет была осуждена вторично – только не за лояльность иудаизму, а за нелояльность инквизиции; еще две сестры были сожжены за то, чего никогда не делали, в чем их оклеветали, и

наконец еще одна оказалась в пожизненном заключении – за гадания и использование арабских магических амулетов.

\*\*\*



Совсем иной представляется история состоятельного и влиятельного конверсо Хуана Рамиреса. В юности он состоял учеником купца, затем – в течение нескольких десятилетий – занимался сбором налогов, и венцом его карьеры (в 1490-х гг.) стала должность майордома, управляющего, у Франсиско Хименеса де Сиснероса – кардинала, архиепископа Толедского и генерального инквизитора. Он дважды предстал перед инквизиционным судом. Первый раз, в 1487 году, он отправился из Сьюдад Реаль, где тогда уже жил, в Кордову, покаяться перед кордовским трибуналом в грехах юности, в том, что, живя в доме купца, иногда соблюдал субботу и держал иудейские посты; в наказание он уплатил большой штраф (13 тысяч мараведи) и был прощен<sup>27</sup>. Видимо, покаяние именно перед кордовским трибуналом являлось удачным тактическим ходом, сделанным, скорее всего, по профессиональному совету.

Незадолго до смерти Хуану вновь пришлось принести покаяние – на этот раз по прямому приказу его патрона, кардинала Сиснероса, и он опять рассказал о своем эпизодическом иудействовании в юности, в доме купца-наставника. Кажется, действительно, этим его еретические грехи должны были ограничиваться; вряд ли бы стал иудействовать верный слуга кардинала и генерального инквизитора, и вряд ли бы генеральный инквизитор стал доверять криптоиудею и выстраивать ему стратегию защиты. Причиной же этого второго процесса над Хуаном Рамиресом стал донос его черной рабыни Исабелы; она сообщила, что по пятницам и субботам ее хозяин с женой приглашают родственников (в основном, двух братьев жены и невестку), запираются в одной комнате, где читают книгу и молятся, раскачиваясь всем корпусом.

Это обвинение вполне можно счесть наговором, составленным из где-то услышанной типовой информации; непонятно, что именно могла увидеть и услышать Исабель из-за запертой двери. К тому же, про рабыню Исабель сообщается, что она была в плохих отношениях со своим хозяином (иначе, действительно, зачем бы она стала доносить на него?): он не хотел давать ей вольную, дурно с ней обращался, даже бил ее, и она желала смерти ему, его жене и детям или, конкретнее, собиралась отправить их на костер<sup>28</sup>. Также против Хуана Рамиреса дали показания предполагаемые участники этих пятничных и субботних посиделок: его шурин Алонсо Санчес де Мадрид и жена другого шурина Исабель де лос Оливос и Лопес. Алонсо Санчес враждебно относился к своему зятю и даже не разговаривал с ним, в частности потому, что между ними был финансовый конфликт, и Алонсо Санчес не выплатил долг. И вообще Алонсо Санчеса называют человеком неразумным и даже сумасшедшим («скакал на лошади задом наперед и ... ходил по улицам, крича, как сумасшедший»)<sup>29</sup>. А Исабель де лос Оливос и Лопес и вовсе была «женщина неразумная и пропащая», «глухая, немощная, которая вместо одного слышала другое, совершенно обратное тому, что говорили»<sup>30</sup>. К тому же она злоупотребляла вином, особенно любила напиваться дома, у огня, так что у нее «загорались юбки и одежда, которая на ней была»<sup>31</sup>. вполне естественно, Хуан Рамирес и его жена осуждали Исабель и считали, что она плохая жена для их шурина/брата, а Исабель ненавидела своих родственников, говорила, что «у нее нет других врагов, кроме них, и что прежде, чем ее глаза закроются, она хотела бы увидеть их на костре»<sup>32</sup>. Свидетельства о «неразумности» и ненормальности («не как другие женщины») Исабель подтверждаются ее трагической судьбой. В тюрьме она стала отказываться от пищи (не ела восемь дней), все время кричала, плакала и пела; после показаний других заключенных о том, что она сходит с ума, ее поручили заботам врача и перевели в частный дом, но там она покончила с собой, бросившись в колодец.

Несмотря на таких проблемных родственников и предательницу-служанку Хуан Рамирес не потерял доверия кардинала Сиснероса. После смерти Хуана в 1512 году должность майордома занял его сын Диего Рамирес – и это несмотря на то, что сыновьям и внукам осужденных конверсо запрещалось занимать подобные должности, а процесс над Хуаном отнюдь не был прекращен, а продолжался по-

смертно. Диего Рамирес оставался майордомом кардинала вплоть до смерти последнего в 1517 году и до 1524 руководил защитой на процессе отца, добившись рассмотрения дела в самой высокой инстанции, в Супреме, которая в результате полностью оправдала Хуана Рамиреса, очистила его имя, обезопасила его собственность от конфискаций и освободила его потомков от каких бы то ни было карьерных ограничений.

Казалось бы, перед нам редкий случай инквизиторской ошибки: процесс над Хуаном Рамиресом – случайность, результат злого навета; на самом деле он невиновен, он и его сыновья – успешные ассимилянты, из числа тех осуждаемых еврейскими авторами XVI века «отступников» и «еретиков», что прельстились материальными благами, в данном случае – выгодами служения кардиналу и генеральному инквизитору.

Но можно посмотреть на эту историю иначе, приняв во внимание еще несколько моментов. Вторую после рабыни-негрятки свидетельницу обвинения, свояченицу Хуана Рамиреса, Исабель де лос Оливос и Лопес, ту самую глухую и полусумасшедшую алкоголичку, он сам за десять лет до суда, заботясь о семейном счастье овдовевшего(?) шурина, привез в Сюдад Реаль издалека, из городка Аямонте, под Севильей. Стоило ли так удружать шурина, если у этой женщины действительно имелись столь серьезные недостатки? Конечно, возможно, что они развились со временем, на почве несчастливого брака, но как бы то ни было, Хуан Рамирес, привезший Исабель в город, должен был бы оставаться ее покровителем, а не смертельным врагом. Кроме того, для человека, мечтавшего увидеть Хуана Рамиреса и его жену на костре, Исабель странно себя ведет в тюрьме. Дав показания, она очень раскаивается, пытается все отрицать и заявляет, что солгала из-за страха перед пытками. Она сокрушается, что «потеряла душу, [которой теперь место] в преисподней»<sup>33</sup>, и, вероятно, поэтому кричит и плачет и в конце концов бросается в колодец. Так же удивительно, что при столь плохих отношениях, в которых якобы состояли чета Рамиресов и их родственники (в особенности Исабель и Алонсо Санчесы), они регулярно встречались по субботам, как донесла рабыня<sup>34</sup>.

Скорее, стоит думать, что крайне негативные характеристики Исабель де лос Оливос и Лопес и Алонсо Санчеса разработаны специально для отвода свидетелей обвинения, а тот факт, что их поддержали свидетели защиты, является плодом титанических усилий Диего Рамиреса, который две-

надцать лет защищал имя отца (а также, заметим, его наследство и свое будущее), нанимал лучших адвокатов, возможно, что подкупал свидетелей, и в результате, как мы знаем, добился оправдания в самой Супреме. На самом же деле, богатый высокопоставленный Хуан Рамирес, пользовавшийся покровительством генерального инквизитора, действительно мог быть лидером кружка криптоиудеев, который состоял главным образом из родственников его жены, живших в этом же городе. В таком случае прав оказывается португальский еврейский хронист Шмуэль Ушке, хваливший даже конверсо-ассимилянтов за их проеврейские взгляды и поддержку своих соплеменников:

«Те, кто после брата Висенте остались в живых в Испании под именем обращенных, столь благоденствовали в королевстве сем, что вошли в число грандов и знатнейших господ, а потом и породнились с высшей знатью, достигли великих должностей при дворе, получили титулы графов, маркизов, епископов и другие почести... А другие, всю жизнь остававшиеся иудеями, будучи тайно покровительствуемы первыми, также благоденствовали и процветали»<sup>35</sup>.

\*\*\*

Выше мы не упомянули еще одну гипотезу о происхождении слова *маран*: от *мар'э айн*, «видимое глазу», «видимость». И хотя эта этимология признана неверной, суть ее очень верна. Маран, как мы его можем постичь, это набор видимостей, видимых идентичностей; одно из того или нечто среднее между тем, как он виделся:

слугам и соседям-христианам, дружественным и недружественным;

инквизиционному трибуналу;

раввинам, заинтересованным в пополнении своей общины путем возвращения крестившихся в лоно иудаизма или же стремившимся предостеречь свою паству;

еврейским ученым, оплакивавшим преследования своих предков и воспевавшим их героизм;

и, наконец, тем авторам дидактических пассажей, кому просто нужен красивый исторический пример для пущей убедительности.

---

<sup>1</sup> «...Мы признаем, что именно для того, чтобы они могли, благодаря своим книгам, хоть и против своей воли, донести до нас эти сви-

детельства, они и были рассеяны между народами по всем местам, где есть христианская церковь... По этой причине Он не умертвил их, то есть не дал им утратить осознание своего еврейства, хоть и подверглись они нашествию и притеснению со стороны римлян – чтобы не забыли они Закона Божьего и могли донести до нас эти убедительные свидетельства» (Бл.Августин. О Граде Божьем, 18:46, толкование на: «Не умерщвляй их, дабы не забыл народ мой» (Пс 59:12)).

<sup>2</sup> Например, папа Григорий Великий порицал тех церковников, кто насильно приводил евреев к крестильной купели и призывал прекратить эту практику, поскольку Библия нигде не оправдывает принудительное крещение, а также потому, что насильно обращенные вскоре возвращаются «на блевотину свою». См. об отношении церковных и светских властей к евреям: Stow K. Alienated Minority: The Jews of Medieval Latin Europe. Harvard UP, 1996. Ch. I: A Christianizing Society. Рус. пер.: Стоу К. Отчужденное меньшинство. Евреи в средневековой Латинской Европе. М.-Иерусалим, 2007. Гл. I: Насажение христианства.

<sup>3</sup> Так, в 1097 году германский император Генрих IV разрешил вернуться в иудаизм евреям, крещеным или крестившимся во время крестоносных погромов 1096 года. (Это его решение было, среди прочего, связано с давним имперским противостоянием Риму, однако евреям в этом вопросе покровительствовали и другие европейские монархи.)

<sup>4</sup> Например, хронист Йосеф Га-Коген (Joseph Ha-Kohen. Sefer Emeq ha-Bakha. Uppsala, 1981. P. 51) говорит о 15 тысячах, а Авраам де Торутизель (Shtey kroniqot ivriyot mi-dor girush Sfarad. Jerusalem, 1979. P. 34-35) – о 400 тысячах (200 тысяч крестились в 1391 году и столько же – в 1412).

<sup>5</sup> В подтверждение этого, действительно, встречаются, – правда, однократно – формы *murranus* и *marani*.

<sup>6</sup> См. комментарий Ицхака Абраванеля на Книгу пророка Иезекииля 20:32-37 и Книгу пророка Малахии 3:19 (*Perush Neviim u-Ktuvim*. Jerusalem, 1960. P. 520ff., 593), а также «Жертвоприношение Исаака» Ицхака Арамы (Akedat Yizhak, V. Jerusalem, 1961. P. 149ff.).

<sup>7</sup> *Гашкават га-серуфим аль кидуш га-шем* (поминание сожженных во освящение Имени) из молитвенника Seder brachot/Orden de Bendiciones (Амстердам, 1687). Цит. по: Miriam Bodian. Hebrews of Portuguese Nation: Conversos and Community in Early Modern Amsterdam. Bloomington: Indiana UP, 1999. P. 80-81.

<sup>8</sup> Стихотворение Даниэля Леви де Баррьоса, португальского конверсо, эмигрировавшего в Ливорно, а затем осевшего в Амстердаме, в переводе Валентина Парнаха: Парнах В.Я. Испанские и португальские поэты, жертвы инквизиции. Л.-М.: Academia, 1934. С. 81.

<sup>9</sup> Дубнов С.М. История евреев в Европе. Т. 2: Позднее средневековье до изгнания из Испании (XIII-XV в.). М., 2003 (репринт издания 1936 г.). С. 276.

<sup>10</sup> Baer Y. Toldot ha-yehudim bi-Sfarad ha-notzrit. Tel-Aviv, 1959. P. 365, 463-464.

<sup>11</sup> Beinart H. Conversos on Trial: The Inquisition in Ciudad Real. Jerusalem, 1981. P. 285.

<sup>12</sup> Телушкин Й. Еврейский мир: Важнейшие знания о еврейском народе, его истории и религии. М., 2002. С. 154.

<sup>13</sup> Радзиховский Л. Черная метка // Еврейское слово. 25-31 января, 2006.

<sup>14</sup> Представители иной парадигмы, ревизионисты, используют, наоборот, еврейские источники, причем также довольно пристрастно: подбор источников местами тенденциозен, равно как и их анализ: все высказывания в пользу «еврейскости» конверсо объясняются посторонними факторами, повлиявшими на отношение раввинов, а все высказывания против принимаются за объективную истину. См. ключевую для этой парадигмы работу: Netanyahu B. The Marranos of Spain (From the Late 14<sup>th</sup> to the early 16<sup>th</sup> Century, According to Contemporary Hebrew Sources). Cornell UP, 1999 (первое издание – 1966).

<sup>15</sup> Например, используя те фрагменты допроса, где инквизитор просто фиксирует слова обвиняемого, не понимая и, соответственно, не перекодируя их (Ginzburg S. The Judge and the Historian // Critical Inquiry, 18, 1991); или принимая на веру наиболее детальные и нестандартные показания. См. подробнее: Зеленина Г.С. *Doña puta vieja*: «комплекс Селестины» в инквизиционных документах // Адам и Ева: Альманах гендерной истории. Под ред. Л.П.Репиной. № 7. М.: ИВИ РАН, 2004. С. 94-95.

<sup>16</sup> «Всеядность» в привлечении свидетелей обвинения, слабость защиты и ее подконтрольность обвинению, применение пыток и т.п. См., например: Beinart H. Conversos on Trial, p. 127f., 130ff., passim.

<sup>17</sup> Ibid. P. 54.

<sup>18</sup> Ibid. P. 48ff.

<sup>19</sup> Кто именно выступал свидетелем обвинения, подсудимому и защите известно не было, поэтому старались скомпрометировать всех потенциальных врагов.

<sup>20</sup> Records of the Trials of the Spanish Inquisition in Ciudad Real. Ed. by Haim Beinart. 4 vols. Vol. 2. Jerusalem, 1977. P. 111.

<sup>21</sup> Records, vol. 2, pp. 47-48.

<sup>22</sup> Ibid. P. 52.

<sup>23</sup> Ibid. P. 95, 101, passim.

<sup>24</sup> Ibid. P. 111.

<sup>25</sup> Ibid. P. 85.

<sup>26</sup> Ibid. P. 95, 101, 102.

<sup>27</sup> Records... Vol. 3. Jerusalem, 1981. P. 76-77.

---

<sup>28</sup> Ibid. P. 158ff.

<sup>29</sup> Ibid. P. 175ff., 253ff. Любопытно, что Хаим Бейнарт полностью верит этим *tachas* (см. *ibid.*, p. 303).

<sup>30</sup> Ibid. P. 171.

<sup>31</sup> Ibid. P. 170, 189.

<sup>32</sup> Ibid. P. 168-169.

<sup>33</sup> Records, vol. 2, pp. 570-571.

<sup>34</sup> Можно, конечно, предположить, что они действительно были в плохих отношениях и не встречались, а рабыня все выдумала из злого умысла, но зачем бы она, обозленная на своих хозяев, стала клеветать на их врагов?

<sup>35</sup> Samuel Usque. *Consolaçam as tribulaçoens de Israel*. Ed. J.Mendes dos Remédios. 3 vols. Coimbra, 1906-08. Vol. 3. P. XXVI.

# **Мир чиновников**



**Дворянское «мы» в карьере Иштвана Вербеци  
(к вопросу о политическом самосознании  
венгерского дворянства на рубеже XV-XVI вв.)<sup>1</sup>**

В XV в. венгерское дворянство настолько упрочило свои сословные позиции, что превратилось в активную политическую силу в государстве. В конце 30-х годов XV века стало регулярно созываться и принимать участие в разработке законов Государственное собрание – высший орган сословного представительства в Венгерском королевстве, в котором, учитывая слабость городского сословия, реально были представлены две силы: крупная феодальная аристократия (бароны и прелаты) и дворянство. Во времена междуцарствия конца 50-х гг. XV в., когда сословиям предстояло выбрать нового короля, кандидатуру Матяша Хуняди на Государственном собрании поддержали дворяне, поголовно и во всеоружии появившиеся на Ракошском поле в январе 1458 г.<sup>2</sup> Король Матяш и в другие критические моменты своего царствования обращался к дворянству<sup>3</sup>, так как видел в нём опору перед лицом враждебно настроенной старой аристократии. Дворянство, в свою очередь, пользовалось поддержкой монарха. Именно в его царствование это сословие, окрепшее материально, получило от центральной власти широкую автономию в местном управлении, в т.н. дворянских комитатах<sup>4</sup>. После смерти легендарного короля аристократия попыталась вернуть утраченные прежде позиции, добиться максимальных для себя уступок от нового короля, слабовольного Уласло II Ягеллона, ограничить в свою пользу королевскую власть, а также подчинить своей власти дворянство<sup>5</sup>. Эти попытки, которые нельзя назвать безуспешными, вызывали решительное сопротивление со стороны дворянства. Около трех десятилетий продолжалась борьба между двумя общественно-политическими группировками и королем. Из надежных сторонников короля, каковыми дворяне в целом зарекомендовали себя при Матяше, в эпоху Ягеллонов они превращаются во временных попутчиков королевской власти, и выступают то на стороне короля против знати, то вместе со знатью против короля, отстаивая перед тем и другими свои интересы, а иногда и вовсе действуют самостоятельно. Дворянство использует Государственные собрания для того, чтобы добиться для себя участия в управлении государством наравне со знатью.

Почувствовавшее свою силу дворянство нуждалось в идейном обосновании своих политических амбиций. Оно было весьма многочисленно<sup>6</sup>, но вместе с тем неоднородно по своему имущественному положению и к тому же плохо организовано в политическом отношении. Среди дворян королевства было мало грамотных, а тем более высокообразованных людей, а также таких, кто обладал бы опытом в государственных делах и политической сфере. В создавшихся условиях дворянское сословие с трудом могло формулировать не только свои идейные воззрения, но даже политические требования, и осознанно проводить их в жизнь. Одним из немногих, и, безусловно, наиболее выдающимся идеологом венгерского дворянства конца XV – начала XVI в. стал Иштван Вёрбёци (Werböczy István). Автор знаменитого «Трипартитума»<sup>7</sup> – кодекса обычного феодального права – с гениальной точностью и лаконичностью сформулировал на страницах своего труда тезис «Una et eadem libertas», в котором в концентрированном виде отражалось главная мечта дворян: во всем уравниваться с аристократией<sup>8</sup>.

«Трипартитум» был представлен Вербёци Государственному собранию, созванному осенью 1514 г. после подавления Крестьянской войны под предводительством Дьёрдя Дожи. Однако по определенным причинам, в первую очередь из-за сопротивления знати, он не был возведен в статус закона, несмотря на утверждение его королем Уласло II. Тем не менее, опубликованный самим автором «Трипартитум» получил всеобщую известность и признание в Венгерском королевстве<sup>9</sup>. Для юристов и судей он стал главным справочником и практическим руководством по венгерскому праву. Более того, благодаря органическому соединению автором теории государства с исключительно важной для Венгрии идеей Святой короны, была подведена политико-юридическая основа под мировоззрение венгерского дворянства, не поколебленная в течение веков<sup>10</sup>.

Иштван Вербёци не был кабинетным ученым: всю свою долгую жизнь он провел на государственной службе, и, кроме того, активно занимался политической деятельностью. Путь этого мелкопоместного дворянина из венгерской глубинки к вершинам служебной и политической карьеры в столице королевства в определенном смысле отражает процессы политического развития венгерского дворянства того времени и становление его общественно-политического са-

мосознания. В настоящей статье я и попытаюсь выявить и проследить эту взаимосвязь и ее особенности.

Точная дата рождения будущего юриста неизвестна. Одни исследователи относят это событие ко второй половине 50-х гг. XV в.,<sup>11</sup> другие – на 10–15 лет позже (что мне кажется в большей степени соответствующим истине)<sup>12</sup>. В любом случае становление Иштвана Вербеци как личности происходило в правление короля Матяша Корвина (1458–1490) – эпоху, которая многое изменила в положении венгерского дворянства. Он родился в семье мелкопоместного дворянина (возможно, однодворца) на окраине королевства – в комитате Берег, недалеко от Мункача (совр. Мукачево). Его род не принадлежал к числу древних. Первые упоминания о нем относятся к началу XV в. – и то, в связи с какими-то мелкими местными земельными тяжбами. Члены семьи занимали незначительные должности в комитатской администрации. Безвестность поглотила бы семью, если бы ее представители не пошли на королевскую службу. Дед Иштвана Барла попал ко двору венгерского короля Жигмонда (Сигизмунда Люксембурга)<sup>13</sup>, где смог занять должность заместителя королевского стольника (*dapiferorum regalium vicemagister*); брат деда выбрал юридическое поприще. Благодаря службе у короля, братья приращивали семейное состояние: они приобрели поместье Вербец (*Werböcz*) в комитате Угоча (в тех же краях, где уже имели небольшую собственность). Можно предположить, что имевшаяся до тех пор у семьи земля делилась между несколькими семьями и давала только имя, ибо обосновались братья в Вербеце, а сын Барлы Янош сменил прежнее родовое имя Керепеци на Вербеци. Под этим именем, вероятно, в 50-е гг. он уехал искать счастья в Буду, где в королевской курии нашел место юриста<sup>14</sup>. Это произошло не случайно.

Короли Жигмонд и особенно Матяш Корвин многое сделали для развития государственного аппарата; реформировалось судопроизводство, центральный аппарат, финансовая система, армия. Жигмонду, получившему со временем германскую, императорскую и чешскую короны, как никакому другому королю прежде нужна была деятельная канцелярия, связывавшая подвластные ему страны. Его канцелярию одно время возглавлял итальянский гуманист Пьетро Паоло Верджеро<sup>15</sup>. В канцелярии выросла целая плеяда молодых канцеляристов, некоторые из которых получили образование в итальянских университетах и впослед-

ствии заняли высокие должности в светской и церковной сфере. Это учреждение стало центром гуманистической культуры при короле Матяше и средоточием интеллектуальной элиты королевства<sup>16</sup>. При Матяше молодежь одно время смогла получать образование и в пределах страны, в первой высшей школе королевства – Academia Istrapolitana, основанной сподвижником короля, канцлером Яношем Витезем в Пресбурге (венг. Пожони, совр. Братиславе)<sup>17</sup>. Желавшая составить материальное благополучие и сделать карьеру молодежь из дворян, а также немецкого бюргерства потянулась в столицу.

Сведений о том, где эти предки Иштвана – первые юристы в роду – учились, не сохранилось. Скорее всего, они не получили специального юридического образования, а были практикующими юристами, что было весьма распространено в ту эпоху в королевстве. Важно отметить то, что утверждение своих позиций (социальных и материальных) предки Иштвана связывали с королевской службой – и не напрасно. Причем, как видно, эта семья, не имея высоких общественных связей и богатства, могла рассчитывать только на себя, на свою образованность и, в данном случае, на юридические знания и опыт. К этой категории людей, так называемых «*litterati*», или «дьяков» (*deákok*), относились и Керепеци-Вербеци, и сам Иштван Вербеци.

Существуют предположения о том, что и Иштван Вербеци учился на родине, посещая Academia Istrapolitana. Некоторым исследователям, занимавшимся феноменом Вербеци, очень хотелось бы связать его широкий кругозор и необычайно глубокие познания в юриспруденции с его обучением в каком-нибудь из итальянских университетов<sup>18</sup>. Но прямыми свидетельствами это предположение не подтверждается. Да и то обстоятельство, что среди языков, которыми владел Иштван Вербеци, не было итальянского (а он хорошо знал латинский, греческий и немецкий языки), скорее поддерживает точку зрения тех историков, которые не склонны приписывать Вербеци обучение в Италии<sup>19</sup>. Единственное упоминание о том, что юноша, действительно, приобщился к университетскому образованию, относится к 1492 г. Весной этого года Иштван (еще под семейным именем Керепеци) записался на факультет искусств Краковского университета<sup>20</sup>. Это значит, что к тому времени Вербеци еще не имел юридического образования. Но и позже он вряд ли сумел получить его, так как уже в начале ноября 1492 г. он состоял на

службе в аппарате судьи королевской курии (*judex curiae regiae*) в Буде<sup>21</sup>. Скорее всего, молодой человек попал туда по протекции своего дяди Яноша, и был вынужден прервать учебу в университете<sup>22</sup>. Очевидно, как и его родственники, Вербеци постигал азы юриспруденции в основном на практике. Но он не стал бы автором знаменитого «Трипартитума», если бы не превзошел своих коллег-нотариев в знаниях и талантах. Судя по «Трипартитуму», Вербеци прекрасно ориентировался в римском и каноническом праве, обычаях и законах Венгерского королевства, был «подкован» в теологии, венгерской истории. Он был знаком с современными политическими теориями, отраженными в венгерской хронистике его времени. Так, идейная близость с Яношем Туроци позволяет предполагать его знакомство с «Хроникой венгров» этого автора XV в. (что выглядит вполне реально, если учесть, что и Туроци несколькими годами раньше Вербеци также служил в королевской курии в должности нотариуса)<sup>23</sup>.

Риторика «Трипартитума» наводит на мысли о том, что Иштвану Вербеци не были чужды и плоды гуманистической образованности. Подобных знаний и взглядов молодой служащий мог набраться уже в королевской канцелярии, где в то время, как уже упоминалось, собрались самые образованные люди королевства, приобщившиеся к миру гуманизма в Италии. Он и позже поддерживал отношения с гуманистами, которые даже посвящали ему свои труды<sup>24</sup>. Влияние гуманизма прослеживается в предисловии и послесловии к «Трипартитуму», адресованных ученому гуманистическому миру<sup>25</sup>. Формулируя свои задачи, Вербеци щедро ссылается на классических авторов, апеллирует к древней истории и современности, к состоянию юридической науки в своем королевстве. Пользуясь шаблонами, принятыми среди гуманистов, он с чувством авторского самосознания изложил историю написания своего труда, оценил его значение<sup>26</sup>.

Вербеци был прекрасным оратором. Свой ораторский талант он не раз подтверждал на Государственных собраниях; на германских рейхстагах, куда его посылали венгерские сословия за помощью против турок; при дворах султана Сулеймана и римского папы, где он в разное время бывал с дипломатическими миссиями. Современники называли его «*vir bonus, dicendi meritus*»<sup>27</sup>. Однако, несмотря на некоторый своего рода гуманистический лоск, Вербеци никогда не разделял воззрения гуманистов, и в своем творчестве в целом остался в стороне от этого интеллектуального движения.

Существуют предположения, что Вербеци мог готовиться к духовной карьере, с чем и связывают его глубокие познания в каноническом праве и интерес к богословию<sup>28</sup>. Он даже написал маленький трактат по теологии, посвященный десяти заповедям и их соблюдению, который в 1524 г. издал в Вене, в том же издательстве, где опубликовал «Трипартитум»<sup>29</sup>. На этом поприще, как и в юриспруденции, Вербеци не замкнулся на теории. Во время своей поездки на Вормсский рейхстаг в 1521 г. в качестве посла он вместе с другим послом, гуманистом Джеромо Бальбо в неофициальной обстановке пытался склонить Мартина Лютера отказаться от ошибочных, с его точки зрения, взглядов.<sup>30</sup> Судя по всему, он чувствовал себя вполне подготовленным к спору с уже прославившимся реформатором, хотя эта попытка успехом не увенчалась. Справедливости ради следует отметить, что в данном случае, как и во многих других, Вербеци на первое место ставил не теологическую сторону вопроса. Единство христианской церкви его беспокоило в первую очередь по политическим соображениям. Он понимал, что пока в Германии продолжается раскол, Венгрии не дожидаться от рейхстага помощи против турок. По пути в Вормс Вербеци опубликовал в Вене трактат оппонента Лютера итальянца Амброзио Каттарини, с положениями которого внимательно ознакомился и согласился. Один экземпляр он тут же отослал с сопроводительным письмом в Буду Лайошу II, обратив внимание короля на то, что и в Венгрии, при королевском дворе есть сочувствующие лютеровской ереси, что грозит стране расколом<sup>31</sup>. Как бы то ни было, теологом Иштван Вербеци не стал, хотя сам факт написания королевским чиновником, судьей и ученым юристом, чрезвычайно занятым человеком, политиком религиозного трактата свидетельствует о том, что перед нами – «универсальный» человек, ренессансный типаж.

Итак, с осени 1492 г. Иштван Вербеци стал работать в королевской курии нотарием, но еще долго оставался в тени. Однако в 1498 г. в его жизни произошло важное событие. В тот год безвестный нотариус королевской курии получил два земельных пожалования в комитате Ноград от Михая Соби. С этого времени жизненные пути двух выдающихся персонажей венгерской истории предмощачского периода оказались теснейшим образом связанными. Судя по тексту жалованной грамоты, Вербеци совмещал государственную службу с должностью нотариуса у Михая Соби<sup>32</sup>. Последний отно-

сился к числу влиятельнейших людей королевства: его отец был хорватским баном, а сам Михай до самой смерти, последовавшей в 1527 г., занимал одно из первых мест среди политических вождей венгерского дворянства. Встреча Вербеци и Соби в 1498 г. не была случайной. Очевидно, Вербеци оказал политику Соби какую-то важную услугу, если тот пожаловал его двумя поместьями. Что это могла быть за услуга со стороны королевского нотариуса, можно предположить.

1498 г. – знаменательный год не только в личной жизни Иштвана Вербеци, но и всего венгерского дворянства в целом. В этот год венгерское Государственное собрание приняло ряд законов, изменивших положение венгерского дворянства и соотношение политических сил в стране. Статья 22 перечисляла тех баронов, которые должны были предоставлять свои войска (бандерии) на защиту страны<sup>33</sup>. Не вошедшие в список господа в вопросе о выставлении определенного числа воинов со своих земель подчинялись дворянским комитатам, влившись в состав комитатских дворянских ополчений. Этот закон имел очень важные социальные последствия. Он разделил два ранее близко стоявших друг к другу слоя высшей знати: *proseges* («знатнейшие», «господа») и *egregii* («почтенные») <sup>34</sup>, первых причисляя к магнатам, вторых понижая до дворян. Так, Михай Соби, как сын хорватского бана, не занимающий высших должностей в королевстве, оказался оттесненным во второй эшелон феодальной элиты.

Вполне понятно, что «почтенные» были недовольны таким поворотом дел, поскольку отныне они лишались привилегий получать личное приглашение на Государственное собрание, иметь специальную печать, заседать в королевском совете и т.п. В лице наиболее активных из них общая масса дворянства, противостоявшая баронам, получила богатых и влиятельных политических вождей. Формировалась т.н. «дворянская партия», одним из лидеров которой стал Михай Соби. Собственно, знать в лице подобных Соби или даже тех, кто сохранил место среди баронов (например, Иштван и Янош Запольяи), использовали дворянскую массу в своих узко сословных, а часто – и в исключительно личных целях. Иштван Вербеци, представитель того самого мелкопоместного дворянства, которое добивалось для себя прав перед лицом могущественной знати, опытный чиновник, талантливый юрист, прекрасный оратор стал незаменимым

помощником Соби, его сподвижником. Правда, очень долгое время Вербеци прятался в тени Михая Соби и других крупных политических фигур своего лагеря, таких как Янош Запольяи. Это вполне понятно: авторитет могущественных магнатов и рядового служащего королевской курии, мелкопоместного дворянина были несопоставимы. Вместе с тем Вербеци не был послушным орудием в руках Соби или Запольяи. Уже с этого времени прослеживается его собственная позиция, которую в последующие годы, выйдя из тени, возвысившись на службе, Вербеци смог отстаивать, порой даже идя вразрез с интересами своих покровителей. С одной стороны, он последовательно защищал права и привилегии дворянского большинства перед лицом знати и короля, с другой, – отстаивал интересы королевской власти от посягательств магнатов. Более того, в определенном смысле, можно говорить о наличии у Вербеци государственного интереса, хотя и понимаемого им достаточно своеобразно. Став высоким государственным чиновником, он тем не менее оставался мелким дворянином.

Вплоть до 1502 г. Иштван Вербеци оставался нотариумом королевской курии, не продвинувшись за 10 лет по службе. Но это не значит, что он бездействовал. Очевидно, в это время он вступает на политическую арену, что совпало с первыми большими политическими успехами дворянства. В историографии существует предположение, что уже на Государственном собрании 1498 г. Вербеци в полную силу проявил себя, участвуя в составлении решений этого сословного съезда, содержавших серьезные уступки дворянству<sup>35</sup>. Главные из них касались увеличения дворянского присутствия в центральных органах власти: в королевской курии и в королевском совете. Так, среди судебных заседателей королевской курии ограничивалось число прелатов и баронов, и предусматривалось введение 16 выборных судебных заседателей от дворян, работающих за вознаграждение<sup>36</sup>. В королевский совет для обсуждения общих дел королевства вводились 8 из выбранных в королевскую курию 16 дворянских судебных заседателей<sup>37</sup>. Закон оговаривал обязательное поголовное присутствие дворян (кроме однодворцев) на Государственных собраниях<sup>38</sup>. Отныне король должен был делить свое право назначать судей с Государственным собранием<sup>39</sup>. Обеспечивались хозяйственные интересы дворянства в ущерб другим сословиям, в первую очередь крестьянам и горожанам<sup>40</sup>.

В 1498 г. законы были сформулированы не просто в пользу дворянства, а «националистически» настроенного дворянства. Так, право собирать подати отдавалась только венграм<sup>41</sup>. Но главное, Государственное собрание могло выбирать нового короля в случае, если король умрет, не оставив наследников; причем для того, чтобы исключить влияние на выборы иностранцев, последним запрещалось присутствовать на выборном съезде<sup>42</sup>. Как верно отметил один современный венгерский историк права, в эту эпоху, когда в Европе повсеместно пробуждалось чувство национального самосознания, в Венгрии (как одна из ее исторических особенностей) этот процесс совпал со становлением сословного самосознания дворянства и его стремлением к независимости. «Лишившаяся национальной династии страна [подразумевается Матяш I Корвин – Т.Г.], ревностно защищает свое право выбирать королей и свои сословные привилегии перед лицом чужеземной правящей семьи»<sup>43</sup>. Этот шаг был ответом венгерских сословий на заключенный в 1491 г. договор между недавно избранным на венгерский престол королём Уласло II Ягеллоном и Максимилианом I Габсбургом, предусматривавший передачу венгерского и чешского тронов Габсбургам в случае, если Уласло умрет бездетным<sup>44</sup>. Венгерские же сословия, в первую очередь дворяне, надеялись на то, что в случае необходимости сумеют воспользоваться данным им правом выбирать короля, и изберут на венгерский трон своего короля: среди кандидатов от разных политических групп фигурировали внебрачный сын Матяша I Янош Корвин и (позже) сын трансильванского воеводы Янош Запольяи.

Итак, в перечисленном комплексе требований уже просматриваются очертания политической программы венгерского дворянства, за которой угадывается направляющая рука и знания опытного законника. Не исключено, что таким человеком в данном случае оказался Иштван Вербеци.

Сам Вербеци, безусловно, выиграл от этих постановлений. В статье 2 о дворянских присяжных заседателях в составе королевской курии и королевского совета особо подчеркивалось, что это должны быть сведущие в праве, выдающиеся своими научными познаниями (*jurisperiti, illi videlicet: qui sapientia praesunt*) дворяне. И хотя Вербеци не избирался в их число, уже с 1500 г., как один из самых опытных и авторитетных нотариусов королевской курии, он нередко присутствовал на заседаниях королевского совета<sup>45</sup>. А в

1502 г. Вербеци, наконец, продвинулся по служебной лестнице: он был назначен протонотарием судьи королевской курии.

Протонотарий (венг.: *itelőmester*) был ключевой фигурой судебного аппарата королевской курии. Чтобы понять его значение, необходимо несколько слов сказать о структуре этого учреждения. К концу XV в. королевская курия была представлена тремя судебными палатами: судом надор-палатина<sup>46</sup>, судом судьи королевской курии (иначе государственного судьи)<sup>47</sup>, судом королевского персонала<sup>48</sup>. Это были высшие сановники королевства, т.н. главные судьи королевства, причем первые две должности могли занимать исключительно представителями высшей знати. Надор и государственный судья в соответствии со своими должностями назывались «истинными баронами королевства Венгрия» (*veri regni Hungariae barones*), или «баронами по должности» (*barones ex officio*)<sup>49</sup>. Персоналии назначались из дворянства, Это обстоятельство часто служило дворянам, чтобы подняться из дворянского сословия в высшее. Первые двое главных судей имели заместителей – вице-надора и заместителя государственного судьи (*vice iudex curiae regiae*). Товарищами персонала по суду были не только прелаты и высшая светская знать, но и двое сведущих в юриспруденции протонотариев. Этот суд был более профессиональным, чем суд феодальных господ (надора, государственного судьи) и заседал (по крайней мере при Матяше) не время от времени, а постоянно. Позже по одному протонотарию появилось также в аппарате надора и государственного судьи. Персоналий и протонотарии считались специальными судьями: они представляли дела на суде и формулировали решение суда. Протонотарии начальствовали над нотариями; под началом последних трудились писцы<sup>50</sup>. Протонотарии являлись членами королевского совета.

Таким образом, с 1502 г. Иштван Вербеци, как королевский протонотарий, был не только вхож (как прежде) в королевский совет, но стал его постоянным членом и заседал рядом со своим патроном Михаем Соби, в определенном смысле уже сравнившись с ним. Благодаря своей деятельности на посту протонотария Вербеци приобрел широкую известность и авторитет среди дворянства. Он выезжал в провинцию для расследования дел, вел судебные процессы, формулировал решения. Королевский протонотарий присутствовал в многочисленных Государственных собраниях

ях первой четверти XVI в., выступал там с речами, которые производили сильное впечатление на слушателей благодаря его ораторскому таланту, юридическим знаниям и политическим убеждениям. Он не только участвовал в составлении законов сословных форумов, что полагалось ему по должности: многие из них составлялись под его непосредственным влиянием, а некоторые формулировал непосредственно будущий автор «Трипартитума». Не случайно, немало утвержденных (а еще больше не утвержденных) королем постановлений Государственных собраний перекликаются с положениями «Трипартитума».

О возросшем влиянии Вербеци свидетельствует тот факт, что, начиная с этого времени, он получает много земельных пожалований как от короля, так и от частных лиц, благодаря чему заметно увеличивает свое состояние, постепенно превращаясь из мелкопоместного дворянина в крупного земельного собственника<sup>51</sup>. Этими дарениями Иштвана Вербеци не только благодарили за службу протонотария (например, умело проведенные им судебные процессы и т.п.), но и пытались повлиять на него, как на политического деятеля. Так, в 1506 г., как раз во время заключения семейного договора между Уласло II и Максимилианом I Габсбургом<sup>52</sup> и последовавшего за этим обострения внутривосточной обстановки Иштвану пожаловал земли королевский канцлер, могущественный Дьёрдь Сатмари<sup>53</sup>. Семейный договор был заключен в нарушение решений Ракошского Государственного собрания 1505 г., на котором вооруженные дворяне заявили королю, что в случае его смерти без наследника мужского пола они не признают наследственные права Ягеллонов по женской линии<sup>54</sup>. Решения этого собрания были сформулированы Иштваном Вербеци, который к тому времени сблизился с могущественным магнатом Яношем Запольяи, одним из возможных «национальных» претендентов на венгерский трон. Собрание констатировало, что страна находится в ужасающем состоянии, ей грозит развал. Вину же за это дворянство возлагало на чужеземных королей, «которым не знакомы добродетели скифов; и вместо того, чтобы воевать, они пребывают в безделье, более того, часто грабят, угнетают и унижают народ более жестоко, чем враг»<sup>55</sup>. Роль Иштвана Вербеци как выразителя идей дворянства подчеркивает тот факт, что Государственное собрание 1505 г. проголосовало за сбор налога (2 форинта с «ворот») в пользу своего «спикера» – единственный случай в

венгерской истории этих веков<sup>56</sup>. Возвращаясь к земельным пожалованиям в пользу Иштвана Вербеци, следует также упомянуть, что в 1507 г. Михай Соби пожаловал «серому кардиналу» столько деревень с крестьянами, что этот дар перевесил дарение Дьёрдя Сатмари<sup>57</sup>.

Противостояние венгерского дворянства и Уласло в связи с названным договором продолжалось до 1508 г. За это время дворянство то вынуждало короля объявить войну Максимилиану, то отказывалось короновать родившегося в 1506 г. сына Уласло II Лайоша, то добивалось от Уласло новых уступок и т.д. Если в начале этого конфликта часть высшей венгерской знати и дворянство выступали единым фронтом, то к середине 1506 г. первых двор склонил к компромиссу. Дворянство же согласилось признать принца королем только на Государственном собрании, созванном в мае 1508 г., при условии, что Лайош будет соблюдать все права и привилегии дворянства, а Максимилиан не будет вмешиваться во внутренние дела королевства<sup>58</sup>. Известно, что избрание и коронование Лайоша поддержал Иштван Вербеци, и во многом благодаря его поддержке удалось преодолеть затянувшийся политический кризис в стране, ибо именно он уговорил дворянство согласиться на коронование на определенных условиях. Может быть, не случайно, именно в 1507 и 1508 гг. он получает от короля самые крупные земельные пожалования<sup>59</sup>. Своим поступком он, правда, разочаровал рассчитывавших на трон Запольяи и их сторонников. Но нельзя исключить того, что в данном случае он поступил так из принципиальных соображений, поставив интересы короны выше интересов своей «партии», поскольку с вступлением на трон сына Уласло II открывалась перспектива укрепления того самого «национального» королевства, за которое переживал и боролся Вербеци. Он и позже, в других ситуациях не раз поступал подобным образом. Так, в 1525 г. в споре между короной и тем же Яношем Запольяи за выморочное имущество богатейшего магната Уйлаки Вербеци – в то время уже надор – вынес решение о передаче этих владений в казну<sup>60</sup>.

Одновременно со служебной и политической деятельностью Иштван Вербеци работал над кодификацией венгерского права. Потребность в этом ощущалась уже давно. Но только Государственное собрание 1498 г. постановило, что необходимо записать те судебные обычаи, на основании которых протонотарии вершат суд. Работа над собиранием

обычаев была поручена протонотарию королевской курии Адаму Коллару<sup>61</sup>. Но он с заданием не справился, ибо на Государственном собрании 1500 г. задача сформулировать и записать обычаи и законы страны возлагалась уже на судебных заседателей королевской курии, а именно, на тех из них, которые выбираются из числа правоведов, «своими знаниями превосходящими всех других»<sup>62</sup>. Собрания 1504<sup>63</sup> и 1507 гг.<sup>64</sup> настоятельно требовали завершения этой работы. Благодаря этим распоряжениям, в конце концов, на свет появился и был представлен ноябрьскому Государственному собранию 1514 г. «Трипартитум», как результат кодификаторской деятельности королевского протонотария Иштвана Вербеци.

Безусловно, роль «Трипартитума» в истории венгерского права переоценить невозможно. Но для историка это произведение значительно более интересно и показательно как памятник идеологии венгерского дворянства. Особая комиссия, составленная на Государственном собрании из дворян специально для изучения «Трипартитума» (в состав которой, между прочим, вошел и Михай Соби), пришла к выводу о том, что законы и обычаи в труде Вербеци описаны «в правильном порядке» (*recto ordine*) и «должным образом» (*debito modo*), и рекомендовала их королю одобрить<sup>65</sup>. То есть, дворянству свод законов и обычаев понравился. И не случайно. На его страницах получили выражение и те положения, которых дворяне уже смогли добиться, и те их чаяния, которые так и остались мечтой. Не вина комиссии и Вербеци, что «Трипартитум», как уже упоминалось, не был утвержден Уласло II.

Изучая венгерские обычаи и законы, создавая из разрозненного материала некое правовое единство, королевский служащий и общественный деятель Иштван Вербеци прежде всего исходил из интересов дворянства. Его задача заключалась в том, чтобы обосновать и сформулировать права и привилегии дворянства, уравнивая его с одной стороны с высшей знатью, а с другой – отделив прочной стеной от нижестоящих сословий: бюргерства и крестьянства. Статьи в труде известного юриста, касающиеся крестьян, полностью отражают его отношение к этому сословию и соответствуют наметившимся в то время тенденциям социально-экономического развития. Крестьянство сводилось до положения крепостных, навечно прикреплялось к земле и лишалось каких бы то ни было прав на землю, имущество; пре-

дельно ограничивалось его правоспособность. В прикреплении крестьян к земле и резком ограничении их прав в первую очередь было заинтересовано многочисленное дворянство Венгерского королевства, по-своему приспособившееся к условиям меняющейся рыночной конъюнктуры в Европе. «Крестьянские» статьи «Трипартитума» слово в слово повторяли статьи репрессивного закона, принятого против крестьян после Крестьянской войны 1514 г. под предводительством Дьёрдя Дожи, в подавлении которой Вербеци принял личное и очень активное участие<sup>66</sup>. Перед лицом бюргерства дворянство также защищалось установлением особого суда для дворянства в городах, всевозможными преимуществами в хозяйственной деятельности и торговле, сословными привилегиями.

Но главное состояло в том, чтобы определить статус и права дворянства перед лицом королевской власти и высшей знати. Отправной точкой для всех правовых построений Вербеци является утверждение принципа «*una et eadem libertas*» («единая и одинаковая свобода»). «В Венгрии все прелаты, церковные начальники, господа бароны и остальные магнаты, а также дворяне и высокородные люди (*proceres*) с точки зрения их благородства и мирского имущества пользуются единой и одинаковой привилегией свободы, исключительности и освобождения от податей. И нет большей свободы для какого-нибудь господина и меньшей для какого-нибудь дворянина»<sup>67</sup>. Для обоснования этого тезиса Вербеци обращается к вопросу о происхождении венгерского дворянства, пользуясь сведениями из истории венгров, изложенной Яношем Туроци в духе отражавшей воззрения венгерского дворянства XV в. скифо-гуннской концепции. Пришедшие из Скифии в Паннонию (нынешнюю Венгрию) предки венгров – гунны – в соответствии со своими обычаями установили порядок, согласно которому каждый воин по решению общины (*communitas*), по призыву выборных капитанов должен был явиться с оружием в руках в ополчение. Те из древних венгров, кто не соблюдал этот обычай, были превращены в слуг (т.е. крестьян). Те же, кто носил оружие и воевал, стали господами (т.е. дворянами)<sup>68</sup>. Тем самым Вербеци не только «отрезал» «простолюдинов» от «благородных», но и подчеркивал изначальное равенство всех благородных. Таким образом, цель данного исторического экскурса Вербеци заключалась в том, чтобы представить происхо-

ждение дворянства в таком свете, чтобы стала очевидной справедливость тезиса «*una eademque libertas*».

Ту же цель преследует Вербеци, обосновывая на историческом материале право выбора короля дворянством. Точно так же, как «община» еще до первого короля, св. Иштвана, выбирала из своей среды капитанов и ректоров, венгры «добровольно избрали своим королем и короновали» Иштвана<sup>69</sup>. Вследствие этого и вместе с этим община так же добровольно и с общего согласия передала королю право аноблирования и право пожалования земельным владением, «украшающего дворян и отделяющего их от недворян». В этом пассаже автор «Трипартитума» снова подчеркивает изначальное единство происхождения и равенство дворянства. Он сам формулирует данную мысль: «С этого времени от него исходит всякое аноблирование, и две названные вещи, а именно делегирование и взаимная связь настолько переплелись, что неотделимы друг от друга и немислимы друг без друга»<sup>70</sup>. То есть, все дворянство происходит от короля, но и королевская власть – от всего дворянства.

Равенство всего дворянства Иштван Вербеци подкреплял через теорию "Святой короны", которая в средневековой Венгрии была одной из основных политических идей: именно на короне базировались государство и королевская власть. Согласно этой теории, корона являла собой символ «божественного происхождения» королевской власти, которая в свою очередь означала и государственную власть. С усилением в Венгрии крупных феодалов, стремившихся ослабить королевскую власть и контролировать ее, понятие «Святая корона» в конце XIV – начале XV в. отделяется от короля и становится атрибутом действительной государственной власти и ее носителей, т.е. верхушки феодальной элиты. В начале XV в., отстранив на время от власти короля Жигмонда, баронский совет правил страной от имени «Святой короны».

Основываясь на теории «Святой короны», автор «Трипартитума» утверждал, что каждый дворянин в одинаковой мере является членом «Святой короны», стало быть, каждый дворянин в одинаковой мере находится под властью с его согласия выбранного короля, и никого другого<sup>71</sup>. Дворяне, таким образом, защищались Иштваном Вербеци от посягательств на их права со стороны магнатов. Из теории «Святой короны» Вербеци выводит право дворян на участие в законодательстве при короле. Хотя государю когда-то вместе с

властью и было передано верховное право творить законы, он должен собирать народ и советоваться с ним<sup>72</sup>. Сформулированная теория выглядела многофункционально и звучала вполне актуально. Она обосновывала не только притязания дворян на равенство, но и выборность короля дворянами, и их участие в отправлении власти – права, которые столь рьяно они отстаивали на Государственных собраниях начала XVI в. перед лицом Ягеллонов и Габсбургов. Для дворян именно положение об их нерасторжимой связи с королем было особенно притягательным<sup>73</sup>.

Создание «Трипартитума», безусловно, еще больше подняло авторитет королевского протонотария среди дворян – и не только среди дворян. Последовавшая за смертью Уласло II (13 марта 1516 г.) опустошительная борьба, развернувшаяся между «придворной» партией и «партией» баронов вокруг малолетнего Лайоша II, до предела накалила политическую обстановку в стране, которая оказалась на грани гражданской войны. Ни одна из партий не могла победить и уничтожить противника. В этой борьбе Иштвану Вербеци удалось завоевать доверие юного короля, который, очевидно, не только в благодарность за поддержку в вопросе о короновании в 1506 г., уже в августе 1516 г. сделал Вербеци своим персоналием. Он стал первым в венгерской истории персоналием из мирян. В этой должности Иштван Вербеци превзошел своего патрона Михая Соби и поднялся на такую высоту в служебной иерархии, о которой простой дворянин не мог и помыслить. Как персоналий он уравнился с двумя другими главными судьями королевства: надором и государственным судьей. Более того, он возглавлял королевскую судебную палату, так как представлял в суде короля. На посту персоналия Вербеци мог применить свои широкие познания в юриспруденции и опыт работы в системе судопроизводства. Пожалуй, на этой должности Иштван достиг вершины своей карьеры, хотя на этом его карьерный рост не закончился. Настоящий триумф ждал Вербеци впереди, когда в 1525 г. Государственное собрание избрало его надором королевства. Вербеци, наконец, стал бароном. Однако на этом посту были необходимы в первую очередь не юридические таланты и знания Вербеци, а дипломатический, политический и даже военный. Ведь надор был посредником между двором и сословиями, был командующим войсками королевства, поддерживал контакты с находившимися в стране дипломатами других стран и т.д. С этими задачами

Вербеци не справился; его короткий путь надора закончился бесславно. На Государственном собрании 1526 г. одержавшая в тот момент победу «партия» баронов обвинила Вербеци в измене и добилась его осуждения. Для этого она смогла заполучить голоса дворянства, которое на предыдущем собрании обеспечило триумф Вербеци. Он лишился всего: должности, имущества, влияния. Фактически он отправился в ссылку.

Этот, чрезвычайно активный период в жизни Иштвана Вербеци, достоин специального исследования. Для нас он важен в связи со становлением самосознания дворянства. Постепенно Иштван Вербеци занял место стареющего Михая Соби, став вождем венгерского дворянства. Теперь Вербеци активно действовал на переднем плане, а глава дворянской «партии» Янош Запольяи оставался как бы в тени. От этого времени в архиве Вербеци сохранилось большое количество всевозможных воззваний, меморандумов, проектов законов, набросков публичных выступлений. И Вербеци, и идущее за ним дворянство, в последнее перед Мохачем десятилетие осмелели, как никогда раньше. Дворяне предъявляли все больше притязаний на участие во власти. Они съезжались на частые Государственные собрания не только по призыву короля, но и самостоятельно, вопреки его воле. Решения таких собраний Лайош не признавал. Но даже созванные королем сословные съезды не раз распускались, поскольку принимали законы, не отвечавшие интересам верховной власти. Дворяне добились того, чтобы их представители контролировали казну. Они требовали смещения неугодных им сановников. Король то шел на уступки, то брал обратно свои обещания, чем еще больше раздражал дворян. Так, сильнейший скандал разразился в 1523 г., когда дворяне потребовали отставки надора Иштвана Батори, против которого они выдвинули тяжелые обвинения. Король был вынужден уступить, но выборов нового надора не назначил. Возмущенная этим, возглавляемая Вербеци и Запольяи «партия» на Государственном собрании 1524 г. обрушилась с обвинениями на короля в том, что он не предпринимает никаких шагов для того, чтобы спасти родину от надвигающейся турецкой угрозы. Они заявили, что если не достигнут согласия с королем, будут действовать самостоятельно<sup>74</sup>. В ответ на это Лайош II пошел на обострение ситуации: он вернул на должность надора Иштвана Батори, а дворянских представителей исключил из королевского совета. Тогда

Иштван Вербеци, несмотря на запрет короля, созвал новое Государственное собрание, куда поголовно во всеоружии явились дворяне. Он выступил с большой речью о бедственном положении страны, назвав ответственным за это двор и баронов. Именно на этом Государственном собрании он был выбран надором<sup>75</sup>. Были заменены и другие высшие сановники королевства: канцлер, казначей, государственный судья<sup>76</sup>.

В соответствии со своими решениями дворянство осмелилось вести самостоятельную внешнюю политику. В Германию, Венецию, Рим посылаются посольства с просьбой помочь против турок. Во главе этих посольств стоял Иштван Вербеци. Его внешнеполитические миссии закончились неудачно, частью из-за его политической недалекости (он добивался поддержки кандидатуры Лайоша на императорских выборах 1519 г.), частью из-за невыгодной внешнеполитической конъюнктуры.

В борьбе за венгерскую корону между Фердинандом I Габсбургом и Яношем Запольяи после Мохачской катастрофы 1526 г. Вербеци занял сторону последнего. Запольяи, короновавшись, назначил Вербеци своим канцлером. Вербеци пережил своего господина, а также вторую катастрофу Венгрии: занятие Буды турками в 1541 г. Турецкий султан Сулейман, знавший Вербеци по дипломатической миссии в Стамбуле, назначил его верховным судьей венгров на завоеванных территориях. Через год он при невыясненных обстоятельствах умер.

Итак, в деятельности Иштвана Вербеци, как в зеркале, отразилось складывание сословного самосознания и оформление идеологии венгерского дворянства. Юрист, автор «Трипартитума» помог дворянству осознать и определить свое место в общественной и политической жизни, озвучить свои требования, получить доступ к власти и участвовать в управлении государством. Что же из этого в конечном счете получилось? И получило ли дворянство то, чего добивалось? На этот вопрос нет однозначного ответа, но, тем не менее, он скорее отрицателен. Дворянство не смогло осуществить свой главный лозунг: *una et eadem libertas*. Ведь даже поголовное присутствие дворян на Государственных собраниях довольно скоро изжило себя, так как было слишком обременительно для основной массы. Хотя дворяне и мечтали о равенстве с высшей знатью и независимости от нее, это не представлялось реальным ни до Вербеци, ни при нем, ни

после него. Сеньориально-вассальные связи не только сохранялись, во время турецких войн они даже переживали последний ренессанс. Сам Вербеци своим восхождением был не в малой степени обязан тем, у кого на службе он состоял (Соби, Запольяи и др.). Политические группировки знати манипулировали дворянской массой в своих интересах. Политическая программа самого дворянства также основывалась на его узко сословных интересах, была невнятна. Идея «национального» королевства в том виде, в каком ее формулировали дворяне, только ослабляла центральную власть, не учитывала конкретной международной обстановки и способствовала ожесточению внутривассальной борьбы. В социальном плане дворянское самосознание также сильно отдавало прошлым. Отношение дворян к низшим сословиям, сформулированное Вербеци в «Трипартитуме» и законах Государственных собраний начала XVI в., подавляло крестьянство и бюргерство, ограничивало их хозяйственные возможности и принижало юридически, в первую очередь крестьян до положения крепостных. Сам Вербеци в этом вопросе занял откровенно реакционную позицию; благодаря его формулировкам дворяне осознали себя полными господами прикрепленного к земле крестьянства, несмотря на то, что антикрестьянский закон 1514 г. не был утвержден. Тем не менее, положительное содержание в поведении венгерского дворянства той эпохи все же имелось. Стремясь продвигаться вверх по общественной лестнице, улучшить свое материальное положение, многие дворяне связывали свою жизнь со службой королю и государству. В первую очередь из их числа стало формироваться чиновная бюрократия. В этом смысле Иштван Вербеци представляет собой очень яркий пример, пусть и не самый типичный.

Последний пост Вербеци, его смерть в чем-то символически. Поднявшись вместе с дворянством – и благодаря дворянству – на такую высоту политической и служебной карьеры, о какой трудно было помыслить провинциальному мелкопоместному дворянину, он не смог удержаться на Олимпе – и рухнул с высоты. Случилось это не только по причине турецкого завоевания Венгрии. Идеология, выросшая на сформировавшемся в ту же эпоху самосознании венгерского дворянства, оказалась в тупике.

---

<sup>1</sup> Статья подготовлена при поддержке научных фондов Domus Hungarica (Венгрия) и РФНФ.

<sup>2</sup> Kubinyi A. A Mátyás-kori állam szervezet // Hunyadi Mátyás. Emlékkönyv Mátyás király halálának 500.évfordulójára / Szerk.Rázsó Gy., V. Molnár L. Bp., 1990. 79.l

<sup>3</sup> Дворянство поголовно и в полном вооружении появлялось по призыву короля также на Государственных собраниях 1462, 1463, 1471 гг., т.е., еще до официальной коронации, каковой признавалась коронавание короной Иштвана Святого (Ibidem).

<sup>4</sup> Гусарова Т.П. Судебный аппарат и законотворчество в дворянских комитетах Венгерского королевства в XVI-XVII вв. // Historia animata. Сборник статей. Ч.2. М., 2004. С.132-135.

<sup>5</sup> Kulcsár P. A Jagelló-kor ( Magyar Historia). Budapest, 1981. 66-78.l.

<sup>6</sup> В середине XV в. в Венгерском королевстве насчитывалось 18 тыс. семей однодворных и 5 тыс. владетельных дворян. (E. Kovács P. Matthias Corvinus. Budapest, 1990.74.l.).

<sup>7</sup> Полное латинское название этого труда, помещенное в ставшем классическим многотомном издании венгерских законов, осуществленном Ш. Колошвари и К. Овари, звучит так: «Tripartitum opus juris consuetudinarii inclyti Regni Hungariae per magistrum Stephanum de Werbewcz personalis praesentiae regiae majestatis locum tenentem accuratissime editum» // Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár. Werbőczy István Hármaskönyve / Az eredetinek 1517-ki első kiadás után fordították, bevezetéssel és utalásokkal elláták Dr. Kolozvári Sándor és Dr. Óvari Kelemen. Magyarázójegyzetekkel kíséri Dr. Márkus Dezső. Budapest. 1897 (далее – Werbőczy Hármaskönyve).

<sup>8</sup> «...omnes domini praelati, et ecclesiarum rectores, ac barones, et caeteri magnates, atque nobiles, et proceres regni hujus Hungariae, ratione nobilitatis, et honorum temporalium, una eademque libertatis, exemptionis, et immunitatis praerogativa gaudent...» (Werbőczy Hármaskönyve . Partis I. Tit.2. § 1. P.54).

<sup>9</sup> Кодекс был опубликован в Вене в 1517 г. и оказался одной из наиболее часто издававшихся книг в Венгрии. До 1990 г. увидели свет 47 его изданий на латинском языке, а также в переводах на венгерский, хорватский и немецкий языки (Werbőczy István, Tripartitum. A dicsőséges magyar királyság szokásjogának hármaskönyve, Bp., 1990. XXVI-XXXII.l.).

<sup>10</sup> Bak J. M. Königtum und Stände in Ungarn im 14.-16. Jahrhundert, (Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa, Bd.VI.) Wiesbaden 1973. S. 74-75).

<sup>11</sup> Fraknoi V. Werbőczy István életrajza. (Magyar történeti életrajzok. 1899. XV.évf. 1.füz.). Budapest,1899. 10.l.

<sup>12</sup> Kubinyi A. Werbőczy Mohács (1526) előtti politikai pályafutása // Tanulmányok Werbőczy Istvánról. Studien über István Werbőczy / Hrs.g.von prof. G.Hamza usw. (MF könyvek 21). Professzorok Háza, 2001. S.66.

<sup>13</sup> Сигизмунд Люксембург, венгерский король (1387-1437), германский король (с 1411 г.), император Священной Римской империи (с 1433 г.).

<sup>14</sup> Werbőczy Hármaskönyve. P. XШ.

<sup>15</sup> Голенищев-Кутузов И.Н. Итальянское Возрождение и славянские литературы XV – XVI веков. М., 1963. С.128.

<sup>16</sup> Bonis Gy. A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon. Budapest, 1971.

<sup>17</sup> К сожалению, Академия просуществовала недолго: до смерти Матяша. В стране еще не сложилась прочная основа для создания университетского образования. Первый постоянный университет возник в Венгерском королевстве только в 1635 г.

<sup>18</sup> Bak J. M. Op.cit. S. 67.

<sup>19</sup> Fraknói V. Werbőczy István életrajza. 7-8.l.

<sup>20</sup> Album studiosorum universitatis Cracoviensis, T.II. Cracoviae, 1892. P.16.

<sup>21</sup> Kubinyi A. Werbőczy... S.66.

<sup>22</sup> Янош Вербеци занимал должность вице-воеводы Трансильвании, тогда как воеводой Трансильвании и одновременно судьей королевской курии был Иштван Батори (Kubinyi A. Werbőczy... S.66).

<sup>23</sup> Gunst P. A magyar történetírás története. Debrecen, 2000. 79-81.l.

<sup>24</sup> В послесловии к первому венскому изданию «Трипартитума» Вербеци поместил маленькое стихотворение своего друга, итальянского гуманиста, секретаря Лайоша II Джеромо Бальби, в котором поэт восхваляет заслуги Вербеци в кодификации венгерских законов и в связи с этим уподобляет его Солону и Ликургу (Fraknói V. Werbőczy István életrajza. 127.l.).

<sup>25</sup> Если в предисловии к «Трипартитуму» Вербеци, обращаясь к королю, объясняет причины и условия написания им своего труда, то в послесловии он, в первую очередь, объясняет, по какой причине ему пришлось в обход двора опубликовать его за границей. На последних страницах Вербеци обращается не столько к обывателю или даже практикующим юристам, сколько к знатокам права, которые могли бы своими замечаниями и советами улучшить текст. (Werbőczy Hármaskönyve. P.434 - 437).

<sup>26</sup> «Хотя представляется утомительным, очень трудным и чуть ли не превосходящим человеческие силы в определенном порядке и в соответствии с определенными правилами составить, записать и объяснить национальные и местные права благородной Венгрии, поскольку до сих пор мы не встречались с трудом подобного рода, но, уступая пожеланиям Вашего Величества..., я осмелился взвалить на свои плечи тяжесть такого труда...» (Werbőczy Hármaskönyve. Praefacio auctoris. P. 3-7).

<sup>27</sup> Szalay L. Werbőczy és Verancsics Antal. / Szalay László. Válogatott történeti tanulmányok / Soós I. Bp. Osiris Kiadó. 2000. 55.l.

<sup>28</sup> Bonis Gy. Középkori jogunk elemei. Római jog, kánonjog, szokásjog. Bp., 1972. 263.l.

<sup>29</sup> «Decem divinatorum praeceptorum libellus, adjunctus decem Aegyptiorum plagis in eos, qui eadem praecepta servare neglexerint». Viennae, 1524 (Bibliotheca Hungarica Antiqua XXI. Bp., 1988).

<sup>30</sup> Fraknói V. Werbőczy István életrajza. 173.l.

<sup>31</sup> Трактат Амброзио Каттарини «В защиту христианской веры» был опубликован в 1520 г. (Ibid. 162.l.).

<sup>32</sup> Kubinyi A. Werbőczy... S.69.

<sup>33</sup> Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár 1000-1526. évi törvénycikkek. Bp., 1899. P. 606-609. (Далее – CJH).

<sup>34</sup> «Proceres» – т.н. «господа», обладатели высших государственных должностей и самые богатые землевладельцы королевства, которых называли «barones», «magnifices». Численность этого слоя составляла около 40 семей. «Egregii» – низший слой «господ», сыновья баронов. (См.: Kubinyi A. A királyi tanács köznemesi ülnökei a Jagelló-korban // Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Mályusz Elemer emlékkönyv / Szerk. H.Balázs É., Fügedi E., Maksay F. Bp., 1984. 257-268.l.).

<sup>35</sup> Kulcsár P. Op.cit. 103.l.

<sup>36</sup> CJH, 1498/2. P.596-597.

<sup>37</sup> CJH, 1498/7. P. 598-599.

<sup>38</sup> CJH, 1498/1. P.594-597.

<sup>39</sup> Ibid., 1498/2- P.596-597.

<sup>40</sup> Дворяне и духовенство освобождались от уплаты таможенных пошлин в случае, если они приобретали товары для собственных нужд (Ibid., 1498/35, p.614-615).

<sup>41</sup> Ibid., 1498/30, p.610-611.

<sup>42</sup> Ibid., 1498/45. P.620-621.

<sup>43</sup> Mezey B. Der Verfasser eines ungarischen Rechtsbuches aus dem 16. Jahrhundert: István Werbőczy // Tanulmányok Werbőczy Istvánról. Studien über István Werbőczy / Hrsg.von prof. G. Hamza usw. (MF könyvek 21). Professzorok Háza, 2001. S.107.

<sup>44</sup> [Köblös J., Sütő Sz., Szende K.] Magyar békeszerződések 1000-1526. Pápa, 200. 250.l. Договор 1491 г., в свою очередь, в этом пункте в основных чертах повторял условия Винернейштадского договора 1463 г., заключенного между Фридрихом III Габсбургом и Матяшем I Корвином (Ibid. 196).

<sup>45</sup> Fraknói V. Werbőczy István életrajza. 65.l.

<sup>46</sup> Надор (палатин). В Средние века его должность – аналог должности пфальцграфа. Окончательно статус надора определился законом 1485 г. По сути он был наместником короля, посредником между королем и сословиями. Надор мог выполнять и судебные функции, будучи первым судьей после короля, а также возглавлял дворянского ополчение (Fallenbüchl Z. Magyarország főméltóságai 1526 – 1848. Mecenas. 1988. 21.l.). Он занимал первое место в ряду

т.н. бандериальных господ, т.е., высших феодалов, имеющих право приводить войска под собственными знаменами.

<sup>47</sup> Судья королевской курии (*judex curiae regiae*; венг.: *országbíró* – государственный судья); второе по рангу и значению должностное лицо. Изначально судья королевской курии выполнял судебные функции, но при необходимости замещал надора. Эта должность была пожизненной (*Ibid.* 22.1.). Ее носитель также принадлежал к числу бандериальных господ.

<sup>48</sup> Королевский персонал (personalis praesentiae regiae in iudicis locumtenens). Эту должность создал Матяш I, когда в 1464 г. проводил административную и судебную реформу. Уже с XV в. персонал представлял короля при отправлении правосудия. Этот суд уже в то время называли королевской судебной палатой (*királyi ítélőtábla, tabula regia iudiciaria*). В том же XV в. выработалась сфера его судебной деятельности: судопроизводство в отношении группы свободных королевских городов, т.н. городов персонала (к ним относились Эстергом, Секешфехервар, Левоча, Сегед). (*Magyar történelmi fogalomtár / Szerk.Bán Péter. 2 köt. Bp., Gondolat 1989. 172.1.*

<sup>49</sup> Engel P., Kristó Gy., Kubinyi A. *Magyarország története 1301 – 1526.* Bp., 1998. 307 – 309.1.

<sup>50</sup> См.: Hajnik I. *A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és vegyes-hazi királyok alatt.* Bp., 1899.

<sup>51</sup> В результате королевских пожалований его владения оказались разбросанными более чем в 10 комитатах (*Fraknói V. Op.cit. 111.1.*).

<sup>52</sup> Этот договор был заключен тайно 20 марта 1506 г. (*Magyarország történelmi kronológiája / Főszerk. Benda K. 1.köt. A kezdetektől 1526-ig. Harmadik kiadás. Bp., 1986. 329.1.*). По его условиям внук Максимилиана Фердинанд должен был взять в жены дочь Уласло II Анну; а в случае рождения у Уласло сына, последний со временем женится на внучке Максимилиана Марии ([*Köblös J., Sütő Sz., Szende K.] Magyar békeszerződések 1000-1526. 266-269.*).

<sup>53</sup> *Fraknói V. Werbőczy István életrajza. 112.1.*

<sup>54</sup> *Magyarország történelmi kronológiája 328.1.* В принципе дворяне повторяли решения уже упоминавшегося сословного съезда 1498 г.

<sup>55</sup> *Fraknói V. A magyar királyválasztások története (Historia incognita). Máriabesnyő-Gödöllő, 2005. 128.1.*

<sup>56</sup> Engel P., Kristó Gy., Kubinyi A. *Op.cit. 351.1.*

<sup>57</sup> *Fraknói V. Werbőczy István életrajza. 112.1.*

<sup>58</sup> *Magyarország történelmi kronológiája. 330.1.* Решения этого Государственного собрания, как и предыдущих (1505 и 1507 гг.) не были утверждены королём.

<sup>59</sup> Так, от Уласло II он получил в 1507 г. в комитатах Бихар и Бекеш соответственно 4 и 2 деревни), в 1508 г. в комитатах Пешт и Сольнок по одной деревне и кроме этого земельные комплексы (*Fraknói V. Werbőczy István életrajza. 112.1.*).

- <sup>60</sup> Werbőczy Hármaskönyve. Предисловие Ш.Колошвари и К.Овари к изданию. P.XШ.
- <sup>61</sup> CJH, 1498/6. P. 598-599.
- <sup>62</sup> Ibid., 1500/10. P. 646-647.
- <sup>63</sup> «Пусть его величество король распорядится, наконец, собрать в виде одного единственного декрета все декреты и решения, которые до сих пор повсюду разбросаны» (Ibid., 1504/31. P.688-689).
- <sup>64</sup> Ibid., 1507/20. P. 702-703.
- <sup>65</sup> Werbőczy Hármaskönyve. P. 13-19.I.
- <sup>66</sup> См.: Гусарова Т.П. Антикрестьянское законодательство 1514 г. в Венгрии // Средние века. Вып. 47. 1984.
- <sup>67</sup> Werbőczy Hármaskönyve. Partis I. Tit. 2. P. 54-55.
- <sup>68</sup> Ibid. P.56-57. Сравнение текстов соответствующих отрывков из трудов Яноша Турочи и Иштвана Вербеци провел В. Фракнои, обнаружив их несомненное совпадение (См.: Eckhart F. A szentkoronaszme története (Historia incognita). Máriabesnyó-Gödöllő, 2003.121-123.I.).
- <sup>69</sup> Ibid. P.58-59.
- <sup>70</sup> Ibidem.
- <sup>71</sup> Werbőczy Hármaskönyve. Partis I. Tit.9. P.66-67.I.
- <sup>72</sup> Werbőczy Hármaskönyve. Partis I. Tit. 3. P.57-59.
- <sup>73</sup> Чизмадиа А., Ковач К., Асталаш Л. История венгерского государства и права. М., 1986. С.78.
- <sup>74</sup> Werbőczy Hármaskönyve. Предисловие Ш.Колошвари и К.Овари к изданию. P.XX.
- <sup>75</sup> Среди историков есть, правда, и другое мнение: выборы Иштвана Вербеци надором в 1526 г. были подготовлены Лайошем II и его женой Марией Габсбург (Szakály F. Virágkor és hanyatlás 1440-1711. Budapest, 1990, 112.I.).
- <sup>76</sup> Engel P., Kristó Gy., Kubinyi A. Op.cit.388.I.

**Танги дю Шатель и успешный заговор чиновников  
(рыцарь на службе короне Франции).**

XV столетие было во Франции трагической эпохой. При этом оно как бы делится ровно пополам. В первой половине века Франция пережила редкое по накалу сочетание всевозможных кризисов, спровоцированных нестабильностью политической ситуации. Политический кризис, вызванный психической болезнью короля Карла VI и борьбой кланов за первенство у трона, вылился в итоге в первую в истории страны гражданскую войну, получившую название борьбы бургиньонов и арманьяков. На этом фоне в 1415 г. начинается новое английское вторжение на территорию Франции, знаменующее собой начало последнего и самого драматического периода Столетней войны. Впервые за всю историю Французского королевства страна в целом, каждая социальная группа, каждая корпорация и едва ли не каждый человек поставлены были в то время в ситуацию выбора политической (и, как следствие, национальной) идентичности. Вторая же половина века стала временем медленного выхода из кризиса, залечивания ран и победного шествия по тому пути, который был избран страной в первой половине века.

Для историков, интересующихся формами и обстоятельствами выбора идентичности, именно первая половина XV в. является приоритетной эпохой в истории Франции. Ключевыми событиями этой эпохи, во многом определившими дальнейшие судьбы страны, стали две даты. Первая – ночь с 29 на 30 мая 1418 г., когда в Париж, уже несколько лет находившийся под жесткой дланью арманьяков, вступили войска герцога Бургундского. В этот момент, когда победа бургиньонов казалась уже безоговорочной и окончательной, поскольку они одновременно заполучили в свои руки короля, а значит – легитимность, и тем самым обезглавили партию противников – арманьяков, она ускользает от них: наследник престола, дофин Карл вместе со спасшимися арманьяками бежит из Парижа. Так Франция впервые в истории оказывается в ситуации королевского раскола, схизмы, разделенная на две части – сторонников царствующего короля Карла VI и наследника престола, будущего короля Карла VII.

Вторая дата, органично связанная с первой, – это 10 сентября 1419 г., когда во время переговоров между дофином Карлом и герцогом Бургундским Жаном Бесстрашным

последний был убит в присутствии дофина его ближайшими советниками. В результате этого Франция делится уже на три части: на «французскую» (сторонников дофина Карла), на бургундскую (во главе с сыном убитого Филиппом Добрым) и на «английскую», поскольку Карлу VI, лишившему сына права занимать трон «наихристианнейшего» королевства и не имеющему иных наследников, был навязан договор в Труа в 1420 г., согласно которому регентом и наследником престола провозглашался Генрих V Ланкастер<sup>1</sup>.

Самое поразительное то, что оба этих ключевых события напрямую связаны с одним и тем же человеком. Это был некто Танги дю Шатель. Именно он в ночь с 29 на 30 мая, несмотря на царившую в городе панику, сумел добраться до дворца дофина и увести его из Парижа. И это он нанес Жану Бесстрашному первый и смертельный удар на переговорах 10 сентября на мосту в Монтеро. Можно сказать, что этот человек во многом определил судьбы Франции и потому он заслуживает того, чтобы приглядеться к нему повнимательнее, тем более, что в его выборе идентичности остается очень много загадочного. Для того, чтобы приблизиться к разгадке, стоит сначала обратиться к самим этим двум ключевым событиям и роли в них Танги дю Шателя.

Отъезд дофина Карла из занятого бургиньонами Парижа уже при жизни этого короля превращается в «королевский миф», в Божественный знак особого покровительства наследнику короны Франции. Один из ближайших членов «спасшейся команды арманьяков», выходец из семьи потомственных служителей короны Жан Жувеналь дез Юрсен использовал этот эпизод в качестве аргумента воздействия на Карла. Так, в 1435 г. в преддверии заключения договора о мире между Карлом и герцогом Бургундским, а также в речи, подготовленной им для заседания Штатов в Орлеане в 1440 г., он перечисляет эти знаки особой милости. И здесь наряду с коронацией в Реймсе, со снятием осады с Орлеана и переходом других городов под власть Карла неизменно присутствует его «чудесное спасение из Парижа»<sup>2</sup>. Но это версия явно *post factum*.

Составной частью этой ретроспективной версии являлся миф о том, что Карл сам добровольно и осознанно покинул Париж и своего отца, словно бы намереваясь до конца бороться с бургиньонами. Эта версия вслед за современниками повторяется и историками<sup>3</sup>. Но хотелось бы напомнить, что Карлу в этот момент было всего 15 лет, и хотя

дети в то время выросли рано, особенно царственные дети, но для составления такого грандиозного и во многом скандального плана, как раскол страны и создание параллельных органов власти<sup>4</sup>, требовался как минимум административный опыт. И главное, для всей этой затеи требовался веский мотив, а вот его-то как раз и не удается обнаружить.

Дело в том, что вступление войск герцога Бургундского в Париж не угрожало никоим образом положению и тем более жизни единственного наследника престола. А вот кому оно действительно угрожало, так это партии арманьяков, по сути обреченной на уничтожение. Все, кто не смог или не успел бежать из Парижа, были там арестованы и спустя несколько дней убиты, во главе с Бернаром Арманьяком. Но и участь бежавших, скорее всего, была бы иной, если бы они не «овладели» таким перспективным знаком легитимности, как наследник престола Карл. Надо только представить себе, что творилось в момент «чудесного спасения Карла» в Париже, чтобы оценить всю смелость предприятия.

В ночь с 29 на 30 мая, около часа-двух ночи (по другим версиям, в полночь или между 5 и 6 часами утра) «малый люд» Парижа по предворительному сговору с предводителями войск герцога Бургундского открыли им Сен-Жерменские ворота<sup>5</sup>. Город быстро стал наполняться воинами, к которым примкнули заранее предупрежденные и собравшиеся парижане. Все с криками «Да здравствует король! Да здравствует дофин! Да здравствует мир!» бросились врассыпную по городу. Часть людей, естественно, немедленно направилась в королевский дворец Сен-Поль, где были ласково встречены королем<sup>6</sup>. Задушевный разговор слышали немногие, и для придания своим действиям законности предводители бургиньонов усадили короля Карла верхом на лошадь и возили по улицам города, тем самым легитимизируя творящееся там. А творилась там расправа над арманьяками: были арестованы канцлер Франции Анри де Марль и многие высшие чиновники, члены Университета, лица духовного звания, простые парижане. Достаточно было одного возгласа «Вот здесь живет арманьяк», чтобы толпа ворвалась в очередной дом, схватила его хозяина и разграбила все имущество. В этой суматохе главному объекту ненависти – коннетаблю Бернару Арманьяку удалось на время спастись: предупрежденный, он переоделся в лохмотья нищего и укрылся в соседнем доме, где жил бедняк. Но вскоре его «вычислили» и также арестовали (по другой версии,

бедняк назавтра услышал указ об ответственности за укрытие коннетабля и сам сдал его). Участь коннетабля, как и других арестованных, была ужасна: все они через несколько дней были убиты в переполненных тюрьмах города. А самого коннетабля Арманьяка подвергли особо изощренной казни: поскольку он содержался в самом Дворце в Сите, где помещались верховные институты власти, его, еще живого, положили на мраморный стол – место символическое (одно из чудес Парижа!) и атрибут военного суда, – сначала вырезали из кожи знак бургиньонов, крест св. Андрея, а затем тело расчленили на куски<sup>7</sup>.

«И в эту ночь, и в эту смерть, и в эту смуту» королевский прево Парижа Танги дю Шатель совершает невероятное: вместо того, чтобы спастись свою жизнь, он бросается во дворец Сен-Поль и захватывает дофина Карла. Именно захватывает, по-другому не назовешь: он будит спящего Карла, поспешно набрасывает на него какую-то одежду и так, полуодетым, везет в Бастилию, в предместье Сент-Антуан, куда уже поспешила часть «арманьяков»<sup>8</sup>. Поступок, безусловно, очень смелый и рискованный, ведь счет шел на минуты, и сам прево мог быть схвачен в любой момент. Тем не менее он, рискуя жизнью, бросается во дворец Сен-Поль и «берет в свои руки» наследника трона<sup>9</sup>.

Здесь уместно задаться вопросом: было ли это самостоятельной акцией Танги дю Шателя, сохранившего удивительное хладнокровие и придумавшего нетривиальный ход, или заранее спланированной акцией арманьяков, порученной ему? Трудно что-либо утверждать при отсутствии прямых свидетельств, но можно предположить, что находившиеся у власти люди должны были просчитать все возможные ходы. Тем более, что непримиримость позиции правивших в Париже от лица короля чиновников – арманьяков достигла апогея накануне описываемого события и спровоцировала его.

Дело в том, что в условиях ведения войны с англичанами разделение Франции на враждующие партии бургиньонов и арманьяков мешало ее успешным действиям, и предпринимались отчаянные попытки к заключению мира в стране. Весной 1418 г. начались переговоры с герцогом Бургундским, которые длились два месяца и выразились в проекте соглашения. Дофин Карл, возглавивший к этому времени Королевский совет, тоже склонялся к миру, но высшие чиновники короны, привыкшие за время болезни короля прово-

дить собственную политику, не намерены были сдаваться. Канцлер королевства Анри де Марль осмелился заявить дофину, что даже если договор будет заключен, он не скрепит его королевской печатью<sup>10</sup>! В Париже быстро узнавали новости из коридоров власти, и арманьяки отныне воспринимались парижанами как противники мира в стране. Именно поэтому парижане открыли ворота города и при вступлении войск герцога Бургундского кричали «Да здравствует мир!»; они верили, что бургиньоны несут стране мир.

Для арманьяков это означало конец. Спустя годы Жан Жувеналь дез Юрсен напоминал Карлу VII, что захват Парижа бургиньонами в 1418 г. был направлен именно против чиновников, правивших от имени короля<sup>11</sup>. Об этом же прямо свидетельствуют и письма, распространенные герцогом Бургундским накануне вступления в Париж. Еще в 1417 г. на переговорах с посланцами короля Жан Бесстрашный заявлял, что «правители... есть главные зачинщики и проводники всех несправедливостей и нарушений мира и других зол и преступлений, ... и он взялся за оружие, дабы изгнать и отстранить этих правителей от управления и присутствия вблизи короля, и не остановится до тех пор, пока жизнь теплится в его теле и пока не осуществит своего доброго намерения, ибо они вовсе не те люди, которые должны иметь такую власть, она им не положена по рождению, знаниям, лояльности, опыту и иным добродетелям». Их нахождение у власти он называет позором и насмешкой, а саму власть – «жестокостью, тиранией и бесчеловечностью»<sup>12</sup>. Расправу над чиновниками-арманьяками в качестве главного последствия вступления войск герцога Бургундского в Париж отмечает в регистре Парламента и его гражданский секретарь Клеман де Фокамберг<sup>13</sup>.

Партия арманьяков в значительной степени состояла из клиентелы герцога Орлеанского, убитого по приказу Жана Бесстрашного 23 ноября 1407 г. Они не желали идти на компромисс и мириться с убийцей своего патрона. Ненавидимые парижанами, теряющие авторитет в стране, арманьяки должны были предусмотреть для себя все возможные варианты выживания. То, как молниеносно был захвачен дофин Карл, а затем увезен в свои земли, где быстро были созданы параллельные институты власти, свидетельствует о наличии продуманного плана, разработанного и блестяще осуществленного спасшимися из Парижа чиновниками.

Учитывая редкое хладнокровие исполнителя главного пункта этого плана – Танги дю Шателя – можно задаться вопросом, почему бы ему было не поручить захватить сразу и короля Франции, тем более, что он находился в том же дворце Сен-Поль? Возможно, это было бы чересчур смелым шагом, а может быть, они думали о дальнейшей перспективе, а ее мог обеспечить только наследник трона. Но как бы то ни было, с момента захвата дофина Карла, немедленно и явно по чьей-то подсказке провозгласившего себя регентом королевства, партия арманьяков меняет политическую идентичность: она превращается в партию законного наследника трона, а в перспективе – в защитника национальных интересов Французского королевства.

Можно констатировать, что арманьяки перехитрили вояк герцога Бургундского: пока те возили короля верхом на лошади по захваченному Парижу, окончательная победа ускользнула от них через Сент-Антуанские ворота. Поняв просчет, герцог Бургундский и его сторонники, получившие власть в Париже, всеми силами пытаются договориться с дофином и удерживающими его «советниками» и, прежде всего, заставить его вернуться в Париж. Многочисленные посольства к дофину Карлу преследуют цель покончить с королевской схизмой, и среди тех, к кому обращаются переговорщики, неизменно фигурирует Танги дю Шатель<sup>14</sup>.

По сути, переговоры на мосту в Монтеро 10 сентября 1419 г., ставшие причиной окончательного распада страны на три непримиримые части, вписываются в эту канву попыток примирения. Что же произошло во время переговоров? И кто виновен в том, что Жан Бесстрашный был убит?

Событие это столь масштабно и трагично по своим последствиям, что количество его версий не поддается исчислению<sup>15</sup>. И все же, можно вычлениить из них главные интересующие нас в данном случае составляющие. Во-первых, переговоры проходили в очень странном месте: на мосту через Сену близ Монтеро был наскоро сооружен шатер, внутри имевший перегородки, создававшие своего рода лабиринт. Внутрь вместе с обоими переговорщиками могли войти только по десять человек с каждой стороны. Если даже не расценивать это сооружение как западню, то нельзя не признать, что оно явно свидетельствует о взаимном недоверии сторон. Во-вторых, во время переговоров произошло нечто непредусмотренное, повлекшее убийство. Наконец, не подлежит сомнению тот факт, что именно Танги дю Шатель сыграл глав-

ную роль и, возможно, нанес Жану Бесстрашному первый смертельный удар, послуживший одновременно сигналом ко всей расправе.

Версия потерпевшей стороны, подкрепленная проведенным позднее расследованием, сводилась к заранее спланированному и преднамеренному убийству герцога Бургундского, задуманному и осуществленному его противниками – арманьяками, либо с одобрения, либо без ведома дофина Карла. В этой версии Жан Бесстрашный предстает невинной жертвой, до конца остававшимся лояльным к наследнику трона и искренним поборником прекращения схизмы. Несмотря на предупреждения своих сторонников, он доверился Танги дю Шателю и другим переговорщикам, а войдя в шатер, опустил на колено и принес все знаки почтения Карлу. Далее произошел разговор (версии его разнятся), а затем то ли по знаку дофина Карла (он то ли закрыл глаза, то ли поднес руку ко лбу), то ли по своей инициативе Танги дю Шатель нанес Жану Бесстрашному удар секирой (*hache*) по лицу. Вслед за этим на поверженного набросились и убили его, а также пытавшегося защитить его сира де Ноайля.

Правда, в версии Монстреле, хрониста бургиньонской ориентации, мелькает упоминание, что во время разговора с дофином Жан Бесстрашный взял за шпагу. Но он объясняет это не желанием напасть на Карла, а просто намерением поудобнее ее расположить. Ведь он опустил на одно колено, и при этом его шпага оказалась «слишком далеко от руки, и он захотел ее продвинуть больше вперед для удобства». Но прикосновение к оружию в присутствии Карла окружавшие его советники сочли непочтительным и опасным жестом. Однако, возглас их «Пора!» не оставляет сомнений у автора и читателя в заранее решенной участи герцога Бургундского. В версии Пьера де Фенена, той же политической ориентации, также признается, что герцог Бургундский взял за шпагу, но якобы уже после первого удара, с целью защититься.

Для облика нашего героя в этих версиях важно то, что это именно он вел все предварительные переговоры с Жаном Бесстрашным, который несмотря на уговоры своих людей не идти на встречу и предупреждения о готовящейся ловушке доверился слову и репутации Танги дю Шателя<sup>16</sup>. Тут не может возникнуть недоумения: с чего это Жан Бесстрашный так прокился доверием к человеку, буквально укравшему его победу в Париже за год до этого. К этой загадке мы еще вернемся.

Версия партии Карла, распространенная в виде писем по всему королевству, сводилась к непреднамеренному убийству, вызванному возникшим на повышенных тонах разговором между Карлом и герцогом Бургундским, в ходе которого свите Карла показалось, что противники хватаются за оружие с целью захватить наследника престола. В ней явно присутствует неопределенность: либо случайность, вызванная нервной атмосферой, либо предотвращение попытки захвата Карла.

В современной историографии, как и у современников событий, нет единого мнения. Историки склоняются как к версии случайности, так и к спланированному плану мести<sup>17</sup>. Причем – мести сторонников герцога Орлеанского за убийство их патрона. При этом практически больше не рассматривается версия о том, что виновником мог быть сам Жан Бесстрашный, поплатившийся за попытку захватить Карла<sup>18</sup>. И все же мне представляется, что эту версию не стоит сбрасывать со счетов, причем она, на мой взгляд, не исключает и плана мести.

Дело в том, что центральным пунктом всех предварительных переговоров с Карлом было требование вернуться в лоно семьи, в Париж, к королю. Только так можно было покончить со схизмой и противостоять англичанам. Но именно это и не устраивало окружение Карла, теряющего в этом случае власть. Однако, хотя обе стороны явно не доверяли друг другу (отсюда и лабиринт на мосту, и ограничение свиты с обеих сторон), убийство Жана Бесстрашного все же меньше отвечало интересам наследника престола, чем план его захвата - интересам бургиньонов. Возможно, бывшие члены арманьякской партии желали отомстить за убийство патрона и произошедшую в Париже в 1418 г. расправу над арманьяками<sup>19</sup>, но так же возможно, что догадавшись о плане захватить Карла, они воспользовались этим для убийства герцога Бургундского, подталкиваемые к этому жаждой мести.

Но самое загадочное здесь то, что осуществил этот план заговора именно Танги дю Шатель, который не был ни записным арманьяком, ни кадровым чиновником, потерявшим большую власть по вине герцога Бургундского, ни выходцем из потомственной династии служителей короны. Фактически, главный пункт двух детально разработанных чиновниками планов дважды привел в исполнение человек в этой кампании случайный.

Как же это произошло? Каков был путь Танги дю Шателя? И каковы были его мотивы?

В моем распоряжении нет свидетельств от первого лица, и смею предположить, что вряд ли они вообще существуют, учитывая обстоятельства жизни Танги дю Шателя, а посему реконструкцию придется делать по косвенным данным.

Итак, кто же такой был Танги дю Шатель? Внешняя канва его жизни выглядит так. Он родился около 1370 г. и происходил из старинной дворянской семьи из Бретани<sup>20</sup>. Бретонцы, как известно, не были в этот период преданными союзниками французской короны, и прадед нашего героя, Танги I дю Шатель (ум. в 1352 г.) успешно воевал против войск Карла Блуа в войне за бретонское наследство. Но уже отец Танги II – Эрве дю Шатель (ум. в 1397 г.) – служил в армии французского короля Карла V, в должности капитана в Бретани. У Эрве было три сына, младшим из которых и был наш герой – Танги II дю Шатель. Правда, в семье все еще не было единства позиций: старший сын – Гийом дю Шатель всю жизнь воевал с англичанами, в то время, как младший, по версии Ж. Фавье, был на службе короля Англии. Впрочем, такая ситуация нередко возникала в семьях, живших в конфликтных зонах.

Как бы то ни было, но ей был положен конец в 1404 г., когда Гийом дю Шатель в очередной военной экспедиции на побережье Англии, которую он сам же организовал и возглавил, погиб в Дартмуте как герой<sup>21</sup>. В этот момент его младший брат, Танги дю Шатель кардинально меняет политическую идентичность и решает мстить англичанам за смерть брата. Именно это «горячее желание» (иных версий нет) привело его в Париж, в окружение короля. Попастъ в эту привилегированную среду помогло Танги, несомненно, то обстоятельство, что его погибший брат являлся камерарием Карла VI. И здесь он оказывается в непривычной для себя среде и в эпицентре политических хитросплетений при дворе.

Служить французскому королю Карлу VI в 1404 г. означало быть сторонником его младшего брата Людовика Орлеанского, фактически правившего страной при больном короле. Так наш герой делает выбор политической идентичности, который определит всю его дальнейшую жизнь, и не только его. Ему удастся стать советником и камерарием герцога Орлеанского, но ненадолго: указ был подписан 18 авгу-

ста 1407 г., а через три месяца, 23 ноября 1407 г., его патрон будет убит людьми своего противника – герцога Бургундского Жана Бесстрашного<sup>22</sup>. Однако эта недолгая служба «орлеанской партии» сделала ему репутацию «человека герцога Орлеанского» и записного арманьяка (впрочем, арманьяками эта партия стала называться позже, по имени тестя нового герцога Орлеанского и главы партии графа Бернара Арманьяка). В том же 1407 г. Танги дю Шатель перешел на службу к влиятельнейшему дяде короля Карла VI – герцогу Людовику II Анжуйскому, королю Неаполя и Сицилии, пророрлеанской ориентации. На этой службе использовались исключительно навыки Танги как рыцаря и воина: по просьбе нового патрона он отправляется в Италию, где, в частности, в 1410 г. обеспечивает безопасный приезд папы Александра V в Рим<sup>23</sup>.

Но и эта служба продлилась недолго, и в 1411 г. Танги дю Шатель возвращается во Францию и переходит на службу к наследнику престола дофину Людовику, который в тот же год назначает его маршалом Гиени.

Этот выбор, сделанный нашим героем, представляется мне решающим для всей его дальнейшей судьбы. Как и в 1404 г., в начале карьеры, Танги дю Шатель идет служить тому, кто в данный момент является фактическим и легитимным главой государства. В 1411 г. при больном короле это был старший сын короля, наследник престола Людовик. С этого момента и до конца жизни Танги дю Шатель будет служить поочередно сменяющим друг друга всем трем сыновьям короля – Людовику (ум. В 1415г.), Жану (ум. В 1417 г.) и, наконец, Карлу Валуа.

А между тем политический кризис в Париже нарастает, борьба бургиньонов и арманьяков принимает характер открытой войны, спровоцировав в городе крупнейшее восстание так называемых кабошьенов в 1413 г. В этой ситуации дофин Людовик пытается навести порядок и приструнить бургундскую партию: с этой целью он назначает Танги дю Шателя королевским прево Парижа, заменив умеренного бургиньона Робера де ла Хьюза по прозвищу Одноглазый<sup>24</sup>.

В глазах парижан, в большинстве своем сторонников герцога Бургундского, это назначение выглядело как пощечина. Вот как поведал об этом автор «Дневника парижского горожанина»: «...герцог Гиени и другие пришли в Сен-Поль и сменили в ту же пятницу прево Парижа, который уехал в Пикардию по делам короля и звался Одноглазый де ла Хьюз, и

передали ее (должность – С.Ц.) одному из служителей покойного герцога Орлеанского, который был бретонец и прозывался Танги дю Шатель»<sup>25</sup>. В этой записи, внешне как будто бесстрашной, сквозит неприятие автором такого прево из-за его национальной и политической идентичности.

Вопрос заключался не в том, что назначенный прево не был парижанином или выходцем из Иль-де-Франса, он им и не мог быть. Законы французской короны со времен Филиппа IV Красивого строго запрещали назначать королевскими чиновниками на местах из числа выходцев из тех же мест. Более того, эти законы всячески препятствовали какому бы то ни было укоренению чиновника в данной области: они запрещали ему покупать там землю, связывать узами брака своих детей с местными жителями и даже помещать их там же в монастырь. А уж краткие сроки службы (не более 2-3 лет) на одном месте и периодические перемещения чиновников по стране полностью должны были исключить появление чувства местного патриотизма<sup>26</sup>.

Однако идентификация человека в качестве бретонца (бургундца, беррийца и т.п.) подразумевала, что этот человек являлся креатурой данного принца, был его служителем или входил в его клиентелу. В случае Танги дю Шателя это было не так. Он не был ставленником герцога Бретонского ни в начале карьеры, ни тем более потом, когда прочно был принят в круг арманьяков<sup>27</sup>. Более того, есть факты, свидетельствующие о прямом конфликте Танги дю Шателя, ставшего королевским прево Парижа, с герцогом Бретонским в 1415 г. Являясь сторонником герцога Бургундского, Жан Бретонский возмущался проводимой Танги дю Шателем политикой в городе<sup>28</sup>.

И все же бретонец для жителя парижского региона был синонимом чужака, почти врага, что вкупе с пусть даже недолгой службой Людовику Орлеанскому делало картину однозначно негативной. Пробыв всего неделю на должности, Танги дю Шатель успел настроить против себя парижан, выполняя приказ короля снять все цепи с улиц города и свезти их в Бастилию, а также нести дневной и ночной дозор вместо парижан. Парижане расстроились, видя, что им не доверяют и не считают с ними<sup>29</sup>. Такой прево был парижанам неугоден, и он не продержался на должности даже неделю: назначенный 4 августа 1413 г., он был смещен уже 9 августа<sup>30</sup>.

Новая попытка назначить его прево Парижа состоялась через год и вновь потерпела неудачу: он продержался

на должности всего два дня, с 23 по 25 октября 1414 г. На этот раз он должен был заменить Андре Маршана, бывшего прежде советником Парламента. Однако в этой истории для нас важен тот факт, что Андре Маршан был членом арманьякской партии, а поскольку Танги дю Шатель, назначаемый по воле дофина Людовика, арманьяком по сути не являлся, то, видимо, он призван был помирить враждующие партии.

Маршан был назначен прево 22 сентября 1413 г. путем выборов в Большом королевском совете<sup>31</sup>, однако уже через год его попытались сместить. Тогда он решил обратиться за помощью в Парламент, явно рассчитывая на корпоративную солидарность. Однако в арсенале средств у Парламента была только одна процедура – внести протест в регистр заседаний Совета, что и было сделано<sup>32</sup>. Несмотря на протест, Маршан был смещен, а на его место по воле дофина Людовика назначен Танги дю Шатель. Любопытно, что в интерпретации Парижского горожанина он по-прежнему предстает как чужак – бретонец, арманьяк и член этой «банды»<sup>33</sup>, хотя и не во всем согласный с ними, отчего служба его и не продолжилась больше двух дней.

Таким образом, он не был ярым арманьяком, и в желании мстить за брата, перейдя на службу короне (сначала к герцогу Орлеанскому, а потом к наследнику престола Людовику), он просто честно исполнял приказы. При этом он проявлял и черты благородства, присущего истинному рыцарю: так, он готов был отказаться в 1414 г. от должности прево Парижа, хотя таково было желание дофина<sup>34</sup>. Людовик Гиенский пытался в этот период всеми силами остановить войну, и ему нужны были преданные воины. Поэтому Танги дю Шатель, через два дня смещенный с должности прево Парижа, был назначен тут же, 24 октября 1414 г., правителем Ла-Рошели и сенешалем Сентонжа<sup>35</sup>. Когда же война вплотную приблизилась к Парижу, на должность прево Парижа 19 февраля 1415 г. вместо Андре Маршана был назначен окончательно Танги дю Шатель. Причем, редкий случай, он продолжал совмещать эту должность с прежними обеими службами, пока 1 февраля 1416 г. на должности правителя Ла-Рошели его не сменил брат Оливье дю Шатель. Наконец, в конце 1415 г. Танги дю Шатель стал также адмиралом Франции, сменив на этой должности КLINE де БРЕБАНА, человека из клиентелы герцога Орлеанского<sup>36</sup>.

В этот период гражданской войны и начавшейся английской агрессии все три должности требовали от чиновника

воинских качеств, и Танги дю Шатель подходил для этих служб благодаря своим доблестям рыцаря. И хотя он ассоциировался в глазах бургиньонов со всеми жестокостями и беззакониями правления арманьяков в этот период<sup>37</sup>, его деятельность сводилась исключительно к военным операциям. Он обороняет мост Сен-Клу от атаки войск герцога Бургундского, обеспечивает оборону Парижа во время осады бургиньонов, и с целью прорвать блокаду и обеспечить подвоз продуктов в город, где начался голод, выступает во главе большого войска. Он атакует и захватывает замок в Этампе, завоевывает Монлери и Шеврез, а также замок Маркусси, наконец, руководит осадой Санлиса по приказу коннетабля Арманьяка<sup>38</sup>.

В это же время он дважды вовремя раскрывает заговоры с целью передать Париж под власть герцога Бургундского – в 1416 и в 1417 г.<sup>39</sup>. Так он становится личным врагом Жана Бесстрашного, о чем тот прямо заявлял в уже цитированном письме от 1417 г. Хотя Танги дю Шатель четко выполнял приказы арманьяков, в частности, пытался арестовать и пленить Жана Бесстрашного, но точно так же он всячески способствовал, в противовес ярим арманьякам, заключению мира, участвуя в переговорах в Монтеро весной 1418 г. Однако, служа наследнику престола, Танги дю Шатель теперь, в период правления Бернара Арманьяка, прочно ассоциируется с «бандой арманьяков», и его имя окружает плотная завеса всевозможных сведений о планируемых и совершаемых «узким советом членов банды» жестокостях.

С третьей попытки Париж удалось таки сдать на милость Жана Бесстрашного, и в этот момент масштаб личности Танги дю Шателя впервые предстает во всей полноте. Почему именно ему была поручена (если признать наличие такого плана у арманьяков) главная миссия? Думается, не только потому, что он был в тот момент прево Парижа, и даже не просто потому, что в этом качестве он жил в здании Шатле, хотя все это, безусловно, учитывалось. Ведь войска герцога Бургундского вошли в Париж через Сен-Жерменские ворота, т.е. с левого берега, и пока они двигались по городу, у Танги, жившего на правом берегу, был шанс проскочить во дворец Сен-Поль и успеть увезти дофина. Решающими, на мой взгляд, оказались его рыцарские доблести – хладнокровие, смелость и долг чести. Пока другие арманьяки поспешно спасали свою жизнь, он спас и их будущность.

Последствием этого подвига явилось то, что Танги дю Шатель превратился в тень дофина Карла, в его телохранителя и, как следствие, в главного советника<sup>40</sup>. Правда, советы эти по большей части сводились к ведению войны с англичанами и бургиньонами, в какой-то он сам активно участвовал.

И не странно ли, что вести переговоры с герцогом Бургундским на всем долгом пути к мосту в Монтеро было поручено тому же Танги дю Шателю? И что еще больше должно удивлять, так это то доверие и знаки почтения, которые ему неизменно оказывал сам Жан Бесстрашный.

Несмотря на предостережения о готовящемся предательстве, Жан Бесстрашный идет на переговоры на мосту в Монтеро, доверившись почти исключительно лично Танги дю Шателю и никому иному<sup>41</sup>. Возможно, потому что это версии *post factum*, учитывающие его решающую роль в убийстве, но с самого начала подготовки этой роковой встречи сторонники дофина могли бы выбрать и другого переговорщика, если они предполагали наличие неприязни Жана Бесстрашного к Танги дю Шателю. Так что, скорее всего, выбор был верным: у Танги явно была репутация доблестного рыцаря и человека слова.

Был и еще один нюанс, «работающий» на эту версию. Согласно «Истории Карла VI» Жувенала, Жан Бесстрашный хотел всячески расположить к себе именно Танги и других «доблестных и умелых капитанов и воинов» и особенно «этих двух доблестных капитанов, сеньора де Барбазана и мессира Танги дю Шателя» из окружения Карла, поскольку нуждался в таких соратниках для отпора англичанам<sup>42</sup>.

Как же этот доблестный рыцарь, если был разработан план мести, и он о нем знал, согласился совершить подобное предательство? Причем, такое, которое лишило Карла прав на французский престол, поставило под угрозу его будущность и всех его сторонников. Есть большой простор для версий. Танги мог не знать о готовящемся заговоре и даже не принимать участие в самом убийстве, как это следует из ряда описаний. Он мог разгадать план герцога Бургундского завладеть Карлом и мгновенно, быстрее всех отреагировать, как воин, а не как дальновидный политик, и убить обманщика. Наконец, он мог быть посвящен в план заговорщиков, поручивших ему защитить во второй раз жизнь Карла и расправиться с его злейшим противником.

Это версии. А вот факты. Когда весть об убийстве облетела страну, повергнув ее в глубокую скорбь, а сын убитого, Филипп Добрый поклялся отомстить убийцам, Танги дю Шатель не побоялся действовать открыто. «Поскольку очень сильно обвиняли мессира Танги Дю Шателя, что он нанес удар, он оправдался перед герцогом Бургундским Филиппом, заявив, как честный рыцарь и должен поступить, что никогда этого не делал и не соглашался на это; и что если найдутся два дворянина, кто примут вызов, он готов защищаться, сразившись поочередно с обоими. И ни один человек не откликнулся»<sup>43</sup>.

Предложенный им поединок был по сути ордалией, Божьим судом, и тот факт, что никто из бургиньонов не принял вызов, о многом говорит. Но, знал или нет Танги о готовящейся мести, он был органичным союзником той «партии войны», сторонников простых и прямолинейных решений, которые превалировали на этот момент в окружении Карла Валуа<sup>44</sup>. И после 10 сентября 1419 г. именно они стали главными советниками при дофине, которого отныне приказано было от имени короля называть «Карл дурного совета»<sup>45</sup>. Однако полученная этой группой в награду за Монтеро власть радовала далеко не всех и в окружении Карла, особенно тех, кто ее потерял. И время работало на них: несмотря на активные боевые действия, на непреклонное следование жесткой линии войны с англичанами и их союзниками бургиньонами, эта партия начинает терять авторитет. Армия Карла терпит одно поражение за другим, в его окружении плодятся интриги и заговоры, и вскоре становится понятно, что время простых решений прошло. Нужны переговоры и компромиссы, и в этой ситуации нужны новые советники.

Печать предателя преследует Танги дю Шателя в этот период, и в обоих враждующих лагерях мнения о нем, как это ни странно, смыкаются<sup>46</sup>. И когда начинаются трудные поиски примирения с герцогом Бургундским и его сторонниками – графом Артуром де Ришмоном, герцогами Савойским и Бретонским, все они выдвигают одно неперемное условие: сместить и наказать всех участников убийства Жана Бесстрашного.

В этой ситуации участь Танги Дю Шателя была предопределена: его ждала опала. Однако и тут он один из всех проявил редкое благородство. В отличие от других отстраняемых советников, выказавших сопротивление, он мужественно принял отставку. Поскольку именно его послали на пере-

говоры с герцогом Бретонским, и он сам привез это жесткое условие (еще один аргумент в пользу того, что он не был «бретонцем»), Танги сказал: «что хотя он не соглашался ни на смерть герцога Бургундского, ни на пленение герцога Бретонского, однако поскольку в момент совершения этих дел он был подле короля, он согласен удалиться»<sup>47</sup>. Это случилось в 1425 г.

Танги дю Шатель уехал в Лангедок, поскольку все еще оставался сенешалем Бокера (с 1415 г.). Наконец, в 1435 г. был заключен Аррасский мир между Карлом VII и Филиппом Добрым, который знаменовал собой окончание гражданской войны и гарантировал победу Франции в Столетней войне. И первые пункты этого фундаментального договора прямо касались нашего героя: король обязан был просить прощения у герцога Бургундского и объявить, что он не повинен в убийстве; также он обязывался «никогда не помиловать и не простить злодеев, кто совершил это ненавистное злодеяние», но арестовать и наказать уголовно и изгнать из королевства; запретить своим подданным под угрозой отсечения головы и конфискации имущества помогать этим людям; по первому требованию герцога назвать их и совершить над ними суд» и т.д. и т.п.<sup>48</sup>. Это был очень тяжелый для Карла договор, но цель того стоила, и он вынужден был принять эти условия. Так временная опала Танги дю Шателя превратилась в полноценную отставку после 1435 г. Правда, главные условия Аррасского мира Карл так и не выполнил: он хоть и не виделся с Танги, но не арестовал и не судил его, более того, тот сохранил титул советника короля и прево Парижа до конца жизни. Карл даже назначил Танги лейтенантом правителя Лангедока (1440-1453 г.) и поручил ему дипломатическую миссию в Рим (1446-1448 г.). Танги дю Шатель умер вдали от двора, в Бокере то ли в 1449, то ли в 1458 г.

Но его служба короне Франции оказалась удачно выбранной идентичностью и была достойно вознаграждена. Его имя становится частью «королевского мифа», и победившие в итоге сторонники Карла сумели закрепить его подвиг в исторической памяти французов. Семья же его получила вполне осязаемые блага. Своих детей у Танги не было, но его братья, племянники и внуки прочно закрепились на королевской службе. Брат Оливье дю Шатель до конца жизни (1453 г.) был сенешалем Сентонжа и правителем Ла-Рошели, капитаном Динана и Бреста. Сын Оливье занимал высокую должность при дворе – королевского хлебодара, а

когда он был убит при осаде Понтуаза (1441 г.), то по особой милости Карла VII был погребен в королевской усыпальнице в Сен-Дени – редчайшая привилегия! Наконец, еще один сын Оливье – Танги III дю Шатель унаследовал от дяди должность смотрителя и шателена Бокера и Эг-Морта. Он был приближенным короля Карла VII в должности обершталмейстера, и когда тот умер и был покинут большинством своих служителей, кинувшихся к новому королю в поисках милостей и служб, похоронил короля за свой счет, и похороны были роскошные<sup>49</sup>. Он удалился в Бретань, но вскоре был назначен правителем Лионнэ (1463-68 гг.), смотрителем Бокера (1468 г.), правителем Сердани и Руссильона (1468-75 г.) и генеральным лейтенантом короля в Каталонии (1469-73 гг.), наконец, шталмейстером короля Людовика XI. Воюя в войске короля, он был смертельно ранен при осаде Бушена в 1477 г.<sup>50</sup>.

В его судьбе стоит обратить внимание на очень знаменательный аспект: несмотря на стремление Людовика XI во всем отличаться от своего отца (так что новый король поначалу сместил всех ближайших советников Карла), карьера Танги III дю Шателя в итоге оказалась вполне блестящей. Людовик явно оценил его лояльность и преданность короне. И когда в 1469 г. король учредил Орден св. Михаила, где не должно было быть больше 36 рыцарей одновременно, в числе первых пятнадцати принятых человек был и Танги III дю Шатель.

Путь во власть и судьба Танги дю Шателя и его потомков служит блестящим примером того, как дворяне во Франции приходили на службу короне, как они встраивались во властные структуры, принося свои рыцарские ценности, которые органично и плодотворно вплетались в новую этику служения государству.

---

<sup>1</sup> См. подробнее: Цатурова С.К. *Офицеры власти. Парижский Парламент в первой трети XV века.* М., 2002. С. 91-188.

<sup>2</sup> Juvenal des Ursins J. *Ecrits politiques.* Ed. P. Lewis. 3 vols. P., 1978-1992. Vol. I. P. 197 («Audite celi»), 321 («Loquar in tribulatione»).

<sup>3</sup> Как пример см.: Gilles Le Bouvier dit le Héraut Berry. *Les Chroniques du roi Charles VII.* P., 1979. P. 86-87; *Chronique de la Pucelle ou Chronique de Cousinot, suivie de la Chronique normande de Pierre Cochon relatives aux règnes de Charles VI et de Charles VII.* P., 1859. P. 169; Перрра Э. *Столетняя война.* СПб., 2002. С. 303-304.

<sup>4</sup> Уже в 1418 г. спасшиеся из Парижа чиновники создали в Бурже (столице владений Карла) Совет, Канцелярию и Палату счетов, а в Пуатье – Парламент.

<sup>5</sup> См. описание события в разных версиях: Journal d'un bourgeois de Paris de 1405 a 1449. Ed. C. Beaune. P., 1990. P. 108-110 ; Gilles Le Bouvier dit le Heraut de Berry. P. 86-87 ; Religieux de Saint-Denis. Chronique contenant le regne de Charles VI de 1380 a 1422. Ed. L.F.Bellaguet. 6 vols. P., 1839-1855. Vol. 6. P. 233-237 ; Monstrelet A. De. Chroniques. Ed. L. Douet-d'Arcq. 6 vols. P., 1857-1862. Vol. 3. P. 259-263 ; Journal de Clement de Fauquembergue, greffier de Parlement de Paris, 1417-1435. 3 vols. Vol. I. P. 126-128 ; Juvénal des Ursins J. Histoire de Charles VI, roi de France (1380-1422) // Michaud J.-Fr., Poujoulat J.J. Nouvelle collection des mémoires relatives à l'histoire de France depuis le XIII jusqu'à la fin du XVIII s. T. 2. P., 1881. P. 539-540.

<sup>6</sup> По версии монаха Сен-Дени, король принял ворвавшихся во дворец доброжелательно, справился о здоровье Жана Бесстрашного и даже спросил, почему он так долго не приходил к нему. Согласно Монстрелле, «взломав ворота и двери дворца, воины сумели поговорить с королем, который был согласен разрешить им все, о чем они просили». Обе версии говорят о неадекватности монарха и грубом использовании этого бургиньонами (Monstrelet A. De. Ibid. P. 262; Religieux de Sain-Denis. Ibid. P. 233).

<sup>7</sup> Эта казнь подробно описана у Тома Базена. См. Bazin Th. Histoire de Charles VII. Ed. Ch. Samaran. 2 vols. P., 1933-1944. Vol. I. P. 58.

<sup>8</sup> При всей ангажированности разнообразных описаний этого события волевой акт Танги дю Шателя не подлежит сомнению. В самом лаконичном изложении про-бургиньонски настроенного Парижского Горожанина это выглядит так: «Et quand le prévôt de Paris, nommé Tanguy du Châtel, vit Fortune ainsi contre lui...vint à Saint-Pol et prit le dauphin aîné fils du roi et s'enfuit tout droit à Melun» (Journal d'un bourgeois de Paris. P. 109-110). У монаха Сен-Дени момент поспешного захвата подчеркивает беспорядок в одежде Карла: «Messire Tanneguy Duchâtel, effrayé par les clameurs horribles du peuple qui courait de tous côtés, en répétant avec une sorte de frénésie l'appel aux armes, se rendit en toute hâte à la chambre de monseigneur le dauphin, le prit demi-nu entre ses bras et le transporta à la bastille Sainte-Antoine, pour qu'il y fût en sureté» (Chronique de Saint-Denis. Ibid. P. 233). Тот же беспорядок в одежде отмечают и Монстрелле («enveloppé d'un linseul tant seulement il porta dedens la bastille Saint-Antoine» // Monstrelet A. Ibid. P. 262), и автор анонимной хроники («tout deschault et presque tout nud ainsi que il l'avoit prins en son lit» // Chronique anonyme du regne de Charles VII // Monstrelet A. T. VI. P. 255).

<sup>9</sup> Именно в таких выражениях это описано у Жувенала: «et s'en vint hastivement en l'hostel de monseigneur le Dauphin, lequel dort en don lect ; et ainsi que Dieu le voulut, le prit entre ses bras, l'enveloppa de

sa robe à relever, et le porta à la Bastille de Sainte Antoinne» // Juvénal des Ursins J. Histoire de Charles VI. P. 540.

<sup>10</sup> Scnerb B. Les Armagnacs et les Bourguignons. P., 1988. P. 187-188. Монах Сен-Дени прямо обвиняет чиновников – арманьяков в корыстном интересе, ради которого они всячески отвергали этот мир. См. Religieux de Saint-Denis. T. VI. P. 231.

<sup>11</sup> «... И провозгласили мир, вступая в Париж; но мир их был таков, что они грабили, захватывали и убивали всех доблестных и честных ваших служителей»; «когда народ взбунтовался против Вас и ваших чиновников» (Juvénal des Ursins J. Op. Cit. P. 266, 321).

<sup>12</sup> «les gouverneurs...ont este principaulx promoteurs et conducteurs desdictes iniquites à la perturbation de paix... et d'autres grans excès et crimes... il s'est mis en armes pour déchacer et déboutes lesdiz gouverneurs de leur gouvernement et d'estre entour le Roy, et ne cessera tant qu'il aura la vie au corps, jusques à ce qu'il sera parvenu à sa bonne entencion. Car ilz ne sont point telz hommes qu'ilz doivent avoir telle auctorité, ne pas leur est deue, pour lignage, science, loyaulté, experience ou autre bonté» ( Monstrelet A. Op. Cit. P. 201-202).

<sup>13</sup> Journal de Clement de Fauquembergue. T. I. P. 126-128.

<sup>14</sup> Об этом периоде см.: Цатурова С.К. Офицеры власти. С. 126-129.

<sup>15</sup> С обеих сторон с разной степенью подробности произошедшее событие описано в следующих хрониках: Religieux de Saint-Denis. T. VI. P. 373-375; Chastellain G. Oeuvres. Ed. par K. De Lettenhove. Bruxelles, 1863-1866. T. I. Croniques. 1419-1422. P. 31; Monstrelet A. Chroniques. T. III. P. 341-345; Journal de Clement de Fauquembergue. T. I. P. 316-319; Chronique de la Pucelle. P. 177; Juvénal des Ursins J. Histoire de Charles VI. P. 553-554; Memoires de Pierre de Fenin. P. 598-99.

<sup>16</sup> В версии Монстреле это предстает особенно ярко. Еще когда велись эти переговоры о месте встречи, Жан Бесстрашный спрашивал у советников, может ли спокойно ехать, а те ответили, что да, учитывая гарантии столь почтенный людей (tant de notables personnes), главным из которых был Танги дю Шатель. А уже войдя в шатер и двигаясь по лабиринту, герцог Бургундский первым встретил его же и, положив ему руку на плечо и обращаясь к своей свите сказал: «Смотрите, вот тот, кому я доверился» (au quel par grant semblant d'amour il férit de la main sur l'espaule, en disant au seigneur de Saint-Georges et aux autres de ses gebz: «Veez cy en qui je me fie» (Monstrelet A. Ibid. P. 338-343). Столь же красочно предательство дю Шателя описано у Пьера де Фенена. См.: Mémoires de Pierre de Fenin comprenant le récit des événements qui se sont passés en France et en Bourgogne sous les règnes de Charles VI et Charles VII (1407-1427). Ed. Mlle Dupont. P., 1837. P. 598-599.

<sup>17</sup> Пеппуа Э. Указ. Соч. С. 305; Scnerb B. Op. cit. P. 202-204; Guenée B. Op. Cit. P. 279-281; Bonenfant P. De meurtre de Montereau au traité de Troyes. Bruxelles, 1958. P. 15-16.

<sup>18</sup> Такая версия высказана в версиях «дофинистов»: в «Хронике» Жоржа Шатлена, у Жувеналья и у Кузино. Причем у двоих последних герцога Бургундского убил вовсе не Танги дю Шатель, который «взял в свои руки» дофина и во второй раз спас его. См. Chastellain G. Op. Cit. P. 31 ; Juvenal des Ursins J. Histoire de Charles VI. P. 554 ; Chronique de Cousinot. P. 177.

<sup>19</sup> Об убийстве на мосту в Монтеро как о мести за расправу над арманьяками в 1418 г. прямо пишет Жан Жувеналь дез Юрсен, хотя и призывает в целях заключения Аррасского мира предать все забвению. См. Juvenal des Ursins J. Ecrits politiques. P. 225-226.

<sup>20</sup> Основные биографические сведения см.: Favier J. Dictionnaire de la France medievale. P., 1993. P. 363-364.; Gaussin P.-R. Les conseillers de Charles VII (1418-1461). Essai de politologie historique // Francia. 1982. Bd. 10 (1983). P. 112; Demurger A. Guerre civile et changements du personnel administratif dans le royaume de France de 1400 a 1418 : l'exemple des baillis et seneschaux // Francia. Bd. 6 (1978). München, 1979. P. 243-244.

<sup>21</sup> О его подвигах и образцовой гибели см.: Religieux de Saint-Denis. Vol. 3. P. 107-111, 171-179.

<sup>22</sup> См. об этом подробнее: Guenée B. Un meurtre, une societe. L'assassinat du duc d'Orleans 23 novembre 1407. P., 1992.

<sup>23</sup> Religieux de Saint-Denis. Vol. IV. P. 311.

<sup>24</sup> Demurger A. Op. Cit. P. 170-171.

<sup>25</sup> «Advint après, que le duc de Guyenne et les autres vinrent à Saint-Pol, et changèrent, ce propre jour de vendredi, le prévôt de Paris, qui était allé en Picardie pour le roi, et était nommé le Borgne de la Heuse, et la baillèrent à un des serviteurs du duc d'Orléans mort, qui était breton, et était nommé Tanguy du Châtel» (Journal d'un bourgeois de Paris de 1405 a 1449. Ed. par C. Beaune. P., 1990. P. 65-66).

<sup>26</sup> См. об этом соответствующие статьи ордонансов от 1254, 1302 и 1351 гг. Ordonnances des rois de France de la troisième race. 22 vols. P., 1722-1849. T. I. P. 71, 365, T. II. P. 460-461.

<sup>27</sup> Demurger A. Op. Cit. P. 183.

<sup>28</sup> См. об этом конфликте: Monstrelet A. Chroniques. T. III. P. 132.

<sup>29</sup> Ibid. T. II. P. 458.

<sup>30</sup> «Et ce jour revint le prévôt, c'est à savoir le Borgne de la Heuse, et fut remis en sa prévôté, et l'autre, voulût ou non, déposé» (Journal d'un bourgeois de Paris. P. 67).

<sup>31</sup> Journal de Nicolas de Baye, greffier de Parlement de Paris, 1400-1417. Ed. A. Tuetey. 3 vols. Vol. II. P. 146.

<sup>32</sup> «Ce jour, entre iiij et v heures après midi, messire Andry Marchant, chevalier, prevost de Paris, disant qu'il estoit venu à sa cognoissance que messire Tenneguy du Chatel, chevalier, par le moyen de monseigneur de Guienne ou autrement, avoit impetré sondit office de prevost, ou se vouloit efforcer de le y empescher, s'opposa à ce que ledit Tenneguy ne autre soit receu ne institué oudit office sans le oïr» (Journal de Nicolas de Baye. T. II. P. 193-194).

<sup>33</sup> «et firent lesdits bandés prévôt un chevalier de la cour du duc d'Orléans, qui était breton, nommé messire Tanguy du Châtel et ne le fut que deux jours et deux nuits, pour ce qu'il n'estoit pas bien de leur accord» (Journal d'un bourgeois de Paris. P. 82).

<sup>34</sup> «que toutesfois qu'il plairoit a monseigneur du Guienne, il se deporteroit dudit office au prouffit dudit messire Andry» (Ibid. P. 194).

<sup>35</sup> Demurger A. Op. Cit. P. 244. Кстати, любопытно, что на должности правителя Ла-Рошели он сменил также арманьяка, Франсуа де Гриньо, будущего соучастника по убийству Жана Бесстрашного. См.: Ibid. P. 194-196.

<sup>36</sup> Journal d'un bourgeois de Paris. P. 91.

<sup>37</sup> Как яркий пример сошлемся на его присутствие в свите коннетабля Арманьяка, пришедшего в Парламент и осмелившегося сесть выше всех, тем самым заявляя свою власть. См.: Journal de Clement de Fauquembergue. T. I. P. 16-19.

<sup>38</sup> Religieux de Saint-Denis. T. VI. P. 129, 131-133, 143, 151-153, 179-181, 183-185, 191; Journal d'un bourgeois de Paris. P. 104.

<sup>39</sup> На допросах в 1416 г. заговорщики признались, что «искренне преданные герцогу Бургундскому, они хотели любой ценой отдать ему власть, обещая захватить и держать под хорошей охраной короля и принцев крови..., и чтобы затем он один управлял королевством вместе с королем. Также они признались, что составили план использовать первый подходящий случай, чтобы убить купеческого прево, прево Парижа (Танги – С.Ц.), главных служителей двора короля» (Religieux de Saint-Denis. T. 6. P. 5).

<sup>40</sup> Согласно исследованию Госсена, Танги дю Шатель был постоянным участником заседаний Совета, правда, недолго, до своей отставки в 1425 г. См. Gaussin P.-R. Op. Cit. P. 72.

<sup>41</sup> «И герцог Жан выказал Танги дю Шателю большую теплоту и большое почтение и очень большой почет, сказав: «Мы идем к монсеньору Дофину, доверившись вам... Мы верим вашим словам... Мы идем, доверяя Богу и вам» (Memoires de Pierre de Fenin. P. 598-599).

<sup>42</sup> Juvenal des Ursins J. Histoire de Charles VI. P. 553, 555.

<sup>43</sup> «et pource qu'on chargea fort messire Tanneguy du Chastel d'avoir fait le coup, il s'en fit excuser devers le duc de Bourgogne, Philippe, en affirmant comme preud'homme chevalier doit faire... "que oncques ne le fit, ne fut consentant de faire ; et que s'il y avoit deux gentilshommes qui le voulussent maintenir, il estoit prest de s'en defendre, et de les combatre l'un apres l'autre". Sur quoy il n'y eut personne qui respondit» (Ibid. P. 555).

<sup>44</sup> В нее входили на тот момент Жан Луве, Гийом виконт Нарбонны, Робер де Луар, Франсуа де Гремуй и Гийом Батайе – все участники убийства Жана Бесстрашного.

<sup>45</sup> «Charles le mal conseillé» // Chartier J. Chronique de Charles VII, roi de France. Ed. A. Vallet de Viriville. 3 vols. P., 1858. T. III. P. 233.

---

<sup>46</sup> Неудача при осаде Мелена в 1423 г., когда произошла размолвка между Танги, посланным на помощь осажденным, и шотландцем Джеймсом Стюартом, графом Бушаном, получила широкую огласку. Парижский горожанин не преминул сравнить Танги с Ганелоном, символом предательства в рыцарском эпосе. См.: *Journal d'un bourgeois de Paris*. P. 199-200; *Chronique de Cousinot*. P. 189-190; *Monstrelet A. De. Chronique*. T. IV. P. 137.

<sup>47</sup> *Chronique de la Pucelle*. P. 229-230.

<sup>48</sup> *Chartier J. Op. Cit.* P. 194; *Monstrelet*. T. V. P. 155-157.

<sup>49</sup> Когда через 100 лет повторилась та же ситуация, умиравший в одиночестве Франциск II в 1560 г. распорядился написать на своем саване «Танги дю Шатель, где ты?».

<sup>50</sup> Пенсион, который получал из казны Танги III, превышал королевские милости графу Дюнуа, герою Столетней войны и соратнику Жанны д'Арк: 16 тысяч ливров против 12 тысяч (*Harsgor M. Un très petit nombre : Des oligarchies dans l'histoire de l'Occident*. P., 1994. P. 184).

**В споре с короной: королевский чиновник и рыцарь в поисках выбора на исходе Столетней войны**

После Аррасского мира 1435 года Столетняя война для английской короны превращается во всё более жгучую военно-политическую проблему. Общественное мнение не могло оставаться равнодушным к потрясениям, вызванным военными неудачами и политическими потерями, изменениям в настроениях различных слоев общества. Знакомство с отдельными проявлениями этих изменений открывает новые возможности изучения английского общества XV века. Очевидно, можно говорить, что в различных общественных группах идет переосмысление характера, целей, хода войны, пересмотр многих позиций и привычных ценностей. Однако названные процессы изучены слабо. Долгая традиция прежде всего государственно-правовых подходов, политической истории как истории институциональной и истории деяний отдельных государственных мужей скрывает настроения, помыслы, размышления различных общественных групп. Голос общин, коммонеров в рамках таких подходов в источниках ограничен, главным образом, требованием к власти признать их позитивную роль и соответствующее место в обществе; с середины столетия прокламируется образ мудрого и сильного правителя.

Современные междисциплинарные подходы, методологический синтез позволяют выйти за пределы ограниченных источниковых возможностей историографии столь насыщенного столетия в истории Англии. Микроисторическая парадигма действующих лиц истории позволяет лучше понять макросоциальные, масштабные политические процессы.

Несомненно, крах континентальной политики Англии продуцировал, прежде всего, в среде правящего сословия голоса несогласия, свое видение ситуации и перспектив развития английского будущего. Обладателей таких взглядов было немного. В критической ситуации того времени наиболее отчетливо прослеживается непростое положение, в котором оказывались лица, сумевшие подняться над сиюминутными, узко династическими, клановыми интересами в стране. Встречаются и те, кто так и не мог выйти из тупика королевской политики. Им было нелегко. Кто они – верные подданные своего сюзерена? Могут ли они заявить о своем

понимании момента, могут ли они своими мыслями, делами, поступками заявить о себе как о людях, думающих об интересах страны, общества? Насколько их позиция расходилась с интересами династии? Понимали ли они, что их поиски – выражение, возможно, интуитивное, новых ценностей, идеалов, которым со временем будет принадлежать будущее? Этот процесс своеобразного раздвоения обнаружился, когда два наших героя оказались в ситуации нелегкого выбора. Обратимся к истории первого из них.

Известный, однако малоизученный памятник тех лет – *Libell of English Polycy*, при всей дискуссионности жанра и авторства открывает позиции незаурядной личности, стоящей за этим сочинением. Вопрос о его создателе до сих пор остается предметом споров. Еще в 1878 году немецкий издатель памятника В.Хертцберг считал возможным назвать таковым Адама Молейнса. Д.Уорнер, издавший памятник в 1926 г., предпринял серьезную попытку разобраться с автором поэмы. Жизненный путь Молейнса, по его мнению, свидетельствует в пользу такого заключения В.Хертцберга.

Родом из Ланкашира, Молейнс появился на свет в 1396 г. Получив богословское образование, занимал церковные должности в Уилтшире, в графствах Уорчестершире, Сэффолкшире, Норфолкшире, Йоркшире. В 1430 г. стал бакалавром общего права (*Civic Law*), через пять лет получил докторскую степень. Его любовь к знаниям, стремление к познанию были оценены Энеем Сильвио Пикколомини, впоследствии папой Пием II. На смерть Молейнса понтифик произнес слова об «*amicus noster Adam Molines ... literarum cultor*»<sup>1</sup>. Молейнс завещал ряд рукописей библиотеке Оксфордского университета<sup>2</sup>. Этот человек сделал успешную церковную карьеру.

В марте 1435 года он послан с миссией к папскому двору. Папа Евгений IV в письме к кардиналу Бьюфорту говорит о нем как о папском дворецком (*chamberlain*) и верном слуге кардинала. В марте того же года получил охранную грамоту папы для поездки в Англию и «куда потребуется» по делам папства. Клерком Совета он пробыл с 1436 по 1441 год, после чего стал членом Совета. По мнению Г.Николаса, он стал *Secondary* в *Privy Seal office*<sup>3</sup> (представителем Совета в канцелярии лорда-хранителя Малой печати). Несомненно, это оценка его деловых качеств. Важным успехом его церковной карьеры у себя на родине стало назначение в 1446 г. епископом Чичестерским. Хотя скорее он был свя-

ценником, чем мирянином, его деятельная жизнь прошла в светских заботах о государстве. Часть современников рассматривали церковную карьеру этого человека скорее как источник личных заработков. Он имел от папы благословение и лицензию на обслуживание в качестве приходского священника нескольких приходов и не всегда вел себя «ответственно» на этих должностях<sup>4</sup>.

В главе об Ирландии названной поэмы обращают на себя внимание сильные эмоции в сочетании с точным знанием реалий и «*polysue and kerunge thereof*». Как отмечает Р.Паули, автор вводной статьи к изданию В.Гертцберга, весьма вероятно, это дает ключ к определению авторства трактата. Вскоре после появления поэмы Молейнс ожидал назначения на один из высших и ответственных постов в стране (лейтенанта Ирландии? – В.З.) Он заинтересован в эффективном управлении островом, укреплении и расширении английского господства в Ирландии. Пост оставался вакантным до 1439 года, Молейнс так и не занял его. В частности, такое обстоятельство объясняет, почему предлагаемый им специальный договор с Ирландией не состоялся.

Его должность клерка Совета (до 1441 года) не давала ему больших возможностей для знакомства с государственными мужами и государственной политикой. Он приобрел вес и авторитет в постоянной работе комиссий, связанных с торговлей, по самым разным поводам – от переговоров по торговым договорам до расследований законности захвата судов<sup>5</sup>. Среди нобилей и прелатов Совета он оставался опытным специалистом по торговле, его знания были востребованы каждый раз, когда требовалась экспертная оценка и дипломатические способности<sup>6</sup>.

Едва ли существует прямая связь с его собственными коммерческими интересами, однако интересно, что в 1442 г., вскоре после его назначения членом Совета, парламентом рассматривался вопрос об усилении присутствия Англии на морях. Предполагалось усилить охрану моря восемью кораблями с командой в 150 человек на каждом. Предусматривалось финансирование снаряжения и снабжения этих судов, а также снабжение всем необходимым меньшего *barge* и *balinge* для постоянного патрулирования<sup>7</sup>. У него был и свой торговый интерес. В мае 1447 г. король выплатил ему 1000 ф.ст., компенсируя аннулирование патента, который давал Молейнсу полномочия по экспорту шерсти<sup>8</sup>.

Его политическая позиция подверглась в трудах современников и историков весьма пристрастной оценке. Возможно, герцог Глостер, яростный оппонент своего сводного дяди кардинала Бьюфорта, был тем, кто сказал о людях так называемой «партии мира» как членах «партии измены». Молейнс вошел в публичную жизнь как последовательный приверженец кардинала Бьюфорта. Позже, в качестве епископа Чичестерского и хранителя Малой печати (с 1444 г.) он был наиболее активным сторонником Уильяма де ля Поля, графа и затем герцога Сэффолка, в его стремлении добиться урегулирования с Францией<sup>9</sup>. Во всех переговорах о мире с 1444 г. он играл лидирующую роль как один из представителей Англии<sup>10</sup>. Он разделил с Сэффолком ответственность за сдачу Мэна (Maine) в марте 1448 г. Возможно, это вызвало новую вспышку «народной» ненависти, усугубленной провалами в Нормандии и потерей Руана в ноябре 1449 г.

С легкой руки оппонентов он и его сподвижники стали олицетворением бесчестья страны, ее изменниками. Анализ структуры поэмы, логики изложения проблем Англии дает основание судить иначе. Содержание памятника определяется тремя главными постулатами. Автор, давая в первых главах общий очерк торговых связей Англии с миром, не может скрыть настроений прежде всего в купеческой среде, отдавая дань общим оценкам торговых отношений. В этих главах сквозит постоянное раздражение по поводу многочисленных соперников в этой торговле, таковыми прежде всего являются фламандцы и итальянцы. Потоки товаров из Средиземноморья, Испании к тому же не минуют портов Фландрии; лучше, если бы они шли сразу в английские порты. Фламандское сукно вообще создается из английской шерсти, но торгуют им по другую от Англии сторону пролива, жизнь Фландрии держится на нашей шерсти (глава I). Португальцы, хотя и дружественны Англии, должны отказаться от посреднических услуг фламандцев (глава II). А еще бретонцы со своей солью, вином в этой сумятице грабят наши корабли (глава III). Наряду с фламандцами сомнительна и роль шотландцев, из их шерсти фламандцы тоже делают суконные ткани (глава IV). Товары из Пруссии также не минуют фламандцев (глава V). Генуэзцы, венецианцы и флорентийцы везут в королевство немало своих товаров, в том числе дорогих тканей, но немало привозят «пустяков и безделушек», от которых польза невелика. И за всё это мы отдаем им золото. Исключение автор делает для полезных, по

его мнению, товаров – сахара, ревеня и врачебного снадобья под названием александрийский лист, хотя местные травы эффективнее. Довольно сомнительна и кредитная политика итальянцев. Несомненно, итальянцы – обманщики, они «высасывают» золото из страны, но без их займов не обойтись, поэтому следует с ними смириться. В конце главы VIII – инвектива против прихлебателей и защитников такой политики.

Второй значительный фрагмент текста посвящен Ирландии – ее ресурсам и значению (глава IX). Огромны ресурсы этого острова – от шкур крупного рогатого скота, рыбы и шерсти до золотых и серебряных руд. В стране плодородные земли и прекрасные гавани, имеющие стратегическое значение. Ирландия – это форпост и рубеж Англии, Ирландию необходимо охранять. Потеряв Ирландию, потери Уэльса не избежать. Упомянув о Шотландии, автор говорит о ней как о потерянной территории, она в союзе с Испанией угрожает Англии. Не хватает только альянса Шотландии и Ирландии. Завоевание Ирландии поможет сохранить для Англии Уэльс. В составе английской короны она даст в 3-4 раза больше доходов, чем дает Франция (имеются в виду английские владения во Франции). Д. Уорнер считает, что автор поэмы имел тесные связи с наместником Ирландии графом Ормондом, в том числе земляческие и брачные. Возможно, устами графа автор утверждает, что завоевание Ирландии будет стоить не более, чем расходы во Франции за год<sup>11</sup>. Ясно, что автор за более решительную политику в Ирландии и Уэльсе, но не на континенте.

В X главе обзором продуктов из Исландии (хранилище вяленой трески, в чем небольшая нужда) автор завершает перечень товаров, ради которых «необходимо надлежало охранять море». Товары поступают отовсюду – с запада и востока, с севера и юга. Поэтому и следует бдительно охранять пролив между Дувром и Кале.

Третье, что следует отметить, – идея «надежно охранять моря» – появляется после описанного обзора торговых связей королевства. В подкрепление идеи морской мощи следуют рассказы о трех английских королях, властелинах моря. Речь идет о еще англо-саксонском короле Эдгаре (умер в 975 г.), сумевшем остановить экспансию норманнов (курьезно, что автор не говорит о короле Альфреде). Вслед за ним восхваляется Эдуард III и совсем близкий Генрих V. Корабли Эдгара, большие и вместительные, «полны неис-

товства» и принесли «королевские победы». Автор считает, что со времен Эдгара «окружающее море стало целью короля». Эдуард III превратился в хозяина моря, подчинив себе Кале, и был «королем-победителем». Три корабля короля Генриха «Троица», «Великий Боже» и «Святой Дух» сделали этого монарха «подобным Эдгару и Эдуарду», ибо «охраняемое море приносит победу». Подчеркивается благочестие этих королей, что, по мнению Д.Уорнера, говорит в пользу авторства Молейнса<sup>12</sup>.

Глава XII, название которой «Альянс, необходимый для защиты моря в бесконечном стремлении к миру», является своеобразными политической программой, политическим завещанием. В заключение автор задается вопросом: что необходимо сделать, чтобы положить конец хаосу и нестабильности? Ответ звучит так – необходим альянс (соглашение) достойных и знающих. Они должны объединиться в делах управления, не ссориться, идти к согласию и единодушию.

Их политика должна сводиться к следующему. Следует создать надлежащую помощь для охраны моря во имя славы и доходов и пресекать тех, кто желает зла. Так будем долго богаты и славны. И нобили не смогут нам чинить козни. Фламандцы должны помириться с нами. Далее, необходимо охранять море вокруг себя, оно окружает Англию и является для нее защитной стеной. Англия – город, окруженный стеной-морем. Следует стремиться к миру для всех стран, жить как братья, без войны, в мире и спокойствии, без ссор и распрей, прирастать делами благочестия. Далее идут ссылки на евангельские заветы мира и благочестия.

Три части, на которые мною поделен трактат, дают строгую и законченную картину мыслей автора, программу государственных интересов королевства, если такое понятие применимо для того времени. Трактат – не результат политического соперничества придворных группировок при слабом Генрихе VI. Он не является отражением интересов лондонских купцов и связанных с ними ведущих придворных сановников (герцог Глостер и другие). Построение поэмы показывает, что ее содержание и смысл определяется не узко сословными, узко политическими намерениями, в ней отражаются потребности общества и государства в целом. Интересно, что автор воздерживается от определенно выраженного мнения о французской войне. Морская и торговая политика, предлагаемая автором, не предлагается как альтерна-

тива политике военных рисков. Автор сумел подойти к проблеме военно-политического кризиса «панорамно», «системно», продемонстрировав широкий кругозор. Несомненно перекличка с планами папского престола мирного урегулирования противостояния<sup>13</sup>. Авторство Адама Молейнса при данных обстоятельствах становится весьма возможным. Создана программа в интересах общества – программа спасения Англии, показано, что залог ее процветания, ее перспективы – на морских просторах, но не в господстве на чужой земле. Символично, что Молейнс был убит после окончательного осознания в определенных кругах невосполнимости потерь Столетней войны.

Если рассматривать трактат как первый призыв к миру («to kepe thys regne in rest») после изнурительного соперничества с Францией, Libell должен иметь вполне солидный источник. Д.Уорнер приводит целый ряд соображений в пользу авторства Молейнса (прекрасная осведомленность в ситуации, исключительные знания о торговле, богословский слог его заключения – он был духовным лицом). Подробности и детали торговых дел и проектов говорят не о принадлежности к купеческому сословию, а об обладании каким-то официальным положением. Судя по источникам Libell, автор имел свободный доступ к парламентским заседаниям, конфиденциальным государственным бумагам и другим официальным документам. Фактически это доверенное лицо папского престола, роль последнего в прекращении военных действий уже отмечалась. Среди дополнительных доводов в пользу авторства Молейнса – использование слова «wuglunge» (дикий, малоразвитый, имеется в виду житель Ирландии, [строка L.716]), который, по-видимому, относится к диалектам северо-западных графств<sup>14</sup>. Язык и слог поэмы не блещут изяществом. По этой причине трудно приписать поэму известному поэту того времени Джону Лидгейту. Поэт предпринимательскими интересами был связан с лондонскими купцами, с ними тем же интересом был связан герцог Глостер. Все они имели доходы от торговли английской шерстью на материке через стэпл в Кале. Впрочем, возможно, что автор трактата и заимствовал что-то у Лидгейта, особенно в первой из выделенных мною частей<sup>15</sup>.

В любом случае, был или не был Адам Молейнс создателем трактата, в обескураживающих обстоятельствах того времени автор памятника сумел подняться над узко сословными интересами верхушки правящего сословия. Фак-

тически в нем прозвучал отказ следовать династическому принципу в политике страны<sup>16</sup>, призыв к пересмотру сложившихся стереотипов поведения короны. Автор попытался сформулировать позицию, отвечающую перспективам общественных интересов, в том числе политических, кануна раннего Нового времени.

Фигура другого нашего героя, сэра Джона Фастольфа (1378-1459) противоречива, как противоречиво его время. Один из самых опытных капитанов короны, человек неукротимой энергии, он был воплощением воинственности как неотъемлемого элемента рыцарского образа. В то же время в собрании документов о делах и предприятиях Фастольфа, составленном У.Уорчестером, секретарем нашего героя, рыцарский дух сохраняется, но сосуществует с множеством описей и счетов, включая упоминания о тех достойных рыцарях, которые тоже имели покупки и расходы<sup>17</sup>. Сам Фастольф очень практичный человек. Свои доходы от французской войны рыцарь вкладывает в покупку земель, построек, мебели, посуды и драгоценностей. Однако приоритетным являлось приобретение поместий. Они имелись в Англии, а также в Нормандии и Мэне<sup>18</sup>.

Автор очерка о Фастольфе в «Словаре национальной биографии» Д.Харрис отмечает, что рыцарь служил и герцогу Глостеру, и герцогу Сомерсету, Ричарду, герцогу Йорку и был критиком Сомерсета. Не ладил он и с герцогом Сэффолком<sup>19</sup>. Эти имена требуют своего пояснения. С герцогом Йорком и герцогом Глостером почти всё ясно – они представляют две противостоявшие линии Плантагенетов. Пришедшие в 1399 году к власти Ланкастеры сумели превзойти Йорков, имевших больше династических прав на престол. Герцогов Сомерсета и Сэффолка отмечает более сложное противостояние.

В 1442 году английская делегация во главе с Джоном Стаффордом (Джон Стаффорд, ок.1383-25.5.1452, с 1432 г. канцлер в течение 18 лет, поддерживал политику Джона, герцога Бьюфорта, в 1443 году получил должность архиепископа Кентерберийского) выхлопотала перемирие на полтора года. В составе представительной миссии, добившейся этого успеха, был Адам Молейнс, епископ Чичестерский, Уильям де ля Поль, будущий герцог Сэффолк (с 1448 г.), рыцарь Ричард Рус. В 1445 году Уильям де ля Поль становится главой миротворческой партии. В этом году он сосватал одну из французских принцесс Маргариту Анжуйскую за Генриха

VI. Герцогу Анжу Уильям отдал его бывшие владения, оккупированные английскими войсками – герцогство Анжу и графство Мэн, «которое является ключом к Нормандии». В 1449 г., используя в качестве предлога инцидент с одной из пограничных крепостей, французы вторглись в Нормандию и через несколько месяцев, в начале октября Эдмунд Бьюфорт, герцог Сомерсет, верховный командующий английской армией, сдал столицу Нормандии Руан. Миротворческие усилия герцога Сэффолка и военные неудачи герцога Сомерсета едва ли могли помочь сплочению общества. В такой ситуации обширные политические связи Фастольфа были непоследовательными, противоречивыми. Его принимали при дворах антагонистов, непримиримых соперников из королевского окружения, отдавал ли рыцарь отчет в этом себе? Служа и критикуя герцога Сомерсета, он критиковал его как храбрый вояка за его военные неудачи. Однако, следуя за таким же воякой, каким являлся Ричард Йорк<sup>20</sup>, он едва ли мог добиться милости при дворе его антагониста герцога Глостера, тем более Фастольф имел связи и с герцогом Сэффолком, хотя и не ладил с ним как с миротворцем. Д.Харрис считает, что «долгая военная карьера, долгие годы войны привили ему ( Фастольфу—В.З.) недоверие и презрение к французам и сделали его естественным критиком политики мира Уильяма де ля Поля, графа Сэффолка». Когда он не был, как резюмирует Д.Харрис, среди близких друзей короля Генриха.

Эти политические метания можно как-то объяснить. Очевидно, в конце 40-х годов Джон Фастольф переживает разочарование и переоценку ценностей, утрату привычных и понятных идеалов.

Фастольф вернулся в Англию в 1439 году богатым, в почете и славе, с солидными связями, полный духовных и физических сил. Но вместо уважения, признания и покоя, которые он предвкушал, последние двадцать лет его жизни прошли во вражде и гонениях, которые довели его почти до краха. Завистники воспользовались тем, что не всегда «выверенные», «лояльные» политические связи и симпатии связывали рыцаря с оппонентами правительства. У него не было наследников, его доходы и богатства стали оспариваться теми, кто положил глаз на его состояние. Тем более и он не брезговал средствами, стремясь приумножить свои богатства. В последние десять лет своей жизни он растерял большую часть своего состояния и стал «скудным сутяжником и

раздражительным стариком», как его называют в документах собрания Пастонов<sup>21</sup>.

Эволюция его взглядов на методы ведения войны тоже показательна. После Аррасского мира в «Рапорте сэра Джона Фастольфа относительно дальнейшего ведения войны во Франции после заключения договора в Аррасе» капитан Фастольф требует тактики «выжженной земли» без всякой жалости к мирным жителям, увеличения числа воинских контингентов на материке. Финансовые тяготы кампании заставляют его вспомнить рейды Эдуарда III и Черного Принца в XIV в., главной целью которых являлось опустошение территории и деморализация противника. Будущее Англии в Столетней войне – реализация военной силы и агрессии, войны до победного конца, отказ от дипломатических переговоров и компромиссов<sup>22</sup>.

Однако через тринадцать лет Фастольф представляет Джону Бьюфорту, герцогу Сомерсету, командующему войсками во Франции, ряд рекомендаций по руководству военной экспедицией на материке. Честные чиновники, советует рыцарь, должны своевременно и регулярно платить армии. Такое необходимо не только ради гарантии эффективного управления на другом берегу пролива, но и для того, чтобы у солдат не было соблазна жить за счет местного населения. Явный отход от прежней практики содержания войск на французской земле. Следствием такого поворота должна стать лояльность местного населения, а не горькая ненависть к иноземному захватчику<sup>23</sup>. В самом конце войны, в 1451-1452 гг., Фастольф испытывает новые потрясения в связи с крахом Англии в войне, когда тот же Уильям Уорчестер представил фрагменты своего сочинения *Voke of Noblesse*. В нем, в частности, утверждалось, что Нормандия потеряна из-за французского надувательства, хитрости (*trickery*) и английской продажности, разложения (*corruption*), развала дисциплины после смерти Бедфорда. Веря, что Бог и справедливость на стороне англичан, Фастольф утверждал, что Нормандия может и должна быть возвращена<sup>24</sup>.

В этих эпизодах рыцарь Джон Фастольф выступает, с одной стороны, как хранитель традиционных ценностей рыцарского сословия. С другой стороны, в своих докладах об управлении английскими владениями во Франции он представляет достойное трезвомыслящего государственного деятеля понимание стратегической позиции Англии со ссылкой как на военные, так и экономические обстоятельства

(напомним, правда, что у него в Нормандии и Мэне имеются поместья). Такое, очевидно, не случайно. Какие-то существенные изменения происходят в сознании отдельных представителей правящей верхушки страны, у одной из ее опор – рыцарства в последний период Столетней войны. Еще в 1433 году недавно занявший пост канцлера Джон Стаффорд, епископ Бата и Уэллса, утверждал, что долг политически активных сословий – выступать за мир и справедливость<sup>25</sup>. Еще более показателен «Маленький трактат об английской политике». В нем нет ничего от поиска военной славы, одни меркантильные расчеты, лишённые рыцарского духа. В нем реалии положения Англии: сохранить Ла-Манш, ведь от контроля над проливом зависит могущество и процветание королевства, по максимуму следует использовать природные богатства страны<sup>26</sup>. Идеи, высказываемые Фастольфом, другими высшими чиновниками, перекликаются с идеями «Маленькой книжечки».

Фастольф, возможно, не осознавая этого, встает на путь мучительной переоценки ценностей, ведет себя то традиционно «феодално», то как стратег, ответственный политик. Приходит понимание того, что язык и ценности рыцарства ведут в тупик, к провалу. Рыцарские идеалы всё менее пригодны в реальных заботах королевства, они могут быть стимулом личного поведения, но совершенно не соответствуют общественным потребностям<sup>27</sup>.

Известно, что в XV веке рыцарство в хозяйственной, общественной, политической, военной сферах переживает глубокие трансформации, более низкая группа неродовитого дворянства, сквайры, начинают теснить его с привычных позиций.

Массовый источник – частнопровольные акты, свидетельствующие о содержании и динамике имущественных сделок рыцарства с другими социальными общностями, рисуют следующую картину. Начиная с десятых годов столетия, времени возобновления Столетней войны, в данных сделках прослеживаются две тенденции. Рыцари сокращают число земельных приобретений, оставаясь, очевидно, прежде всего военным сословием. С 40-х гг. XV в. они весьма заметно связаны имущественными сделками со сквайрами, фактически «размывая» свое состояние в этой социальной группе, усиливая ее хозяйственный вес в джентри. В 60-70-е гг. перевес покупок над продажами, высокая доля сеньориальных прав в общем количестве приобретений, значитель-

ные размеры недвижимости, которой оперируют члены сословия, говорят о достаточно прочном положении социальной общности рыцарства как хозяйствующего субъекта. Рыцарство с его служебными, военными или свитскими рычагами имеют большие возможности, чтобы отстаивать свои хозяйственные интересы<sup>28</sup>. Однако Фастольф к концу жизни многое теряет.

По некоторым оценкам, военные потери в 1442-1452 гг. больше всего ударили по джентри, людские потери среди них наибольшие<sup>29</sup>. Рыцарство – одна из основ политической власти, обязанное сохранять порядок и стабильность в обществе. Однако к середине столетия сквайры начинают занимать практически те же должности в системе местного управления, что и нетитулованные рыцари. Сельские джентри, возможно, начинают всё более заменять рыцарство при выборах депутатов палаты общин, делить с ним привилегии и ответственность участия в этих структурах власти<sup>30</sup>.

Фастольф – фигура, которая повторяет судьбу своего сословия. Как себя вести? Как хранитель прежних, однако, пустых рыцарских доблестей? Если война идет неудачно, да еще и «не по-рыцарски», можно уйти в хозяйство, тем более что статус рыцаря дает дополнительные рычаги влияния в конфликтах с соседями. Но и соседи уже не столь покорны, а зубасты и алчны. Военные неудачи на материке прямо бьют его по карману. Более многочисленные и менее связанные с обетами рыцарской чести и службы монарху джентри перехватывают политическую роль рыцарства.

Рыцарство как военное сословие уже на последнем этапе Столетней войны теряет значение. В его среде зреет необходимость переосмысления политических и моральных ценностей. Как считает А.Фергюсон, в обществе растет осознание того, что война и военная профессия должны быть введены в рамки жизни страны и государственных интересов. Войну отказываются рассматривать как по существу дела борьбу за династические притязания, как своеобразный совместный поиск приключений в поддержку феодальных привилегий и политических капризов короля<sup>31</sup>.

Два человека, две личности олицетворяют непростые линии общественного развития Англии бурного столетия. Один из них представляется фигурой уходящей, идеалы и помыслы другого скорее в будущем. Как представляется, эти две судьбы соответствуют месту XV века в истории средневековой Англии.

<sup>1</sup> См.: Stubbs W. The Constitutional History of England. Oxford, 1878. V.III. P. 46.

<sup>2</sup> The Libelle of Englyshe Polycye / Ed. G.Warner. Oxford, 1926. P.XL.

<sup>3</sup> Proceedings and Ordinances of the Privy Council of England / Ed. H.Nicolas. L., 1835. V.V. P.VIII, 150 (далее – PO).

<sup>4</sup> Warner G. Introduce // The Libelle of Englyshe Polycye / Ed. G. Warner. Oxford, 1926. P.XLII. Томас Гаскойн, гонитель Реджинальда Пикока, всегда критиковавший практику «совместительства» (pluralists), говорит о нем неприязненно в этом и других отношениях в своей Liber Veritatum. – Ibidem.

<sup>5</sup> PO. V.V. P. 30, 96,109,307; The Calendar of the Patent Rolls, Henry VI. V.III. L., 1907. P.575.

<sup>6</sup> Warner G. Op.cit. P.XLIII.

<sup>7</sup> Rotuli Parliamentorum / Ed. J.Strachey, L., 1774. V.V. P.59 (далее – RP); Ramsay J. Lancaster and York. Oxford, 1892,V.II. P.41. До этого, весной 1437 г., снабжение в течение трех недель получили 300 человек. – PO. V.V. P.19, 25.

<sup>8</sup> Ramsay J. Op.cit. P.79.

<sup>9</sup> Stubbs W. Op.cit. P.140.

<sup>10</sup> Foedera, conventiones, litterae et cujuscunque generis acta publica / Th. Rymer. V.X. L., 1711. P.53,106,138,174,196.

<sup>11</sup> Warner G. Op.cit. P.XXXIII, XL, п.4. К 30-м годам XV в. власть англичан на острове весьма ослабела. – См.: Осипова Т.С. Ирландский город и экспансия Англии XII-XV вв. М., 1973. С.230-231.

<sup>12</sup> Одним из первых распоряжений королевского Совета после смерти Генриха V в марте 1423 г. стало решение о продаже некоторых его знаменитых кораблей. – PO. V.III. P.53.

<sup>13</sup> В Аррасском конгрессе в качестве посредников участвовали два папских легата – См.: Dickinson J.G. The Congress of Arras, 1435 // History. 1955. N40. P.40-41.

<sup>14</sup> Warner G. Op.cit. P.XXXIX, XLVI.

<sup>15</sup> Ibid. P.XLVI-XLVII. Авторство Лидгейта оспаривает Ф.Хенн. – Henn V. «The Libelle of Englyshe Polycye». Politik und wirtschaft in England in den 30er jahren des 15 jahrhunderts // Hansische geschichtblätter. № 101. 1983. P.52.

<sup>16</sup> Интересно, что известный летописец того времени Джон Кэпгрейв, человек, близкий к Глостеру (Алексеев М.П. Литература средневековой Англии и Шотландии. М., 1984. С.246), поддерживает позицию автора Libell. – Henn V. Op.cit. P.65.

<sup>17</sup> William of Worchester's Collection // Letters and Papers illustrative of the Wars of the English in France during the Reign of Henry the Sixth, king of England / Ed. J. Stevenson. L., 1861-1864. V.II. P.526, 529.

<sup>18</sup> См.: Smith A. Litigation and Politics. Sir John Fastolf's Defence of his English Property // Property and Politics: essays in Later Medieval English History. N.Y., 1984; McFarlane K.B. The Investment of Sir John Fastolf's Profits of War // England in Fifteenth Century Collected Essays.

1981; Lewis P.S. Sir John Fastolf's Lawsuit over Titchwell, 1448-1455 // *Historical Journal*. 1958. V.I. N.1.

<sup>19</sup> Oxford Dictionary of National Biography. Oxford, 2004. V.19.

<sup>20</sup> Он несколько раз возглавлял английскую армию во Франции – в 1435-1437 гг. после смерти герцога Бедфорда, в 1439 г. после смерти графа Уорвика, а также в 1440-1441 и 1444-1445 гг.

<sup>21</sup> Harris G.H. Fastolf John // *Oxford Dictionary ...* V.19.

<sup>22</sup> Sir John Fastolf's Report upon the Management of the War in France upon the Conclusion of the Treaty of Arras // *Letters and Papers ...* V.II. P. 575, 576-580.

<sup>23</sup> Worchester J. Boke of Noblesse addressed to king Edward IV on his invasion on France in 1475 /Ed. J.Nichols. L., 1860. P.30-31.

<sup>24</sup> Harris G.L. Op.cit.

<sup>25</sup> См.: RP. V.IV. P.419.

<sup>26</sup> Автор «Маленькой книжечки об английской политике» не остался без преемников. Знаменитый после 1450 года «создатель королей», «знатный рыцарь и достойнейший из мужей Ричард, граф Уорвик, щит нашего королевства» (*An English Chronicle* / Ed. J.Davies. L.,1856. P.93), вдогонку Libell в контексте защиты государства ратует за удержание Кале и контроля над Ла-Маншем (*Six Town Chronicle*. P.147). См. также: Kendall P.M. *Warwick the King-maker*. N.Y., 1957. P.50.

<sup>27</sup> Фергюсон А.Б. Золотая осень английской рыцарственности. Исследование упадка и трансформации рыцарского идеализма. СПб., 2004. С.205,80,193.

<sup>28</sup> Золотов В.И. Социальное развитие английского общества в конце XIV – первой половине XV в. Автореферат дисс... докт. ист. наук. Н.Новгород,1996. С. 20-21; Пономарева Н.А. Джентри и горожане Англии в 60-80-х годах XV века. Автореферат дисс... канд. ист. наук. М., 2002. С.11-12.

<sup>29</sup> Chrimes S.B. *Lancastrian Yorkists and Henry VII*. N.Y., 1966. P.80. См. также: Keen M. *Nobles, Knights and Men-at-Arms in the Middle Ages*. L., 1996.

<sup>30</sup> Roskell J.S. *The Commons in the Parliament of 1422*. Manchester, 1954. P.92; Фергюсон А.Б. Указ. Соч. С.139-141.

<sup>31</sup> Фергюсон А.Б. Указ..соч. С.201, 190.

# **Модели женской идентичности**



**Гендерный ракурс анализа идентичности английских визионерок второй половины XIV – первой половины XV в.<sup>1</sup>**

Как известно, гендерная идентичность является одной из базовых и влияет на все прочее, в том числе и социальную. Прекрасной иллюстрацией этого являются биографии Марджери Кемп и нориджской затворницы – мистиков второй половины XIV – первой половины XV в., создавших два ярких текста<sup>2</sup>, являющихся интересным источником по идентичности двух этих женщин<sup>3</sup>. Несмотря на то, что значительная часть их жизненного пути приходится на более ранний период, их судьбы в первую очередь показательны для XV столетия. И не только потому, что общественный резонанс от их жизни и творчества, его результаты и последствия, сказавшиеся на их личной судьбе, во многом относятся собственно к XV в. Возможно также, что именно исторические условия, характерные для этого времени, определяли и специфику их биографий.

И «Книга Марджери Кемп», и «Откровения божественной любви», созданные нориджской затворницей, свидетельствуют, что их авторы пытались выйти за рамки предначертанного женскому полу. Для этого требовалось его осмыслить и соответственно репрезентировать. Сравнение того, как они строили свою идентичность<sup>4</sup>, позволяет понять причины успешности одной и неудач другой. Как нам кажется, гендерная составляющая сыграла здесь не последнюю роль<sup>5</sup>.

Прежде чем «допрашивать» на этот предмет тексты, скажем несколько слов о специфике источников и их репрезентативности для рассматриваемой проблемы. Фактически оба текста повествуют о наиболее интимном для человека данного времени – о понимании собственной души и ее взаимоотношений с Богом, что как раз предполагает осмысление своей идентичности. Причем основанием для размышлений служит в первую очередь личный опыт. Оба текста в большей или меньшей степени уделяют внимание и жизни «тела», что расширяет представление о социальном ракурсе конструирования их идентичности<sup>6</sup>.

В обоих случаях жизненный путь переосмысливается авторами в зрелые годы. Затворнице было около пятидесяти, когда она работала над основной – пространной – редакцией текста, почти в том же возрасте начинает трудиться над Книгой Марджери и занимается этим до конца жизни, т.е.

где-то до шестидесяти пяти лет. Несомненно, прожитые годы в значительной степени повлияли на понимание и репрезентацию своего прошлого, память о нем, и соответственно модели идентичности, их иерархизацию и прочее. Можно было бы опасаться, что умудренные жизнью женщины должны скорее излагать социальный опыт (чего, как кажется, требует и жанр, в котором они работают), соответственно «приспосабливая» свои воспоминания под коллективные ценности времени. К тому же обе женщины, описывая свой жизненный путь и осмысливая свое место и назначение, неминуемо использовали существовавшие формулы и образцы, всем понятные и культурно апробированные, что также способствует проявлению в их трудах коллективных взглядов. В то же время, «по признаку пола» они не принадлежали к письменной, «формульной культуре», бывшей по сути мужской (пишущая женщина в те времена – большое исключение), и существовавшие кальки часто использовали интуитивно (и не всегда правильно, что было одной из причин недоверия к женским религиозным текстам вообще)<sup>7</sup>, а это придает источникам значительное своеобразие и оригинальность.

Весьма значима и достаточно типична для женских позднесредневековых текстов проблема авторства: сочинения дам нередко составлялись под диктовку и редактировались мужчинами. Так, книга Марджери была записана с ее слов мужской рукой, да еще и не одной<sup>8</sup>. Были сомнения – правда, быстро снятые, – и в единоличном авторстве «Откровений» затворницы. Логично было бы опасаться «причесывания» текстов и подмены самоидентификации женщин теми представлениями, которые отражали мнение о них окружающих или даже существовавшего для такого рода случаев шаблона. (Что, конечно, все равно оставило бы источники весьма показательными для изучения идентичности, но в отношении совсем других сюжетов). Однако как структуры текстов и стратегии повествования, так и само их содержание ярко демонстрируют (и в этом отношении могут быть даже отнесены к «классике жанра») женскую принадлежность<sup>9</sup>.

Итак, уже этот небольшой обзор свидетельствует, что выбранные тексты с одной стороны служат иллюстрацией «социогенного» характера идентичности и связи между ее индивидуальным, личным и коллективным уровнями, с другой – демонстрируют их гендерную специфику.

Заметим, что наши мистики хотя бы телесно, но все еще жили в земном мире, исполняли определенные, в том числе гендерные роли, а потому должны были строить многочисленные модели самоидентификации. Понятно, что в основе личной идентичности каждой из женщин лежал целый спектр моделей. Начиная с того, что обе они были горожанками (Марджери точно, затворница – скорее всего), Марджери к тому же являлась женой и матерью, успев родить четырнадцать детей<sup>10</sup>, вдобавок к тому – бизнес-леди. Вероятно, у обеих важное место в построении идентичности занимают их семьи. Хотя затворница, в отличие от Марджери, пишет об этом мало и из своих родственников упоминает только мать (Sh. X. Sh.t.)<sup>11</sup>, но очевидно, что семья представляла большую ценность для обеих женщин: даже в основании понимания устройства мира у них лежат семейные отношения.

Семья Марджери занимала видное место в жизни города Линна (графство Норфолк), ее отец, о чем она с гордостью не преминула сообщить в Книге, пять раз избирался мэром (Book 2621-2623). Муж Марджери Джон Кемп, человек достойный и любящий жену, ее социальных претензий, видимо, не оправдал. В результате в ее семье возник гендерный конфликт. Как женщина она должна была подчиняться мужу и демонстрировать ему всяческое уважение. Как дочь мэра, привыкшая к тому, чтобы с ее мнением считались окружающие, она была, как представляется, недовольна скромным статусом супруга, стоявшего ниже в социальной иерархии, и начала высказывать претензии на руководство им и проявлять самостоятельность, в том числе и в делах. Как кажется, неудовлетворенность своим статусом, желание достичь авторитетного и влиятельного положения в местном сообществе мотивировали смену самоидентификации Марджери, даже если ею самой это в полной мере и не осознавалось.

Гендерный конфликт в семье Кемп разворачивался на протяжении длительного времени и выразился в борьбе Марджери за свободу распоряжения своим телом. Сначала, как кажется, она вынуждена была безоговорочно подчиняться мужу, чему способствовала ее болезнь<sup>12</sup>, многочисленные беременности и прочее. К тому же в этот период у нее были другие возможности для осуществления власти: до того как муж разорился, они, скорее всего, вели большое хозяйство, к тому же Марджери сделала несколько попыток открыть свое

дело (Book ch.2). Затем эти возможности резко сократились (Джон Кемп разорился, так что одним из пунктов их договоренности об отказе от интимных отношений был выкуп женой его долгов (Book ch.11)). Дела Марджери тоже пошли плохо. Как кажется, ее поиски собственного места в духовной сфере начались именно после собственных неудач в бизнесе и ухудшения финансового, а, значит, и социального положения Джона<sup>13</sup>. Дочь мэра всеми силами продолжала бороться за принадлежность к элите, даже если это вело к семейным проблемам. На уровне семьи ее социальная идентичность взяла верх над гендерной.

Если Марджери дает о себе много биографических сведений, и основная проблема состоит лишь в адекватной их интерпретации, то представить те роли, что приходилось играть затворнице, значительно сложнее. Очевидно, что в повседневной жизни – а она у визионерки все-таки имелась – она вынуждена была строить различные социальные идентичности. Но они не столько прочитываются, сколько угадываются (на основании упоминаний о ее посещении другими лицами, существовавших правил для затворниц, иных примерах и прочее). Косвенная информация, хотя несколько и обогащает понимание конструирования ее личной идентичности, но носит гипотетический характер и трудно верифицируема.

При всем разнообразии ролей и образов, которые женщины примеряли на себя в течение долгих лет, к моменту записи текстов главной для обеих была идентичность «духовного лица», человека, посвятившего себя Богу, полагающего это основным делом жизни. Опять же в широких рамках представлений о «духовных персонах» существовал довольно большой спектр моделей, где гендер занимал не последнюю роль. У женщин выбор был относительно не велик: можно просто было быть набожной дамой, известной благочестивым образом жизни, совершать паломничества и т.п., но чтобы быть при этом хоть сколько-нибудь влиятельной, нужен был очень высокий социальный статус и приличный доход<sup>14</sup>. Марджери активно совершает паломничества, несмотря на недостаток средств. Но поездки, хотя и обогащают ее духовный опыт, приносят не столько авторитет, сколько проблемы.

Более безопасной и привычной формой служения Богу был уход в монастырь или даже в затвор, что и делает старшая из наших героинь. Любопытно, что при этом ее ста-

тус затворницы не отражается в ее тексте как основание для самоидентификации. Возможно, это связано с ее общей установкой на максимальное устранение из текста своего «эго». Существование тела не важно для нее и не может служить основанием для построения идентичности, духовная жизнь обладает безусловным приоритетом. И главное в ней – видения, начиная с тридцатилетнего возраста полностью определившие ее судьбу. Затворница строит идентичность визионерки. Хотя она специально себя так не обозначает, но весь текст подчинен одному – рассказу о ее видениях. Она четко и неоднократно дает читателю понять, что смысл ее жизни состоит в том, чтобы понять и передать другим увиденное (Rev. Ch. 8 и др.). Положение затворницы вторично по отношению к ее статусу визионерки так же, как жизнь тела по отношению к жизни души.

Еще один статус, писательский, тоже подчиненный, но очень важный, поскольку именно через него репрезентируется основной, визионерский<sup>15</sup>. Затворничество дает идеальную возможность для служения Богу, но доставляет не так много влияния, если свою деятельность не популяризировать. Не станем утверждать, что нориджская затворница так же стремилась к социальному признанию, как Марджери. То, что она создала текст, неоднократно его редактировала и считала важным его опубликовать, как и то, что она не могла не осознавать его социальной значимости и своей роли в этой связи, не обязательно свидетельствует о стремлении к власти (которой как авторитетное лицо она неизбежно обладала<sup>16</sup>). Работать над текстом ее вполне могли убедить окружающие, казалось бы, и подтверждение тому имеется<sup>17</sup>. Вполне серьезной причиной для нее мог оказаться и соответствующий наказ свыше. Как бы то ни было, будучи определенно человеком мудрым, затворница не могла не понимать, что положение писателя, благодаря принадлежности к авторитетной традиции, безусловно, доставляет ей немалое влияние. При этом в ее текстах не присутствует ни одной менторской ноты или каких бы то ни было претензий. Надо отметить, что обращение к письменному слову было неординарным шагом с ее стороны: женщины, пишущей по-английски, Англия еще не знала; и то, как изящно и умно был поставлен этот рискованный эксперимент (могли и сжечь, как еретичку), безусловно, говорит о масштабе ее личности.

Понимала важность письменного слова и Марджери, не зря же она с таким трудом и упорством пыталась оставить

потомкам рассказ о своих злоключениях и духовном опыте. Хотя спектр ролей и моделей духовных идентичностей, которые она перепробовала, был достаточно широк, но и в ее рассказе, определенно, центральная тема – ее видения. В своих многочисленных путешествиях она посещает церковных иерархов разного ранга, архиепископов и епископов, докторов и бакалавров, монахов и затворников, о чем рефреном сообщает читателю. Но, как кажется, делает она это не только в поисках места для себя и не столько реализуя потребность непоседливой души в действии, но главное – ради подтверждения боговдохновенного характера ее видений и признания ее особых отношений с Богом. Не случайно она везде демонстрирует свою «духовную практику» и образ жизни, говорит о полученных свыше «секретах» (Book 41-43 и далее). Более того, она напрямую и неоднократно сравнивает себя с известной шведской визионеркой св. Бригиттой (Биргиттой), а также от имени Бога сообщает, что ими были получены схожие откровения, им были открыты одни и те же тайны (Book 1089-1091).

Сомнительно, чтобы Марджери конструировала свою идентичность и иерархию своих духовных ролей именно так с самого начала своей сознательной жизни, скорее всего – это более позднее представление, под которое подстраиваются воспоминания о прошлом. Тем не менее, именно видения являются центральной темой книги Марджери, вокруг которой она структурирует всю свою биографию. С них, по ее мнению, начинается история ее духовного становления. Она также главным своим назначением в жизни считает их получение и передачу другим. Но если затворница, выполняющая эту задачу, просто сидит и пишет, то Марджери активно занимается саморекламой. Она фактически навязывает себя сообществу, привлекая к себе внимание громко и театрально. При этом она выстраивает и дополнительные идентичности: паломницы и пророчицы<sup>18</sup>, куда более заметные, а потому способные обратить внимание на основное ее занятие – созерцание Бога. Если просто «духовных особ» и паломниц было много, то визионерок, особ, «избранных» Богом к спасению, имеющих с ним прямые личные отношения, а также предназначенных быть его устами и озвучивать его распоряжения, гораздо меньше. Автоматически это означало более высокий духовный авторитет и связанный с ним социальный статус. Как представляется, стремление к достиже-

нию и осуществлению власти, санкционированной свыше, и определяло построение идентичности Марджери.

Если личная идентичность – комплексная, формирующаяся на пересечении статусов и ролей, во многом отражает представления окружающих, то индивидуальная теснее связана с осознанием человеком своей уникальности. В основе конструирования индивидуальной идентичности обеих женщин лежит универсальное для христианства понимание человека как носителя иерархизированных сущностей: души и тела (с большей или меньшей степенью их независимости друг от друга). Казалось бы, все в этом разделении ясно и прозрачно: душа – высшая бесполоя сущность, а все, относимое нынче к области маскулинного и феминного, – удел «телесного низа». Но уже в этой простоте кроется ловушка (в которую, видимо, попадает одна из визионерок). «Бесполость» души отнюдь не означает, что эта сущность была исключена из системы моделирования гендерной идентичности<sup>19</sup>. При всей очевидности и, казалось бы, однозначности понимания сущностей человека визионерки по-разному вписывают их в структуры своей идентичности и по-разному их репрезентируют.

Затворница основное внимание уделяет душе, неоднократно подчеркивая, что она (точнее ее высшая часть – Substance) – общая, объединяющая всех людей между собой и с Богом сущность, ввиду ее особой ценности занимает доминирующее место в иерархии идентичностей. Она максимально подчеркивает бесполость «души». Для ее репрезентации выбран образ ребенка, не имеющего пола и возраста, олицетворяющего все человечество. Иллюстрируется связь души с Богом через семейные узы, где Бог выступает как создатель, отец и мать человечества<sup>20</sup>. Отношения между членами семьи строятся на любви, лишенной персональной направленности, обращенной ко всем, сосредоточенным в этом божьем творении<sup>21</sup>. И все, чего ждет Бог взамен от человека – той же любви, обращенной к родителям (Rev. 54 и др.). Конструируя свою идентичность, затворница идет от общего к частному, от собирательного образа всех людей, всех душ к месту своей среди них и ее пониманию как части большого целого, большой единой семьи: «В глазах Господа, – утверждает она, – все люди, что один человек, а один, что все» (Rev.51). Уже этим она затушевывает свою столь очевидную уникальность, не отделяя себя от многих. Кажется, именно поэтому про нее лично мы не знаем ничего. Созда-

ется обманчивое впечатление – и, видимо, оно было у ее современников – что такой подход, т.е. обезличивание, как раз исключает возможность гендерного прочтения личности затворницы<sup>22</sup>.

Это впечатление усиливается от изображения взаимоотношений души и тела, уподобленного грязному, зловонному, бесформенному болоту, из которого душа пытается вырваться (Rev. 64). Показателен в этой связи выбор образа «болота»: затягивающей, липкой первоначальной строительной субстанции всего – и человека, и окружающего мира. Опять же бесформенность и объективация тела, взятого как обезличенная плоть человечества, должны были бы способствовать максимальному устранению индивидуального и личного, их растворению в коллективной идентичности собратьев-христиан, а автоматически – устранению гендерной составляющей идентичности.

В отличие от затворницы Марджери уделяет гораздо больше внимания «телесному низу», а вот то, что принадлежит к области души, скорее относит к области секретов, о которых умалчивает ввиду невозможности выразить словами.

Взаимоотношения с телом – в первую очередь собственным – у Марджери гораздо сложнее. Можно сказать, что ее построение идентичности во многом связано с преодолением собственной телесности. В ее рассуждениях присутствует банальное соотношение телесного с дьявольским (и она с удовольствием «списывает» все телесные искушения на него). Хотя существеннее то, что именно телесная трансформация является для нее важной составной частью духовного восхождения, а не только его выражением. Понятие очищения носит для нее вполне материальный смысл. Говоря об очищении духовном, она тесно связывает с ним телесную чистоту: постится, носит власяницу и т.п. (Book 317 и далее). Показательно, что утверждение: «она возненавидела радости мира», поясняется фразой: «Она не чувствовала восстановления плоти» (Book 303).

С одной стороны у Марджери присутствует позитивная трактовка своего тела. Ее тело – медиум, посредник между нею и Богом: в этой связи она совершенно серьезно относится к евхаристии и стремится причащаться каждое воскресенье (Book 381), а ее видения, хотя и происходят у нее «в голове», «слышны и видны». Наконец, именно с телом связан способ говорения визионерки, точнее – она говорит телом.

Ее истерики – основной способ продемонстрировать окружающим нахождение в ней Бога. Таким образом, тело Марджери становится репрезентацией ее души. Важно отметить, что в любом случае это женское тело; и до, и после обращения она ищет именно женские модели и способы примирения с ним, конвенциональные и признанные (в отличие от затворницы, которая хотела бы от своего отказаться)<sup>23</sup>.

С другой стороны, телесность является для Марджери важной помехой в ее духовной миссии, и дело не только в соблазнах и потребностях тела, с которыми ей пришлось бороться (она сообщает о различных искушениях плоти, любви к нарядам и проч. (Book 196-199)), но и во внешних, мирских обстоятельствах его существования – и это для нее даже существеннее: ее претензиям на духовный авторитет мешал статус замужней женщины (жены и матери). Именно это обстоятельство доставляет ей особую печаль, она регулярно оплакивает свою телесную «нечистоту», имея в виду сожителство с мужем. «Девы веселятся на небесах, а я не могу, ведь я не дева» (Book 1150 и далее), регулярно жалуется она. В книге неоднократно поднимается вопрос о девстве. Служение Богу тесным образом связано для Марджери с целибатом. Святые, на которых она ориентируется и хотела бы походить, – Маргарита, Екатерина и Варвара – девственницы. Впрочем, от имени Бога она разрешает эту проблему: хотя ей сообщается свыше, что, конечно, статус девы лучше, чем статус женщины (Book 1115 и далее), но, во-первых, были женщины особо возлюбленные, из недостойных возвысившиеся: «Я могу недостойное сделать достойным», – говорит ей Господь (Book 1130-1331)<sup>24</sup>. А, во-вторых, для нее все это вообще не имеет значения, поскольку ее Бог любит, как и любую Деву (Book 1115).

Как выясняется далее, «любой», ее претензии не исчерпываются. Находится более подходящий пример девы-матери. Отметим, что Дева Мария, как типичный феминный образец для подражания, присутствует у обеих визионерок. Она олицетворяет «исконно женские» качества: кротость, терпение, сострадание, заботу и проч. Но отношения с Богоматерью женщины строят по-разному. Хотя затворница позиционирует себя как дитя Марии и Христа<sup>25</sup> (тоже носителя феминных качеств, унаследованных у матери), на личные отношения с ней она не претендует, несмотря на явление ей Марии в видениях (этого как бы не предполагает «обезличенная» сущность затворницы)<sup>26</sup>. Иначе видит свое место

среди небожителей Марджери. Она проходит своего рода инициацию, прислуживая Деве, Анне, Елизавете (Book Ch. 6) – подчеркнем, опять же выполняя исключительно женские и хорошо знакомые ей функции. Это ученичество отражает не столько стремление служить и подчиняться высшим существам, сколько претензию на учительный авторитет в отношении других, не столь приближенных лиц. И когда в уста Девы Марии вкладываются слова: «Дочь, я твоя мать, госпожа и наставница» (Book 1137-1148), то скорее это отражает уровень социальных претензий Марджери в миру и идентификацию себя с избранными. «Выучившись» необходимым добродетелям, она фактически начинает уподоблять себя самой Марии, если не претендовать на ее место. Теперь она уже ни много, ни мало «выходит замуж» за Бога-отца: «Беру тебя Марджери в жены», произносит он положенную для таких случаев формулу (Book 2027-2034). Теперь огонь любви ощущает она в своей груди (Марджери не преминула подчеркнуть знакомство с классикой жанра – *Stimulus amoris*, *Incendium amoris* и др. – Book 3393-3394), о чем ей сказано – это проявление святого Духа (Book 2059-2067). При церемонии присутствуют Дева Мария и другие святые, заявляющие, что теперь-то она может наслаждаться жизнью вместе ними.

Скорее всего, Марджери говорит о браке в метафорическом смысле, когда неоднократно заявляет о близости между нею и Богом, подобной близости жены и мужа (Book 2097-2098, 2106 и др.). Как кажется, она не горит эротической любовью, что нередко наблюдалось в подобных случаях у других визионеров (хотя могла бы, при ее эмоциональности и ярко выраженной телесности); к тому же, наряду с женой, она фигурирует и как дочь, и как сестра. Тем не менее, на этот союз частично переносятся атрибуты брака земного, в частности Джону Кемпу дана отставка<sup>27</sup>. В конечном счете, метафора этот брак или нет, одно за ним точно стоит: все та же претензия на власть. Не зря постоянно подчеркивается избранность, особые тайны и секреты, которые она получает. (Заметим, Марджери прибегает опять же к сугубо женскому способу социальной мобильности – удачному замужеству). Можно предположить, что ее попытка осуществления женского способа приобретения власти и властвования, хотя бы частично, но удалась (или Марджери хочет, чтобы читатель так думал): священнослужители теперь рассматриваются как ее духовные сыновья и обращаются к ней «мать» (Book 2362, 2389-2390).

Итак, основные ценности обеих женщин сосредоточены на небе, обе они пытаются переосмыслить и перестроить свою идентичность так, чтобы туда попасть. Обе на этом пути имеют хорошее подспорье в виде «подсказок» сверху. Их видения не только освещают грядущий путь духовного становления, но и выступают своего рода гарантией правильности выбора и одновременно – свидетельством избранности, а, значит, личной уникальности, что опять же весьма существенно для построения идентичности. При этом понимание уникальности присутствует у обеих, но обходятся они с ним по-разному. Хотя текст затворницы написан от первого лица (она все время говорит «Я»)<sup>28</sup>, но это местоимение скорее выражает присутствие рассказчика, поскольку как только рассуждения начинают касаться общезначимых вещей, затворница сразу переходит на «мы», говоря от лица всех верующих христиан. Марджери ведет повествование от третьего лица, именуя себя *creatur* («тварь», «создание»), но текст насыщен местоимением «она» и подчеркиванием ее уникальности. Слова, свидетельствующие о ее особых достоинствах, она вкладывает в уста Иисуса Христа, что, безусловно, должно повысить их значимость. Сообщение о том, что она вещает от имени Бога, находящегося в ней, должно вызывать, при таком авторитетном авторстве, куда больше доверия. (Book 514-515). И любовь Бога тоже предназначена лично ей: «Дочь, еще не было ребенка, столь угодного отцу» (Book 706-707)<sup>29</sup>.

Уже на основании сказанного можно отметить разницу в репрезентации индивидуальной идентичности двух женщин. У затворницы она максимально затушевана, и скорее всего сознательно, как не имеющая социальной значимости, и потому плохо поддается реконструкции, в то время как у Марджери, стремящейся доказать всем свою исключительность, именно индивидуальная идентичность выходит на первый план. Зато с конструированием коллективной идентичности дело обстоит ровным счетом наоборот. Если затворница излагает свое понимание христианского универсума, принципы его построения и место в нем человека, репрезентируя себя как одного из равноправных членов сообщества, то Марджери осмысливает себя через разрыв с ним, реализуя конфликтную модель. Затворница строит коллективную идентичность всех христиан, рассматривая себя как частный случай, а Марджери, наоборот, идет от своей уникальности, от индивидуальной идентичности. Парадоксаль-

ность ситуации состояла в том, что Марджери перебирала и примеривала на себя существующие и в целом признанные модели женской идентичности (единственное, что с ними не увязывалось – это ее «маскулинные» претензии на авторитет и власть), в то время как построения затворницы были исключительно умозрительной конструкцией. При этом за ее рассуждениями сквозила ересь, а у Марджери давал сбой довольно безопасный и конвенциональный вариант.

Как представляется, именно вектор определял результат усилий двух женщин: универсализм одной и эгоцентризм другой в построении идентичности были причиной их социального успеха и неудач. За счет того, что Марджери акцентировала свою индивидуальную идентичность, а затворница – коллективную, восприятие их личной, и в том числе гендерной идентичности оказалось разным. Гендерная идентичность так или иначе проявлялась у обеих женщин, хотя они обе пытались ее перекраивать: одна «устраняла», другая – в рамках женских же моделей – перестраивала, причем они обе делали это совершенно осознанно. Но если с претензиями Марджери, подчеркивающей свою феминность и действовавшей женскими способами, далеко не все готовы были согласиться, то затворница фактически «скрыла» свой пол, «пряча» гендерную идентичность вместе с индивидуальной за коллективной, приобретя, таким образом, право на голос и учительный авторитет<sup>30</sup>.

---

<sup>1</sup> Исследование осуществлено в рамках проекта «Гендер и власть в истории», проводимого по программе фундаментальных исследований Отделения историко-филологических наук РАН «Власть и общество в истории».

<sup>2</sup> «Книга Марджери Кемп» создана в 20-е-30-е гг. XV в., «Откровения божественной любви», написаны в конце XIV в. Мы пользовались электронной версией книги Марджери, выполненной по изданию: *The Book of Margery Kempe / Ed. Lynn Staley. Kalamazoo, 1996* (далее – Book).

«Revelations of Divine Love» / «Откровения божественной любви», озаглавленные также в одной из версий «Revelations to one who could not read a letter» / «Откровения той, что не могла прочесть письма», существуют в нескольких редакциях, составленных самой затворницей в различные периоды ее жизни. Так называемая *Краткая версия*, как полагают, была записана вскоре после получения видений. *Пространная редакция* появилась многие годы спустя. При работе мы пользовались изданием «Julian of Norwich' Showings» (New Jersey, 1978) (Далее Sh. Sh.t.) и электронными версиями: Warrack G. *Revelations of Divine Love. L., 1901* (далее – Rev.)

и Glasscoe M. A Revelations of Love. Exeter, 1976. Ввиду сложности адекватного перевода на русский язык имени Julian, известной у нас как Юлия, Юлиана, Юлиания, Иулана, Иулиания, Джулианна и др. (Норвичская и Нориджская), мы будем обозначать ее как затворница, тем более что настоящее ее имя не известно, и, как представляется, именно потому, что сама она стремилась к анонимности.

<sup>3</sup> Подробнее об их биографиях см.: Суприянович А.Г. Опыт прочтения духовной биографии // История через личность: историческая биография сегодня. М., 2005. С. 167-187; Она же. «Историческая» память в женской визионерской литературе позднего средневековья // История и память: Историческая культура Европы до начала Нового времени. М., 2006. С. 388-409; Она же. Гендерная идентичность и гендерный «сбой»: случай Марджери Кемп // Социальная идентичность средневекового человека. В печати.

<sup>4</sup> Мы опираемся на определение идентичности, сформулированное Яном Ассманом. Его разделение индивидуальной, личной и коллективной идентичности см.: Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Пер. М.М. Сокольской. М., 2004. С. 139-142.

<sup>5</sup> Как уже нами отмечалось ранее, драматическая биография Марджери Кемп без ее анализа вряд ли может быть вообще понята. Именно ситуация «гендерного сбоя» во многом была причиной ее жизненных неудач и, не исключено, что косвенно даже повлияла на появление нового жанра в английской литературе XV в. См.: Суприянович А.Г. Гендерная идентичность и гендерный «сбой»: случай Марджери Кемп.

<sup>6</sup> Особенно много такой информации содержит книга Марджери. Хотя мирская биография затворницы максимально выведена «за кадр» (что сильно затрудняет выяснение фактов из ее мирской жизни), тем не менее, ее труд, хотя бы по форме и уровню декларируемых претензий, не богословский трактат ученого монаха, но изложение духовного пути «простой» женщины. Более того, претендуя на большее, она сильно рисковала бы, учитывая религиозно-политическую обстановку ее времени, а вот «безыскусно» поделиться опытом вполне могла.

<sup>7</sup> Сами женщины это отлично понимали и нередко определяли себя как «неученые» (unlettered), ссылались на одобрение церкви и ее представителей – мужчин (Rev. Ch. 2 и др.).

<sup>8</sup> Первый ее помощник умер. Другой долго не мог понять смесь английского с немецким, на которой писал предыдущий волонтер. Долгие годы шел процесс работы, и только чудесным образом книга, наконец, была составлена.

<sup>9</sup> Это и «хаотичность» структуры, бывшая долгое время предметом презрения исследователей мужчин, и эмоциональность текста, и та же «необразованность» авторов, и многое другое.

---

<sup>10</sup> Интересно, что она пытается представить эти роли не как основание для построения идентичности, но наоборот, как элемент травматического опыта, который она пытается преодолеть.

<sup>11</sup> Речь идет в данном случае о семье ее родителей, сомнительно, чтобы у нее была собственная. Не исключено, что в ее концепции человека (как ребенка по отношению к родителям, воплощенным в разных ипостасях Троицы), нашла отражение ее собственная биография.

<sup>12</sup> Во время первой беременности Марджери на восемь недель «повредила в уме», так что не исключено, что и после поправки здоровья окружающие продолжали воспринимать ее как не вполне нормальную. Надо отдать должное ее мужу, не только заботившемуся и жалевшему жену, но и с готовностью признавшего ее нормальность и полноценность после того, как Марджери пришла в себя, хотя далеко не все близкие были с ним согласны (Book 147-181).

<sup>13</sup> Хотя Марджери прослеживает начало свое духовного пути с более раннего времени, а структура текста не дает возможности восстановить точную последовательность событий, общий контекст ее книги позволяет сделать этот вывод.

<sup>14</sup> Статус и влияние этих дам не оставляет Марджери равнодушной, так, она рассказывает о Маргарите Флорентийской, встреченной ею во время паломничеств, путешествующей с большой свитой и помпой (Book 1844-1848).

<sup>15</sup> В данном случае речь идет о важной, но все же лишь составной части их идентичности, и ни в коем случае не о построении идентичности писателя.

<sup>16</sup> Подтверждением является все та же Марджери, ездившая к ней за советом и одобрением; надо полагать, она была не единственной (Book 955 и далее).

<sup>17</sup> Рассказ о том, что сама она восприняла свои видения как бред, и лишь серьезное отношение священника заставило ее устыдиться (Rev. 15:66) и сменить к ним отношение, в равной степени может быть и хорошим политическим ходом, и безыскусной правдой.

<sup>18</sup> С одной стороны их можно рассматривать как элементы идентичности визионерки, поскольку они носят подчиненный статус и являются средством ее выражения. С другой – с социальной точки зрения они могут рассматриваться как самостоятельные идентичности. Вряд ли их носительница их четко разграничивала.

<sup>19</sup> Так, типична ее репрезентация как невесты Христовой, отражающая распространенную гендерную модель, подразумевающую, что невеста должна подчиняться, ее нужно защищать, ею руководить и проч. Очевидно, что традиционной дихотомии маскулинного и феминного для анализа моделей идентичности позднего Средневековья, обладавших значительной спецификой и не соответствующих современным моделям, абсолютно недостаточно.

---

<sup>20</sup> О гендерном ракурсе прочтения образа Бога см.: Суприянович А.Г. Когда мать – не женщина: «Откровения божественной любви» Юлии из Нориджа // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 3. М., 2000. С. 149-162.

<sup>21</sup> При ближайшем рассмотрении вопрос о входящих в это число и предназначенных к спасению оказывается совсем не прост, но сейчас он лежит за рамками нашего исследования.

<sup>22</sup> На деле ее бесполость обернулась феминизацией второго лица Троицы (см.: Суприянович А.Г. Когда мать – не женщина...). Дефеминизации затворницы, конечно, способствовал и ее статус, ее лично мало кто видел, а в трактате автор вполне мог выглядеть безлично.

<sup>23</sup> Не исключено, что это связано с травматическим опытом в связи с тяжелой болезнью.

<sup>24</sup> На этом основании некоторые полагают, что она себя ассоциировала с Марией Магдалиной, что сомнительно.

<sup>25</sup> И Мария, и ее сын в некотором роде являются матерью человечества.

<sup>26</sup> Более того, видение о слуге и господине четко расставляет иерархию между Богом и человеком (Rev. 51).

<sup>27</sup> В интимной сфере. Под одной крышей они продолжали проживать и далее.

<sup>28</sup> Периодически Иисус обращается к ней «дорогая», но это обращение скорее призвано характеризовать отношения Бога и человека, чем определить ее личное место.

<sup>29</sup> Заметим, в этом и в других обращениях, например «ты мне дочь, мать, сестра, невеста» (Book 713), она выбирает исключительно женские роли, уже не предполагающие обезличивания.

<sup>30</sup> Она реализовала устоявшиеся мужские методы властвования, в том числе обращаясь к письменному слову.

## Феномен Клод дез Армуаз и проблема самоидентификации французов XV в.

Любителям т.н. альтернативной истории хорошо знакомо имя Клод дез Армуаз<sup>1</sup>. Известно оно и историкам, специалистам по *études johanniques* – эпохе Жанны д'Арк. Ведь Клод дез Армуаз – первая и наиболее известная самозванка, выдававшая себя за французскую героиню, не сожженную якобы на костре в Руане в 1431 г., а счастливо избежавшую смерти и спустя несколько лет появившуюся вновь на исторической сцене.

В отличие от многих других самозванцев, в разное время и с разным успехом выдававших себя за известных людей прошлого, о Клод дез Армуаз мы знаем довольно много<sup>2</sup>. Самые ранние сведения о ней происходят из трактата немецкого инквизитора Иоганна Нидера «*Formicarius*», написанного в 1436-1438 гг. По его сведениям, родом Клод была из Кёльнского диоцеза<sup>3</sup>, о чем Нидеру поведал его коллега, доминиканец Генрих Кальтайзен<sup>4</sup>. Одевалась она по-мужски и вела жизнь воина<sup>5</sup>. Еще проживая в Кёльне, Клод оказала поддержку одному из кандидатов на кафедру архиепископа Трира, что помогло ему одержать победу<sup>6</sup>. Когда же ее вызвали в суд местного инквизитора, она, благодаря помощи графа Ульриха фон Вюртемберга, сбежала во Францию и там обнаружила свою «истинную натуру», начав открыто сожительствовать со священником из Меца, хотя к этому времени уже была замужем<sup>7</sup>.

Последние события происходили, очевидно, в мае 1436 года, т.к. именно к этому времени относятся и другие известия о появлении в Лотарингии «новой» Девы Жанны (*La Pucelle Jehanne*), причем в компании двух братьев настоящей французской героини<sup>8</sup>. Пьер и Жан д'Арк, утверждавшие поначалу, что их сестра была сожжена, «узнали ее как только увидели, и она их тоже узнала»<sup>9</sup>. Жители Меца, вероятно, также поверили Клод и преподнесли ей дорогие подарки, в том числе меч и коня. В Меце новоявленная Жанна задержалась надолго, совершив оттуда ряд паломничеств в святые места: в Нотр-Дам-де-Льесс около Лана, в Арлон, расположенный в герцогстве Люксембургском, в Кёльн, а затем снова в Арлон, где в конце концов Клод обосновалась при дворе герцогини Елизаветы Люксембургской<sup>10</sup>. В том же году она вышла замуж за Роберта дез Армуаза, чья семья, вероятно, происходила из Лотарингии<sup>11</sup>.

Спустя небольшое время уже вместе с супругом Клод снова возвратилась в Мец, где проживала в собственном доме

семейства дез Армуаз, в котором, по слухам, затем еще долго хранился ее портрет<sup>12</sup>. Как свидетельствуют источники, в это время она вела активную переписку, пытаясь установить контакты с властями Орлеана<sup>13</sup>, а также с Карлом VII. Что из этого вышло, нам, однако, не известно<sup>14</sup>.

Вновь на политической арене Клод дез Армуаз возникла в июле-сентябре 1439 г. В это время она (по-прежнему в компании братьев Жанны д'Арк) находилась в Орлеане, где, судя по сохранившимся счетам<sup>15</sup>, ей была оказана самая радушная встреча<sup>16</sup>. В частности, от имени городан по решению городского совета ей был сделан некий подарок, стоимостью в 210 парижских ливров, «за то добро, которое она совершила во время осады [Орлеана]»<sup>17</sup>. Из документов, обнаруженных в английских архивах, следует, что в это же время или годом раньше Клод вступила в королевское войско и принимала участие в походах в Пуату и, возможно, в Мэн, причем под командованием Жилия де Ре<sup>18</sup>.

Однако уже летом 1440 г. Клод была вызвана в Париж: Университет и Парламент желали удостовериться в личности «новой» Жанны д'Арк, допросив ее в суде<sup>19</sup>. Там она была вынуждена признаться во лжи и рассказать о своей прежней жизни<sup>20</sup>, в частности о пребывании (очевидно, в период между 1436 и 1439 г.) в Италии, где она, якобы, добилась отпущения грехов у самого папы римского<sup>21</sup> и где вступила в войско Евгения IV и принимала участие в нескольких военных операциях<sup>22</sup>.

Что стало с Клод дез Армуаз после публичного разоблачения 1440 г., точно никто не знает. В этот же период, по сообщению Пьера Сала, некая интриганка, выдававшая себя за Жанну д'Арк, была разоблачена лично Карлом VII<sup>23</sup>. Возможно, речь шла именно о Клод<sup>24</sup>. Возможно также, что она была еще жива (или ее считали таковой) в 1443 г., на что косвенно намекает текст дарения, полученного Пьером д'Арк 28 июля того же года<sup>25</sup>. В этом документе о Жанне говорится как о *живой* и все еще, как и ее брат, пребывающей на службе короля<sup>26</sup>. Однако, никакими иными сведениями о последующей судьбе Клод дез Армуаз мы не располагаем: сообщения о некоей «Деве из Сомюра», относящиеся к 1457 г., скудны и не дают возможности предположить, что речь могла идти об одной и той же женщине<sup>27</sup>.

За исключением сторонников альтернативной версии (т.н. сюрвивистов)<sup>28</sup>, историки единодушно называют Клод дез Армуаз самозванкой, авантюристкой, обманщицей<sup>29</sup>. Они не могут понять, почему поверили ей братья реальной Жанны д'Арк и почему они всячески ее поддерживали, особенно учитывая то пикантное обстоятельство, что буквально через 10 лет они по-

ставили свои имена под прошением о пересмотре дела их несправедливо казненной сестры (чьа гибель на сей раз, надо думать, не вызывала у них сомнений)<sup>30</sup>.

Как представляется, ближе всех к разгадке этой тайны подошел Анатоль Франс, писавший, что братья Жанны поверили в Клод дез Армуаз потому, что «хотели, чтобы это было правдой». Г. Лефевр-Понталис, цитирующий слова французского писателя и присоединяющийся к ним<sup>31</sup>, впрочем, никак не поясняет, почему они так хотели, чтобы это было правдой. Зачем вообще окружающим понадобилась живая Жанна д'Арк в 1436 г., когда появилась Клод дез Армуаз? Чего от нее ждали? Чем или кем она была или должна была стать для французов?

\*\*\*

На самом деле ничего удивительного, с моей точки зрения, в искренней (или не слишком искренней<sup>32</sup>) вере французов в новое пришествие той самой Жанны д'Арк нет и не было. Момент ее появления (т.е. появления Клод дез Армуаз) – 1436 год – был выбран чрезвычайно удачно. О ней заговорили вскоре после подписания договора в Аррасе (сентябрь 1435 г.), знаменующего начало последнего этапа Столетней войны. Герцог Филипп Бургундский заключил с Карлом VII соглашение, по которому признавал его королем, и перешел на сторону Франции. Это событие было ускорено, как отмечают исследователи, рядом поражений, которые англичане потерпели в Понтье и Иль-де-Франсе, а также смертью герцога Бедфорда (последовавшей именно в сентябре 1435 г.). Перемирие отвечало и собственным интересам Бургундии<sup>33</sup>. «Гражданская война»<sup>34</sup> была таким образом закончена, и французы могли отныне рассчитывать на бургундцев в противоборстве с англичанами, которые воспылали к союзникам, по меткому замечанию Тома Базена, «новой ненавистью»<sup>35</sup>. Перед сторонниками Карла VII отныне открывалась возможность окончательного изгнания врага с французских земель, поскольку «других противников у них не осталось»<sup>36</sup>. Именно в это время, по мнению Колетт Бон, французы начали ощущать себя как единое целое, как нация, в становлении которой решающую, возможно, роль сыграла настоящая Жанна д'Арк<sup>37</sup>.

Освобождение Франции от англичан было одной из основных задач, поставленных перед собой Жанной<sup>38</sup>. И только она осталась невыполненной, о чем сама героиня, если верить материалам обвинительного процесса 1431 г., сожалела до конца своих дней. В Руане она заявляла судьям, что если ей удастся бе-

жать из плена, она обязательно вернется в войска, дабы завершить начатое ею дело<sup>39</sup>.

Жанна должна была исполнить предназначенное Свыше – ради такой цели она могла, с точки зрения ее современников, вернуться вновь на политическую арену<sup>40</sup>. Не случайно в т.н. «Хронике Лотарингии», созданной в правление Карла VIII, именно Жанне д'Арк приписывались абсолютно все победы над англичанами, одержанные войсками Карла VII: не только взятие Орлеана, Пате и Реймса, но и освобождение Нормандии и Гиени, взятие Парижа, Бордо, Дьеппа, Кана и, наконец, Руана, под стенами которого Жанна падала в обморок, расцененный окружающими как знак Свыше<sup>41</sup>. Именно «Хроника Лотарингии», по замечанию Г.Лефевра-Понталиса, положила начало вере в то, что Жанна д'Арк не умерла<sup>42</sup>. Ту же мысль всячески развивали и более поздние сочинения – например, анонимная «La Poncelette d'Orléans», написанная около 1460 г.<sup>43</sup>, и основанная на ней испанская «Хроника дона Альваро де Луна»<sup>44</sup>: в обоих текстах речь шла об освобождении Ла-Рошели (никогда, насколько известно, не находившейся под английским владычеством), в котором Жанне д'Арк помогали специально приглашенные ею испанцы<sup>45</sup>.

Такое понимание происходящего лучше всего, как мне кажется, отвечало восприятию самой Жанны д'Арк ее современниками и ближайшими потомками. Ведь Жанна уже при жизни – как мало кто из реально существовавших исторических персонажей – обладала неоспоримым статусом *героя*, причем героя *эпического*, со всеми присущими ему, согласно прежде всего литературной традиции, неотъемлемыми признаками. В сознании окружающих происходила таким образом не просто *мифологизация* образа Жанны<sup>46</sup>, но именно его «*эпизация*», на что впервые обратил внимание французский исследователь Жан-Марк Пастре<sup>47</sup>.

На мой взгляд, все выделенные Пастре поведенческие инварианты, свойственные эпическому герою, в большей или меньшей степени соответствуют *любому* описанию эпопеи Жанны д'Арк. Это и предназначение героя; и его появление, предсказанное в пророчествах; и подозрения в незаконном происхождении; и необычные / неясные обстоятельства рождения; и неизвестное место рождения; и смена местожительства, имени и общественного положения при вступлении на историческую сцену; и удивительно быстрое освоение воинского искусства; и триумфальные завоевания; и бескорыстная служба суверену, законность притязаний которого на престол также подтверждается героем.

Единственный элемент судьбы подлинного эпического героя, ускользнувший от внимания французского исследователя, – *героическая смерть* протагониста – оказывается особенно существенным в случае Жанны д'Арк<sup>48</sup>. Настоящий герой *обязан умереть*, он *обречен* на смерть, и чем «правильнее» она будет, тем большим почетом будет окружен герой после нее<sup>49</sup>. Однако героическая смерть отнюдь не финальный момент его судьбы, ибо она не мыслится как явление окончательное, необратимое<sup>50</sup>. Эпический герой – но только он один – может и воскреснуть<sup>51</sup>. И это правило столь же непреложно, как и его неминуемая гибель.

Примеры таким «воскресших» героев знала уже античная история (собственно, и подарившая европейской культуре самого эпического героя<sup>52</sup>). Это были и мифологические персонажи – Кронос, который, по одной из версии мифа, после своего низвержения в Тартар царствовал на Островах Блаженных<sup>53</sup>; Геракл, обожествленный и взятый на Олимп, где его супругой стала Геба<sup>54</sup>; Ахилл, женившийся после своей смерти на Елене и ставший правителем на острове Левка<sup>55</sup> – и реально существовавшие люди: например, император Нерон, после смерти которого в 68 г. в источниках трижды фиксировалось появление Лже-Неронов<sup>56</sup>.

Та же ситуация много раз повторялась и в Средние века. Достаточно вспомнить легендарного короля Артура, после смерти отправившегося, как и многие его рыцари, на остров Авалон, чтобы стать его правителем<sup>57</sup>. Что касается реальных событий, то помимо хорошо всем знакомого Мартина Герра<sup>58</sup>, последовательно «воскресали», к примеру, английские короли Эдуард II (1284-1327), Ричард II (1367-1400) и Эдуард VI (1537-1553)<sup>59</sup>. В 1423 г. в Генте во Фландрии вдруг объявилась некая женщина, выдававшая себя за Маргариту Бургундскую. Жители, никогда не видевшие настоящую сестру Филиппа Доброго, приняли ее как настоящую принцессу и содержали за свой счет в течение нескольких недель. Понадобилось личное вмешательство герцога, предъядвившего делегации Гента подлинную Маргариту, чтобы самозванку изгнали из города<sup>60</sup>.

В более позднее время подобных авантюристов также вполне хватало. Историкам известны несколько самозванцев, выдававших себя в конце XVI-начале XVII в. за португальского короля Себастьяна, и несколько десятков человек, начиная с 1795 г. с разным успехом претендовавших на имя Людовика XVII<sup>61</sup>. Затрагивая проблему самозванничества в своем исследовании о Жанне д'Арк, Леон Мужено приводит редкое свидетельство о маршале Нее, не расстрелянном Бурбонами, но якобы проживавшем впоследствии в Северной Каролине (США)<sup>62</sup>. «Воскресшие» ца-

ревич Дмитрий, Петр III, Александр I и Анастасия Романова могут быть рассмотрены в том же ряду. И даже «народный» герой Гражданской войны Василий Чапаев, трагически утонувший при переправе через Урал, победоносно выныривал, если довериться «Боевому киносборнику», выходявшему в 1941-1942 гг., из той же самой реки прямо перед носом фашистских захватчиков<sup>63</sup>.

Поэтому и новое пришествие Жанны д'Арк (за которую выдала себя Клод дез Армуаз) не следует рассматривать как нечто особенно удивительное. Не являлось оно таковым и для современников событий, поскольку с точки зрения «эпического сознания», которое было им присуще ничуть не меньше, чем их далеким предкам, происходящее представлялось вполне в порядке вещей.

Ведь эпический герой «воскресает» обычно в трудные моменты – именно тогда, когда его страна, вся нация переживает некий кризис (политический, экономический, военный и т.д.), когда она особенно сильно нуждается в лидере – безусловном, таком, за которым пойдут все и без раздумья<sup>64</sup>. Так и Жанна д'Арк всегда возвращалась к французам в те моменты, когда в ней возникала необходимость: «лично», как в 1436 г., или как символ, что происходило множество раз в более поздние периоды. И если солдатам Людовика XVIII она была не очень-то, как они считали, и нужна, чтобы отвоевать Францию у революционных войск<sup>65</sup>, необходимость в ней как в «знаменосце национального достоинства» особенно ощущалась после падения Наполеона и франко-прусских войн<sup>66</sup>. Ее присутствие было важно для французов как в Первую, так и во Вторую мировые войны, и она действительно была с ними – в рекламе, в пропагандистских плакатах, в театре и кинематографе<sup>67</sup>. И везде ее образ интерпретировался одинаково: в ней видели безусловного лидера нации, ведущего свою страну к окончательной победе над врагом.

В этом же образе пыталась предстать перед французами XV века Клод дез Армуаз. Но именно как лидер нации, как военачальник Клод проиграла настоящей Жанне.

Внешние формальные признаки в первый момент, очевидно, на самом деле заставляли окружающих поверить в «воскрешение» французской героини. Она снова, как когда-то, появилась в Лотарингии, умела держаться верхом на коне и владела оружием. Она – как настоящая Жанна – была одета в мужской костюм<sup>68</sup> и называла себя Девой. Да и политические шаги она поначалу предпринимала вполне верные: совершала паломничества (свидетельствовавшие о ее набожности), поддерживала «правильного» кандидата на кафедру Трирского архиепископа (как в свое

время Жанна поддержала дофина Карла), пыталась вступить в переписку со «своим» королем и, наконец, на какое-то небольшое время возглавила военный отряд. Она даже совершила пару чудес, превратив разорванную надвое ткань в единое целое и восстановив разбитое стекло, но ее действиями сразу же заинтересовался Кёльнский инквизиционный суд<sup>69</sup>, и ей пришлось прекратить свои попытки выдать себя за святую, что вполне, если верить источникам<sup>70</sup>, удавалось подлинной Жанне д'Арк<sup>71</sup>.

И все же внешнего сходства Клод явно не хватило, чтобы сыграть свою партию убедительно<sup>72</sup>. Причем несоответствия выбранной роли, подмеченные уже современниками событий, имели прежде всего *морально-нравственный* характер. Клод дез Армуаз, по ее собственному признанию, не была девственницей, мало того, имела мужа и двух сыновей, о чем в первую очередь сообщает т.н. Парижский горожанин, который, надо полагать, в этом и видел главный «недостаток» новоявленной спасительницы Франции. На самом деле девственность Жанны д'Арк действительно была одним из основных, если не важнейшим условием успешности ее миссии. Многие авторы связывали поражение Жанны и ее гибель с утратой этой важной составляющей ее облика<sup>73</sup>. Девственность Жанны, таким образом, была неотъемлемым ее качеством именно как военачальника.

Против Клод говорили и некоторые другие известные нам «прегрешения»: сожителство со священником; несдержанность в еде; оскорбление, нанесенное матери и, наконец, два убийства, которые она совершила, будучи в Италии. Настоящая Жанна д'Арк не могла, с точки зрения современников, никого убить: она и сама полностью отрицала подобную возможность на своем процессе в 1431 г.<sup>74</sup> Подобное морально-нравственное несоответствие Клод дез Армуаз истинной Жанне д'Арк шло вразрез с возвышенным - «эпическим» - представлением о французской героине, в рамках которого она отличалась и должна была отличаться полной непогрешимостью, моральной и юридической правотой<sup>75</sup>.

Впрочем, на эти недостатки смогли обратить внимание лишь те из современников, кто обладал определенной культурой и образованием: немецкий инквизитор Иоганн Нидер, анонимный монах-хронист из Меца, близкий к университетским кругам Парижский горожанин. Эти люди были готовы использовать свой здравый смысл и жизненный опыт при встрече с «воскресшим» героем. Для нас же, как мне кажется, важнее представляется то обстоятельство, что все прочие современники событий и, прежде всего, французы были настроены на появление старой/новой Жанны д'Арк, были готовы ей верить и идти за ней до конца. И с

этой точки зрения, явление Клод дез Армуаз не может расцениваться как нечто уникальное или феноменальное. Скорее, следует говорить об особенностях самосознания французов XV в. – об их все еще «эпическом» сознании, позволившем им легко поверить в ожившую национальную героиню.

<sup>1</sup> Статья подготовлена при поддержке гранта Американского Совета Научных Сообществ в области гуманитарных наук (ACLS Humanities Program).

<sup>2</sup> Наиболее полное собрание документов о Клод дез Армуаз: Quicherat J. Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle. P., 1841-1849. 5 vols. T. 5. P. 321-336.

<sup>3</sup> Забавно, что в начале XIX в. в Клод дез Армуаз видели, в частности, родную сестру Жанны д'Арк, Екатерину, умершую, насколько известно, еще до 1429 г. (Le Brun de Chamettes Ph.-A. Histoire de Jeanne d'Arc. P., 1817. T. 4. P. 291-306).

<sup>4</sup> «habemus hodie sacrae theologiae professorem insignem fratrem Heinricum Kaltyseren, inquisitorem haereticae pravitatis. Hic cum, anno proxime praeterito, inquisitionis officio in civitate Coloniensi insisteret, ut mihi ipse retulit, percepit circa Coloniā quamdam virginem esse quae in habitu virili omni tempore incessit.» – Quicherat J. Op. cit. T. 5. P. 324.

<sup>5</sup> «Arma deferebat et vestimenta dissoluta, velut unus de nobilium stipendiariis, choreas cum viris ducebat, et potibus ac epulis adeo insistebat» – Ibidem.

<sup>6</sup> «Et quia eodem tempore... sedem Treverensis ecclesiae duo pro eadem contentendentes graviter molestabant, gloriabatur se unam partem posse et velle inthronisare, sicut virgo Johanna... regi Carolo Francorum paulo antea fecerat, in suum regnum confirmando». – Ibid. P. 324-325.

<sup>7</sup> «Partes Alemaniae exivit metaque Galliae intravit, ubi militem quemdam... duxit in matrimonium. Deinde sacerdos quidam, leno vocandus potius, magam hanc verbis delinivit amatoris; cum quo postremo furtim recedens, Metensem civitatem intravit, ubi velut concubina suum habitans, quali spiritu ducta fuerit, cunctis fuit patenter ostensa». – Ibid. P. 325.

<sup>8</sup> «Le XX<sup>e</sup> jour de may, vint la Pucelle Jehanne qui avoit esté en France... et se faisoit appeller Claude. Et le propre jour y vinrent veoir ces deux frères». – Chronique du Doyen de Saint-Thibaud de Metz // Ibid. P. 321).

<sup>9</sup> «Et cuidoiēt qu'elle fut ars; et tantost qu'ils la virent, ils la congneurent, et aussy fist eulx». – Ibidem. P. 321-322. Этот отрывок, как, впрочем, и основная масса других источников, заставляет предположить, что Клод дез Армуаз воспринимали именно как выжившую, а не как воскресшую Жанну д'Арк.

<sup>10</sup> Ibid. P. 322-323.

<sup>11</sup> «Et là fait le mariage de messire Robert des Hernoises, chevalier, et de la dite Jehanne la Pucelle». – Ibid. P. 323.

<sup>12</sup> «Et puis après s'en vint ledit siour des Hernoises avec sa femme la Pucelle demourer en Metz, en la maison ledit sire Robert, qu'il avoit devant Sainte-Segoleine». – Ibidem. О предполагаемых изображениях Клод дез Армуаз см.: Vergnaud-Romagnési Ch. Des portraits de Jeanne d'Arc et de la fausse

Jeanne d'Arc // Mémoires de la société d'agriculture, sciences, belles-lettres et arts d'Orléans. 1853. Т. 1. P. 251-258.

<sup>13</sup> Власти Орлеана получали письма от «Жанны-Девы» в августе и сентябре 1436 г., как о том свидетельствуют городские счета (Quicherat J. Op.cit. Т. 5. P. 326-327). Из того же источника мы узнаем, что по крайней мере один раз в октябре 1436 г. Клод писала королю: «...pour porter les lectres qu'il apporta de la dicte Jehanne la Pucelle à Loiches, par devers le roy qui là estoit». – Ibid. P. 327.

<sup>14</sup> Из сохранившихся городских счетов мы, тем не менее, знаем, что брат настоящей Жанны, Жан д'Арк (или, как он назван в документе, Жан Дюлис), в августе 1436 г. домогался от властей Орлеана выплаты ему 12 турецких ливров, якобы обещанных ему королем, но по каким-то причинам не выплаченных из королевской казны. В своем прошении Жан указывал, что эти деньги необходимы ему для возвращения «к его сестре» (т.е. к Клод дез Армуаз) после визита, нанесенного Карлу VII: «Pour s'en retourner par devers sa dicte seur, disant qu'il venoit de devers le roy». – Ibid. P. 326.

<sup>15</sup> Это счета на оплату мяса и вина, которое новая Жанна д'Арк потребляла в весьма внушительном количестве (18, 29, 31 июля и 1 августа ей была в общей сложности выдана 51 пинта вина): Ibid. P. 331-332.

<sup>16</sup> О том же сообщает в своем дневнике Парижский горожанин: «Item, en celui temps, en amenèrent les gens d'armes une, laquelle fut à Orléans très honorablement reçue». – Journal d'un bourgeois de Paris de 1405 à 1449 / Texte original et intégral présenté et commenté par C.Beaune. P., 1990. P. 397. § 790. Любопытно, однако, что в то же самое время орлеанцы продолжали служить заупокойные мессы по «погибшей Жанне Деве», что совершенно ясно указывает на то, что веру в «чудесное спасение» Жанны разделяли далеко не все жители города (Vallet de Virville A. Histoire de Charles VII. P., 1863. Т. 2. P. 376).

<sup>17</sup> «A Jehanne d'Armoises, pour don à elle fait le premier jour d'aoust par déliberation faicte avecques le conseil de la ville et pour le bien qu'elle a fait à la dicte ville durant le siège; pour ce, 210 l.p.». – Quicherat J. Op. cit. Т. 5. P. 331.

<sup>18</sup> Vallet de Virville A. Notices et extraits de chartes et de manuscrits appartenants au British Museum de Londres // Bibliothèque de l'Ecole des Chartes. 1846. Т. 8. P. 110-147. О пребывании Клод дез Армуаз в королевских войсках свидетельствует также письмо о помиловании некоего Жана де Сикемвиля, по просьбе Жюль де Ре принявшего на себя командование отрядами, подчинявшимися до того момента «Жанне, которая называла себя Девой»: «Deux anz a ou environ, feu sire de Raiz, en son vivant nostre chambellan et mareschal de France, ... dist à icellui suppliant qu'il vouloit aler au Mans et qu'il vouloit qu'il prinst la charge et gouvernement des gens de guerre que avoit lors une appelée Jehanne, qui se disoit Pucelle». – Quicherat J. Op. cit. Т. 5. P. 333. Об участии Клод в военных операциях сообщал и Парижский горожанин: «Et quand elle fut à Paris, encore retourna en la guerre, et fut en gamison». – Journal d'un bourgeois de Paris. P. 398. § 790.

<sup>19</sup> Парижский горожанин настаивал в своих записях на том, что к 1440 г. обман уже был раскрыт: «Et quand elle fut près de Paris, la grande eueur

commença de croire fermement que c'était la Pucelle; et pour cette cause l'Université et le Parlement la firent venir à Paris bon gré mal gré». – Ibid. P. 397. § 790.

<sup>20</sup> «Et là fut prêchée et traitée sa vie et tout son état; et dit qu'elle n'était pas pucelle, et qu'elle avait été mariée à un chevalier dont elle avait eu deux fils». – Ibid. P. 397-398. § 790.

<sup>21</sup> Грех, который якобы совершила Клод, заключался в избиении собственной матери: «Elle avait frappé sa mère par mésaventure... Et pour cette cause lui convenait aller à Rome». – Ibid. P. 398. § 790.

<sup>22</sup> «Et pour ce, elle y alla vêtue comme un homme, et fut comme soudoyer en la guerre du Saint Père Eugène». – Ibidem.

<sup>23</sup> По сообщению хрониста, произошло это потому, что «Лже-Дева» (faulce Pucelle) не знала т.н. «секрета короля», который в свое время раскрыла Карлу подлинная Жанна д'Арк: «Dont il fut esbahi et ne sceut que dire, si non en la saluant bien doucement, luy dist: "Pucelle m'amy, vous soyez la très revenue, ou nom de Dieu qui sçait le secret qui est entre vous et mooy". Alors miraculeusement, après avoir ouy ce seul mot, se mit è genoulz devant le roy celle faulce Pucelle, en luy criant mercy; et sus le champ confessa toute la trayson». – Quicherat J. Op. cit. T. 4. P. 281.

<sup>24</sup> Косвенным свидетельством этому является тот факт, что Карл VII явно интересовался персоной новоявленной Жанны д'Арк. Об этом говорит его переписка с бальи Тура, относящаяся к 1438-1439 гг.: «Estre allé à Orléans porter lettres clouses que Mgr. le bailli rescripvoit au roy, nostre sire, touchant le fait de damme Jehanne des Armaises, et unes lettres que laditte damme Jehanne rescripvoit audit seigneur». – Ibid. T. 5. P. 332.

<sup>25</sup> Donation de l'île aux Boeufs au même Pierre du Lys // Quicherat J. Op.cit. T. 5. P. 212-214.

<sup>26</sup> «Il se partist (речь идет о Пьере – О.Т.) de son pays pour venir au service du roy nostre dit seigneur et de nous, en compaignie de Jehanne la Pucelle, sa soeur; avecque la quelle... et depuis jusques à present, il a exposé son corps et ses biens audit service et ou fait des guerres du royu». – Ibid. P. 213.

<sup>27</sup> По мнению Г.Левевра-Понталиса, в данном случае мы имеем дело со второй самозванкой, о которой стало известно, благодаря судебным документам: Лже-Жанна, совершив ряд преступлений, в 1457 г. была, очевидно, приговорена к смертной казни, которую ей, по личному решению герцога Анжуйского Рене II, заменили на изгнание из Сомюра и его окрестностей (Lefèvre-Pontalis G. La fausse Jeanne d'Arc. A propos du récit de M. Save // Le Moyen Age. 1895. T. 8. N 5. P. 97-112; N 6. P. 121-136, здесь N 5. P. 101). Напротив, А.Лекуа де ла Марш настаивал, что «Дева из Сомюра» и Клод дез Армуаз – одно и то же лицо (Lecoq de la Marche A. Une fausse Jeanne d'Arc. P., 1871. P. 18-19). О некоторых других самозванках, выдававших себя за Жанну д'Арк, см.: Beaune C. Jeanne d'Arc. P., 2004. P. 368-377.

<sup>28</sup> См., например: Save G. Jehanne des Armoises. Pucelle d'Orléans. Nancy, 1893; Grillot de Givry E.-J. La survivance et le mariage de Jeanne d'Arc. P., 1914 (переиздание: P., 1983); Grimod J. Jeanne d'Arc a-t-elle été brûlée? P.,

1952; Pesme G. Jehanne des Armoises, vraie Pucelle d'Orléans. Angoulême, 1960; Atten A. Jeanne-Claude des Armoises, de la Meuse au Rhin. Arlon, 1978. На русском языке: Амбелен Р. Драмы и секреты истории, 1306-1643. М., 1993; Нечаев С.Ю. Жанна д'Арк: Тайна рождения. М., 2005. Сюда, очевидно, следует отнести и потомков Клод дез Армуаз, и сегодня настаивающих на своем происхождении от Жанны д'Арк (Wamer M. Joan of Arc. The Image of Female Heroism. L., 2000. P. 187-188). На самом деле, как жестко, но весьма справедливо заметил в свое время Н.Лангле-Дюфреснуа, «господа дез Армуаз произошли от полковой девки» (Lenglet-Dufresnoy N. Histoire de Jeanne d'Arc, vierge, héroïne et martyre d'Etat. Orleans, 1753-1754. 3 vols. T. 2. P. 54).

<sup>29</sup> См., например: Lefèvre-Pontalis G. Op. cit.; Lecoq de la Marche A. Op. cit.; Wallon H. Jeanne d'Arc. P., 1879. T. II. P. 308-311; Vauchez A. Jeanne d'Arc et le prophétisme féminin des XVI<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècles // Jeanne d'Arc. Une époque, un rayonnement. P., 1982. P. 158-168, здесь P. 166; Wamer M. Op.cit. P. 187-188, 272; Beaune C. Op. cit. P. 371-373.

<sup>30</sup> Первое прошение о пересмотре дела Жанны д'Арк было подано в 1450 г. настоятелем собора Нуайона Гийомом Буйе: L'Enquête ordonnée par Charles VII en 1450 et le codicile de Guillaume Bouillé / Ed. par P.Doncœur, Y.Lanhers. P., 1956. Нужно, правда, отметить, что братья Жанны не давали показаний на самом процессе по ее реабилитации.

<sup>31</sup> Lefèvre-Pontalis G. Op. cit. N 5. P. 102.

<sup>32</sup> По счетным книгам Орлеана явственно просматривается материальная заинтересованность братьев Жанны д'Арк во втором пришествии их «сестры». Все то время, что они вместе с Клод проживали в городе, они находились на полном обеспечении у магистрата и местных жителей: Quicherat J. Op.cit. T. 5. P. 326-327, 331-332.

<sup>33</sup> Басовская Н.И. Столетняя война: Леопард против лилии. М., 2003. С. 326-327; Fraioli D. Joan of Arc and the Hundred Years War. Westport-L., 2005. P. 81, 94, 107-109, 153-156.

<sup>34</sup> Термин Деборы Фрайоли: Fraioli D. Op.cit. P. 94.

<sup>35</sup> «Anglorum legatis sine aliquo fructu cum sua vetere ad Francos querela atque inimicia, simul et odio ad Burgundiones ob hujuscemodi federa graviter accenso, ad propria abeuntibus». – Basin Th. Histoire de Charles VII / Ed. par C.Samaran. P., 1964. 2 vols. T. 1. P. 190.

<sup>36</sup> «Quiescentibus igitur ab armis adversum se invicem Francis et Burgundionibus, restabat jam Francis adversus Anglos dumtaxat arma vertere, quibus procul dubio facile prevalere et eos toto regno pellere non difficile multum fuisset». – Ibid. P. 194.

<sup>37</sup> Beaune C. La naissance de la nation France. P., 1985. P. 220, 228-229.

<sup>38</sup> «Item, dicit quod, antequam sint septem anni, Anglici dimmient maius vadium quam fecerint coram Aurelianis et quod totum perdent in Francia. Dicit etiam quod prefati Anglici habebunt maiorem perdicionem quam unquam habuerunt in Francia, et hoc erit per magnam victoriam quam Deus mictet Gallicis». – Procès de condamnation de Jeanne d'Arc / Ed. par P.Tisset. P., 1960. P. 83. О задачах, которые ставила перед собой французская героиня, и о раз-

личных трактовках этих задач у авторов XV в. см.: Тогоева О.И. Исполнение пророчеств: Ветхозаветные герои Столетней войны // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 2005 / Под ред. М.А.Бойцова и И.Н.Данилевского. Вып. 8. М., 2006. С. 88-106.

<sup>39</sup> «Et adhuc de presenti, se esset apud illos de alia parte in isto habitu virili, videtur ei quod esset unum de magnis bonis Francie, de faciendo quemadmodum ipsa per prius faciebat ante captivum suam». – Procès de condamnation de Jeanne d'Arc. P. 128; «Respondit quod, si daretur sibi licencia de recedendo in habitu mulieri, ipsa statim reciperet habitum virilem et faceret illud quod est sibi preceptum a Domino». – Ibid. P. 168.

<sup>40</sup> На эту особенность восприятия Жанны д'Арк французами XV в. указывал еще А.Лекуа де ла Марш: Lecoq de la Marche A. Op. cit. P. 4-5.

<sup>41</sup> «Dict à ceulx de l'armée: "Honnefleur, Herflour, Cam, Licieux, Averance, Saint-Michel, Alençon et tous le pays, tous il nous fault avoir; au retour devant Rouan sera nostre retour. Or, est-ce bien dire, allons y tous». – Chronique de Lorraine // Quicherat J. Op.cit. T. 5. P. 337.

<sup>42</sup> Lefèvre-Pontalis G. Op. cit. N 5. P. 103. В историографии сомнения в гибели французской героини были высказаны еще в XVII в. Габриэлем Нодде: Naudé G. Considerations politiques sur les coups d'estat. Rome, 1639. P. 99.

<sup>43</sup> La Poncella d'Orliens. [Imprimiose la presente cronica d'la Poncella en la muy leal ciudad de Sevilla por Dominico de Robertis a V de noviembre año de MD. XII]. 1460 годом ее датирует Т. де Пюимеж, хотя ее первое дошедшее до нас издание относится к 1512 г. На протяжении XVI в. хроника переиздавалась еще дважды – в 1551 и 1562 гг. Подробнее см.: Пуумаigre Th. de. La chronique espagnole de la Pucelle d'Orléans // Revue des questions historiques. 1881. T. 29. P. 553-566.

<sup>44</sup> Текст хроники Альваро де Луна, касающийся «ожившей» Жанны д'Арк, см.: Quicherat J. Op. cit. T. 4. P. 329-331. О влиянии на этого автора анонимной «La Poncella d'Orliens» см.: Пуумаigre Th. de. Op.cit. P. 564.

<sup>45</sup> «Como la Poncella llegó a ver aquella ciudad tan fuerte, vió que no havia remedio de la ganar por la parte de la tierra por ser el muro muy alto y toreado de la mejor cerca del mundo. Escribió luego la Poncella al Rey Don Juan de gloriosa memoria e embiolo sus embajadores, requienriendole por laliança y hermandad que con su señor el rey de Francia tenia le mandasse embiar algunas naos do armadara de los de sus reynos de Castilla». – La Poncella d'Orliens. P. 27; «Como la Poncela estando sobre la Rochela envio a pedir socorro al Rey e de lo que el condestable fizo por ella». – Quicherat J. Op. cit. T. 5. P. 329. Подробнее об иностранных и, в частности, испанских источниках, затрагивающих эпопею Жанны д'Арк, см.: Тогоева О.И. Жанна д'Арк и ее король: Взгляд со стороны // Политическая власть и средневековое общество в Западной Европе / Отв. ред. Н.А.Хачатурян. М., 2008 (в печати).

<sup>46</sup> О прижизненной мифологизации образа Жанны д'Арк см. прежде всего: Contamine Ph. Mythe et histoire: Jeanne d'Arc, 1429 // Contamine Ph. De Jeanne d'Arc aux guerres d'Italie: figures, images et problèmes du XV<sup>e</sup> siècle.

Orléans – Caen, 1994. P. 63-76; Idem. Une biographie de Jeanne d'Arc est-elle possible? // Images de Jeanne d'Arc / Sous la dir. de J.Maurice et D.Couty. P., 2000. P. 1-15.

<sup>47</sup> Pastré J.-M. Jeanne, l'imaginaire collectif et les invariants de la carrière politique // Images de Jeanne d'Arc. P. 109-116.

<sup>48</sup> Этот неотъемлемый элемент любой героической судьбы подробно рассмотрен в кн.: Михайлин В.Ю. Тропа звериных слов. Пространственно ориентированные культурные коды в индоевропейской традиции. М., 2005. Особенно с. 396-447. Я благодарна В.Ю.Михайлину за интересные соображения, высказанные им при обсуждении данного сюжета применительно к эпопее Жанны д'Арк.

<sup>49</sup> Михайлин В.Ю. Указ. соч. С. 183, 197.

<sup>50</sup> Михайлин В.Ю. Указ. соч. С. 400-401, 434.

<sup>51</sup> «Воскрешение» может рассматриваться здесь не только в буквальном смысле – как возвращение к жизни. Для французского эпоса, в частности, весьма характерно такое развитие сюжета, при котором герой временно уходит на покой (удаляется в свои владения, поступает в монастырь, отправляется погостить к друзьям и т.д.), но в критический момент возвращается к активной деятельности. Так возвращается, дабы снять осаду сарацин с Парижа, Гильом Оранжский в поэме «Монашество Гильома» (Волкова З.Н. Эпос Франции. История и язык французских эпических сказаний. М., 1984. С. 163; Михайлов А.Д. Французский героический эпос. Вопросы поэтики и стилистики. М., 1995. С. 305-306). Та же тема развивается в «Монашестве Ренуара», где главный герой возвращается из монастыря, чтобы отразить нападение сарацин на Оранж (Михайлов А.Д. Указ. соч. С. 306-307). Реальная смерть героя редко становилась сюжетом эпических поэм (Михайлов А.Д. Указ. соч. С. 145).

<sup>52</sup> Wardman A.E. Myth in Greek Historiography // Historia. 1960. Bd. 9. S. 403-413; Price T.H. Hero-Cult and Homer // Historia. 1973. Bd. 22. S. 129-144; Волкова З.Н. Указ. соч. С. 27.

<sup>53</sup> Словарь античности / Отв. ред. В.И.Кузицин. М., 1989. С. 295.

<sup>54</sup> Там же. С. 123, 129.

<sup>55</sup> Михайлин В.Ю. Указ. соч. С. 162.

<sup>56</sup> Словарь античности. С. 378.

<sup>57</sup> Михайлов А.Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе. М., 1976. С. 215, 230; Он же. Французский героический эпос. С. 148.

<sup>58</sup> Дэвис Н.З. Возвращение Мартена Герра. М., 1990; Она же. Еще раз о самозванцах: от Мартина Герра до Соммерсби // Homo historicus. К 80-летию Ю.Л.Бессмертного. М., 2003. Т. 2. С. 171-188.

<sup>59</sup> Thomas K. Religion and the Decline of Magic. L., 1973. P. 496-499; Warner M. Joan of Arc. The Image of Female Heroism. L., 2000. P. 332.

<sup>60</sup> Этот эпизод изложен в: Chronique des Cordeliers // BN. Ms. fr. 23018. F. 439v-440. См. о нем: Lefèvre-Pontalis G. Op. cit. N 6. P. 135.

<sup>61</sup> Подробнее см.: Варьяш О.И., Черных А.П. Португалия: дороги истории. М., 1990. С. 104-107; Бовыкин Д.Ю. Король умер?.. (Посмертная судьба

Людовика XVII) // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 2004 / Под ред. М.А.Бойцова и И.Н.Данилевского. Вып. 6. М., 2005. С. 328-350.

<sup>62</sup> Mougnot L. Jeanne d'Arc, le duc de Lorraine et le sire de Baudricourt. Nancy, 1895. P. 139. n. 1.

<sup>63</sup> Рассматривая эпопею Чапаева в рамках концепции героической смерти, В.Ю.Михайлин, к сожалению, не указывает на данное обстоятельство (Михайлин В.Ю. Указ. соч. С. 439-444).

<sup>64</sup> Не случайно и для французского средневекового эпоса основной темой является война, защита интересов королевства (Волкова З.Н.Указ. соч. С. 64; Михайлов А.Д. Французский героический эпос. С. 129).

<sup>65</sup> Любопытный диалог между солдатами армии Конде и республиканцами приводил один из современников событий, эмигрант Ж. де Прадель де Ламасс. Согласно его воспоминаниям, сторонник Людовика XVIII заявлял, что у них есть король, а потому Дева им не понадобится, чтобы завоевать королевство. Его противник, намекая на пассивность Людовика, отвечал, что по крайней мере одна девственница у них все же имеется – это шлага их короля: «Nos aspirations vont de l'autre côté du Rhin sur les bords duquel nous sommes postés, et, comme l'an passé, nous échangeons des dialogues avec les sentinelles de la rive gauche. Je n'en apporte qu'un seul :

Le soldat condéen. – Bonjour camarade ! Je t'annonce une bonne nouvelle ; nous avons le roi !

Le soldat patriote. – Et nous le royaume.

Le soldat condéen. – Nous le reconquerrons ; nous n'avons pas besoin de pucelle pour cela.

Le soldat patriote. – Vous en avez une pourtant.

Le soldat condéen. – Ah ! Et laquelle ?

Le soldat patriote. – L'épée de votre roi.

Le loyalisme nous empêche d'éclater de rire, mais nous en avons bien envie». – Pradel de Lamasse J. de. Notes intimes d'un émigré. P., 1913. P. 292. Я благодарна Д.Ю.Бовыкину за указание на этот отрывок.

<sup>66</sup> Подробнее об этом: Gury J. L'historien et les mythes de Jeanne d'Arc des Lumières au Romantisme // Jeanne d'Arc. Une époque, un rayonnement. P. 267-275.

<sup>67</sup> Об использовании образа Жанны д'Арк в пропагандистских целях см. прежде всего: Krumeich G. Jeanne d'Arc à travers l'Histoire. P., 1993.

<sup>68</sup> Любопытно, что в одном из более поздних откликов на появление Лже-Жанны, в хронике Филиппа де Виньоля, писавшего в начале XVI в., провал ее планов связывался с тем, что «она была одета в женское платье (estant en habit de femme)» (Quicherat J. Op.cit. T. 5. P. 324. n.1).

<sup>69</sup> «Mappam enim quamdam dicebatur lacerasse et subito in oculis omnium reintegrasse; et vitrum quoddam ad parietem a se jactatum et confractum in momento reparasse...Sed misera parere mandatis Ecclesiae renuit; comitem antefatum in tutelam, ne caperetur, habuit, per quem clam de Colonia educta, manus quidem inquisitoris, sed excommunicationis vinculum non evasit». – Ibid. P. 325.

---

<sup>70</sup> Самое знаменитое «чудо» Жанны д'Арк – нахождение меча в Сент-Катерин-де-Фьербуа – описано в подавляющем большинстве источников, повествующих о ее эпопее. Другое «чудо» – оживление новорожденного ребенка в Ланьи – вызвало особый интерес руанских судей: «Interrogata qualem etatem habebat puer quem ipsa suscitavit apud Latigniacum... Interrogata utrum fuerit dictum per illam villam quod ipsa fecerat fieri illam resuscitacionem, et quod hoc erat factum ad precem eius». – Procès de condamnation de Jeanne d'Arc. P. 103.

<sup>71</sup> Интересно, что на вопрос о том, когда она обретет божественную силу, чтобы сразиться с врагами Франции, Клод дез Армуаз вполне остроумно и весьма неопределенно отвечала, что случится это «после праздника Иоанна-Крестителя»: «Et parloit le plus de ses paroles par paraboles, et ne disoit ne fuer ne ans de son intention; et disoit qu'elle n'avoit point de puissance devant la Saint-Jehan-Baptiste». – Quicherat J. Op.cit. T. 5. P. 322.

<sup>72</sup> О портретном сходстве Жанны и Клод речь в известных нам источниках вообще не заходила, ведь их авторы и не знали толком, как выглядела «настоящая» героиня. Впрочем, как хорошо известно из истории Мартина Герра, портретное сходство далеко не всегда бывало необходимо, чтобы с успехом выдавать себя за кого-то другого.

<sup>73</sup> Подробнее см.: Тогоева О.И. Карл VII и Жанна д'Арк: Утрата девственности как утрата власти // Поблекшее сияние власти. Материалы круглого стола / Отв. ред. М.А.Бойцов. М., 2006. С. 52-83.

<sup>74</sup> «Interrogata quod prediligeat, vel vexillum suum vel ensem. Respondit quod multo, videlicet quadragesies, prediligeat vexillum quam ensem». – Procès de condamnation de Jeanne d'Arc. P. 78.

<sup>75</sup> То же «снижение» образа героя, перестающего восприниматься как эпический, на материале французского эпоса отмечает в ряде случаев А.Д.Михайлов (Михайлов А.Д. Французский героический эпос. С. 140-141, 185-187)

**Люди знания**



**Баттиста Альберти: человек и семья**

Фигура Леона<sup>1</sup> Баттисты Альберти как нельзя более подходит для разговора о разнообразных возможностях самоопределения человека в XV веке. По масштабу и по интересу, который он вызывает у исследователей в последние годы, Альберти оказывается сопоставим с такими деятелями Возрождения, как Леонардо и Макиавелли<sup>2</sup>. Причем обнаруживается не только их общее духовное родство, у первого есть прямые ссылки на сочинения Альберти, а их необыкновенная тематическая и образная близость с Макиавелли заставляет думать и о знакомстве с ними последнего<sup>3</sup>. Разнообразие ипостасей Альберти необычно даже для ренессансного гуманиста, круг его интересов распространялся от архитектуры и живописи до шифрования и коневодства, так что одна из статей, посвященных его творчеству, так и называется: «Леон Баттиста Альберти – новые грани многогранника»<sup>4</sup>. Вместе с тем в высказываниях об Альберти и фактах его биографии можно обнаружить немало противоречий, просто неясного и спорного. Большой комплекс таких противоречий связан с отношением писателя к его многочисленному и знаменитому роду, которому он посвятил свой важнейший трактат «Книги о семье». Это заставляет выдвинуть вопрос о роли семьи в жизни этого человека, при разговоре о его самоидентификации, на первый план. Обсуждение этой темы имеет значение не только в узко биографическом ключе, оно позволяет говорить и о проблеме Человек и Семья в широком смысле, то есть с точки зрения эволюции социальных, демографических и духовных процессов в Италии XV века.

Если судить об Альберти по самым общим «энциклопедическим сведениям», бытующим в популярной литературе, то можно составить себе довольно превратное представление о его личности. Чаще всего он воспринимается как архитектор и теоретик искусства, хотя это и не совсем точно. Архитектурное творчество занимало относительно небольшую месточасть в его творчестве биографии, причем он занимался конкретными проектами фактически во второй половине или даже последней трети своей жизни (после 1447 г., даты жизни 1404 – 1472), на протяжении 25 лет из 68.

Не очень понятно, когда и где Альберти изучал изобразительные искусства; профессиональным зодчим он не был, и его архитектурные проекты, вопреки иногда встречающимся утверждениям, не были для него источником заработка, ибо сам Бат-

тиста в трактате об архитектуре говорит, что занимается ими бесплатно<sup>5</sup>.

Главным источником доходов для Альберти была служба при папском дворе и церковные бенефиции в Тоскане, иными словами, он был духовным лицом, о чем биографии не всегда упоминают. Впрочем, неизвестно, был ли он рукоположен в священники, или прошел только предварительные ступени на этом пути, так называемые *ordini minori*<sup>6</sup>. В этом случае он не должен был приносить даже обет безбрачия – хотя, насколько известно, в браке Альберти никогда не состоял, но и не получал права служить в церкви – и действительно, свои обязанности по отношению к пастве, вытекавшие из полученных должностей, он передавал другим лицам.

Взаимоотношения с семьей, которую Баттиста прославил своим творчеством, были далеко не простыми. Будущий гуманист родился в изгнании. Его род принадлежал к числу если не самых знатных, то самых могущественных и богатых во Флоренции<sup>7</sup>. В «Книгах о семье» Альберти с гордостью говорит о том, что в его родне всегда было много рыцарей («кавалеров») <sup>8</sup>. Его племянник погиб на турнире (1447)<sup>9</sup>. Рассуждая о полезности богатства, Альберти начинает с того, что стяжание (торговля) кажется не самым достойным занятием постольку, поскольку является не чем иным, как разновидностью наемного труда. Ведь торговец продает по сути дела свои услуги, говоря языком более позднего времени, созданный им прибавочный продукт, что считалось чертой, выдающей принадлежность к низам общества. Сам Альберти служил высочайшему суверену – папе, имел доходные должности и, очевидно, придерживался мнения, выраженного в том же трактате, что «владения выше богатств»<sup>10</sup>.

Начиная с восстания чомпи семейство Альберти, враждовавшее с Альбицци, стало подвергаться гонениям, и некоторые биографические справки утверждают, что его представителей изгнали из Флоренции уже в 80-е гг. XIV в. На самом деле репрессии прошли несколько этапов, и отец Баттисты Лоренцо ди Бенедетто был вынужден покинуть родной город в январе 1401 г. вместе с прочими членами семьи мужского пола старше 16 лет<sup>11</sup>. Надежда вернуться домой и вступить там в достойное супружество, возможно, стала одной из причин того, что Баттиста и его старший брат Карло были рождены вне брака – в среде флорентийских купцов было принято жениться на родине<sup>12</sup>.

Это явление было достаточно распространенным, но незаконное происхождение являлось помехой для полноценной

карьеры в обществе. В некоторых биографиях утверждают, что отец поспешил узаконить своих сыновей, родившихся в Генуе<sup>13</sup> (по одной из версий, от вдовы Гримальди, Бьянки Фьески, умершей в 1406 г.). Однако это утверждение опровергается сохранившимся документом, папской буллой от 7 октября 1432 г., которая освобождала Баттисту от изъяна, вызванного его незаконным происхождением и не дававшего ему права пользоваться дарованным ему ранее приоратом приходской церкви Сан Мартино в Гангаланди (в Тоскане)<sup>14</sup>. Во всяком случае, Баттиста сохранил на протяжении своей жизни самые теплые чувства к отцу и завещал похоронить себя рядом с ним в Падуе (правда, это не было исполнено).

Баттиста получил хорошее образование, обучаясь в пансионе Гаспарино да Барцицца в Падуе, позднее он занялся изучением канонического и гражданского права в Болонском университете, где, вероятно, получил титул доктора (только канонического, а не обоих прав) в 1428 г. (Тогда же был отменен запрет на въезд членов рода Альберти во Флоренцию). В этих занятиях были перерывы, связанные с болезнями и материальными затруднениями, наступившими после смерти отца в 1421 г. В сохранившемся тексте завещания (судя по описаниям) Лоренцо ди Бенедетто препоручает сыновей заботам родственников и выделяет на их содержание значительную сумму (по 4 тыс. флоринов на каждого)<sup>15</sup>. После смерти в 1422 г. старшего брата Лоренцо, Риччардо, оставленным имуществом распоряжались их кузены, Антонио ди Риччардо и Бернардо ди Бенедетто. По некоторым данным, они оттягивали выплату основной суммы по завещанию, ссылаясь на большие расходы по содержанию Баттисты и его брата в Болонье<sup>16</sup>. Видимо, жалобы, высказанные автором анонимной «Жизни» Баттисты (предположительно, автобиографии) в адрес родни гуманиста, имеют в виду прежде всего этих лиц. Впоследствии Альберти через своих друзей отсудил у них и их наследников часть отцовского имущества<sup>17</sup>.

Говорят, что Баттисте с трудом удалось избавиться от обязанности заниматься торговлей<sup>18</sup>, избранная им карьера литератора и ученого позволила ему пойти по традиционному для гуманиста пути, служить секретарем у важных лиц, в данном случае прелатов. Благодаря, вероятно, содействию одного из них, патриарха Градо Бьяджо Молина (Molin), возглавлявшего папскую канцелярию, в начале 30-х гг. он получил должность аббревиатора при курии<sup>19</sup>. В дальнейшем его перемещения во многом связаны с сопровождением папского двора, который в 1434-1436 и 1439-1442 гг. находился во Флоренции. Должность

при курии обеспечивала некоторую независимость и свободу для научных занятий, поэтому среди аббревиаторов было много гуманистов. В 1464 г. папа Павел II уволил большинство из них, поэтому утверждают, что была упразднена сама эта коллегия, но это не так, она просуществовала до начала XX века. Сам же Альберти, возможно, сохранил какое-то место при папском дворе; от этого времени имеются рекомендательные письма в его пользу маркиза мантуанского Лодовико Гонзага; в завещании 1472 г. Леон Баттиста назван «скриптором апостолических писем»<sup>20</sup>.

Итак, занятия науками позволили гуманисту прославиться и прославить имя своей семьи, в то время как дела последней, отчасти восстановившей свои позиции во Флоренции, во второй половине 30-х годов пошли под гору. Компании, принадлежавшие к так называемой Западной ветви (*del Ponente*), а именно Лондонская, которой некогда руководил отец Баттисты, Придворная (при папском дворе) и Базельская, обанкротились. Но при всех обстоятельствах Леон Баттиста придерживался некогда принятой им позиции – делать все для прославления и восхваления своего рода, а равнодушие и негативное отношение некоторых членов семьи к его творчеству сносить терпеливо и по возможности не обращать на это внимания. В своем завещании он оставил 1000 флоринов, чтобы обеспечить обучение каноническому праву и прочим наукам в Болонье одного – двух юношей из рода Альберти или других<sup>21</sup>.

Литературное творчество Альберти побуждает к постановке ряда вопросительных знаков не в меньшей степени, чем его биография, частью которой оно является. Своеобразным было уже отношение Баттисты к собственным сочинениям, которое, впрочем, характерно для самолюбивых гуманистов, болезненно реагировавших не только на критику, но и на безразличие. В «Жизнеописании» говорится о нескольких случаях, когда Баттиста собирался сжечь отдельные свои труды. Об обнародовании ряда работ он как будто бы не заботился, и некоторые из них до нашего времени просто не дошли, а другие, как, например, часть книг «О семье», приписывались иным авторам.

Первое сочинение Альберти, ставшее достоянием публики, это комедия «Филодокс» (1424), которая была пущена в обращение его приятелем Антонио Беккаделли Панормитой и на протяжении десяти лет выдавалась за произведение древнеримского автора Лепида (один из псевдонимов Альберти)<sup>22</sup>. В этой связи уместно привести слова Кристофоро Ландино, младшего современника и друга Альберти, который впоследствии

сделал его персонажем своих диалогов «Беседы в Камальдоли». В комментарии к «Божественной Комедии» Ландино говорит, что разнообразием своего стиля Альберти уподобляется хамелеону, который «всегда приобретает цвет, присущий используемой им вещи»<sup>23</sup>. Любопытно, что это же сравнение использует сам Альберти в четвертой книге «О семье», толкуя о необходимости применяться к разным людям: «Как Алкивиад, который, по слухам, обладал этим умением, так и мы должны подражать хамелеону, животному, которое, по рассказам, изменяет свой цвет, чтобы приспособиться к окружающей обстановке. Со злыми мы будем суровы, с доброжелательными веселы, со щедрыми великодушны...»<sup>24</sup>.

О «присущем Батисте вкусе к диалектике, к игре противоречий и парадоксов, мистификаций и превращений, отражений и масок» особенно настойчиво писал Э.Гарэн<sup>25</sup>. Он предостерегал против выдвигания на первый план одних сторон противоречивого, по его мнению, творчества Альберти в ущерб другим. В частности, идей гражданского гуманизма и превознесения человеческой активности, очень ярко выраженных как раз в «Книгах о семье», и присутствующего в «Застольных беседах», «Моме» и других сочинениях образа скитальца, «охваченного горьким пессимизмом и трагическим ощущением действительности, людского ничтожества и всеобщего безумия»<sup>26</sup>. Действительно яркий пример такого противоречия являет написанное почти одновременно с первыми книгами трактата о семье (1433-1434) «Житие св.Потита» (1433), в котором основные положения первого как бы последовательно опровергаются. «Баттиста, — пишет Э.Гарэн, — принимает сторону дьявола и императора Антонина: мирскую человеческую жизнь, общество и труд — так же как Потит выбирает смерть истерзанного тела ради иной жизни»<sup>27</sup>. Конечно, можно объяснять эту работу Альберти конъюнктурными соображениями, ведь житие писалось как первая книга в серии биографий святых, затеянной покровителем Баттисты Б.Молином; тем более, что почти все представители светской ренессансной культуры отдали дань духовному жанру, достаточно вспомнить Пьетро Аретино или Макиавелли<sup>28</sup>. Гарэн же видит в «Житии св. Потита» свидетельство глубокой внутренней раздвоенности, присущей Альберти и порождающей, помимо панегириков природе и побеждающей судьбу человеческой доблести, страны, проникнутые сознанием «нелепости и безумия жизни»<sup>29</sup>.

В диалогах «О семье», как бы то ни было, явно превалирует первая сторона. По утверждению биографии Альберти, эти

три книги были написаны на 30-м году жизни за 90 дней. Правда, по некоторым данным, сначала могли быть созданы первые две книги, составляющие самостоятельный блок, а третья, возможно, распространялась отдельно<sup>30</sup>. Через три года, как говорится в том же «Жизнеописании», несмотря на нелюбезный прием со стороны родни, к ним была добавлена четвертая книга «О дружбе», поднесенная коммуне по случаю организованного во Флоренции при участии Альберти Certame согонagio, поэтического состязания на эту тему (1441)<sup>31</sup>.

В структуре «Книг о семье» заметны несколько пластов. Во-первых, через все диалоги проходит в высшей степени традиционная (и излюбленная Альберти) тема рассуждений о любви и о дружбе и их сопоставление. Во-вторых, это беседы собственно вокруг заданного сюжета о семье: об обязанностях отцов и старших по отношению к сыновьям, об обзаведении семейством, его укреплении и умножении, о бережливости и т.п. Эти разговоры ведутся в характерной для гуманистического диалога провокативной форме: одни участники беседы высказывают сомнения, допустим, в привлекательности отцовства, другие опровергают их мнение. Третий сюжет – превознесение собственного рода Альберти, и четвертый – изложение определенных философских сентенций: о месте человека в природе и его взаимоотношениях с ней, о его противоборстве с судьбой, о самодостаточности доблести или добродетели (virtù). Они несут на себе отпечаток стоицизма и вместе с тем опираются на некоторые сугубо земные ценности, такие, как мирская слава и уважение сограждан.

В литературе об итальянском обществе эпохи Возрождения фигурируют разные определения семьи: говорят о городской и сельской семье<sup>32</sup>, о малой семье (супруги и их дети), идущей на смену большой<sup>33</sup>, о братской семье (famiglia fraterna), характерной для купеческих фамилий, в которой несколько братьев имеют общее имущество и иногда живут под одним кровом<sup>34</sup>.

В трактате Альберти фактически используются два понятия: большой род, восходящий к старой консортерии, его, собственно, воспеваает автор, подчеркивая необходимость сохранять целостность и умножать состав такой большой семьи<sup>35</sup>. Вместе с тем многие советы о браке и воспитании детей касаются скорее малой семьи, которой даже дается определение: «ЛИОНАРДО Что вы называете семьей?

ДЖАННОЦЦО Детей, жену, других домашних, слуг и работников»<sup>36</sup>.

Книги о семье – главное произведение Альберти на эту тему (небольшой диалог «Семейный ужин» 50-х гг. посвящен

играм), но понятие семьи присутствует во многих других его трудах как краеугольный камень социальной жизни – не зря в сочинениях, посвященных архитектуре, Альберти представляет город, то есть итальянское государство того времени, как большой дом<sup>37</sup>, об управлении которым он написал свое последнее крупное сочинение «De Iciarchia» (Домострой, 1468).

В то же время суждения Альберти о семье несут на себе отпечаток негативного отношения к земным влечениям и заботам и даже некоторого антифеминизма, проникнутого не платоновскими, а стоически-христианскими мотивами<sup>38</sup>. Мы знаем, что сам он так и не женился и не обзавелся собственной семьей, но это не значит, что земные и плотские привязанности были ему совершенно чужды. Любовной теме посвящено немало произведений Альберти, несколько комедий, диалоги «Деифира», «Гекатонфилия», «Софрона», разнообразные стихотворения и письма. В основном выводы автора клонятся к опасности, которую таит в себе любовная страсть, особенно для юноши, посвятившего себя наукам. Любопытна строка, обращенная к Альберти его товарищем по учебе Панормитой в сборнике эпиграмм «Гермафродит» (1425): «Скажи мне, как твои дела у женщин»<sup>39</sup>.

В «Книгах о семье» Баттисте, вероятно, как самому молодому участнику диалогов<sup>40</sup> (действие разворачивается весной 1421 г., в доме смертельно больного Лоренцо Альберти), достается роль собеседника, воспевающего земную любовь. Между прочим, он замечает, что сам никогда не испытывал этого чувства<sup>41</sup>. Разумеется, эти слова не обязательно принимать за чистую монету, однако в любом случае проповедуемый в трактате семейный идеал стоит в определенном противоречии с другими высказываниями гуманиста и с фактами его собственной биографии.

Подобные противоречия у Альберти могут объясняться по-разному. Их можно отнести на счет эволюции его взглядов в ходе разных поворотов судьбы на отдельных жизненных этапах; можно считать их изначально и постоянно присущими его мировоззрению, полюсами, между которыми развивалось его творчество, как делает Э. Гарэн. Можно исходить и из представлений об особом типе мышления, присущем интеллектуалам эпохи Возрождения, в духе идей о его диалогичности, развиваемых в отечественной науке Л.М. Баткиным<sup>42</sup>. Переключка античной и средневековой культур, происходившая в сознании гуманистов, не просто заставляла их уравнивать и соединять в своих текстах разные точки зрения. Они отчетливо сознавали важность своей культурной миссии и не только посвящали свою жизнь словесности, но и строили ее по законам художественного твор-

чества<sup>43</sup>. Замечательной иллюстрацией к такому автобиографическому моделированию может служить Vita, приписываемая самому Альберти. Рассказывая о начале зарождения болезней, которые мешали и затем прервали его напряженные занятия науками в Болонье, Баттиста говорит о себе в третьем лице следующее: «Иногда буквы текстов, которыми он так наслаждался, казались ему цветущими и благоухающими почками, и тогда ни сон, ни голод не могли оторвать его от книг; иногда же эти буквы начинали множиться в его глазах, напоминая скорпионов, так что он не мог ничего видеть, а не то что читать»<sup>44</sup>.

На мой взгляд, именно в этих словах, характеризующих отношение гуманиста к наукам (*litterae*), кроется наиболее плодотворное объяснение смысла поступков и высказываний Альберти. Они рисуют образ отшельника в миру, но не такого, какими были члены нищенствующих орденов, а человека, посвятившего себя высшим ценностям, познанию мира в его красоте и многообразии<sup>45</sup>, что требует полной самоотдачи и отказа от большинства мирских благ<sup>46</sup> (хотя в «Книгах о семье» говорится и о невозможности изучать науки, не имея средств)<sup>47</sup>. Ученость стала в буквальном смысле божеством для гуманистов, и так и следует воспринимать знаменитое восклицание Петрарки: двух богов славлю, Христа и словесность. Служение двум богам имеет между собой много общего, с той разницей, что путь литератора ведет не к трансцендентному знанию, а направлен скорее на «конструирование», устройство жизни согласно велениям природы и в соответствии с ее законами. Отсюда особый практицизм творчества людей Возрождения, их желание испытывать все занятия<sup>48</sup> и воплотить себя в великих делах, обещающих бессмертную славу.

Можно сказать, что этот уход от мирской суеты, в том числе от семейных забот, нередко сопровождавшийся и формальным принятием духовного сана, типологически связан со средневековым отношением к миру и обществу, только спасение от ограничений земного существования человек ищет не на небесах, а в предельном напряжении своих естественных сил, в творчестве как литературном, так и художественном (пример последнего, в качестве которого Альберти может служить с оговорками, — Челлини). Этот принцип, на мой взгляд, лежал и в основе взаимоотношений Баттисты с семьей. На них, видимо, повлиял факт его появления на свет вне брака<sup>49</sup>. Тот факт, что занятия науками (и, возможно, вопреки воле других членов семьи, ведь брат Карло все же занялся коммерцией) в конце концов позволили ему снять с себя это клеймо ( в том числе и фор-

мально, благодаря папской булле) наряду с пиететом перед семейными ценностями мог побудить его к написанию «Книг о семье» в качестве своего рода реванша<sup>50</sup>.

В целом, если принять за точку отсчета бытующее положение о том, что в XV веке, в период перехода от Средних веков к Новому времени, в эпоху ренессансного расцвета происходил распад старых связей и обособление как личности, так и семьи, становящейся более мелкой и самостоятельной ячейкой общества, то пример Альберти свидетельствует об относительном характере этого обособления. Это не столько новый вариант ухода от мира и его соблазнов, сколько иной тип самореализации ради утверждения, в частности, таких земных ценностей, как семейные.

---

<sup>1</sup> В собственных сочинениях гуманист называет себя, как правило, Баттистой; так его именуют и другие. По поводу имени Леон говорят разное: в биографии Манчини сказано, что оно дано при рождении и впоследствии им не использовалось (Mancini G. Vita di Leon Battista Alberti. Firenze, 1882, p.30). Другие биографы, вслед за Л.Пассерини, утверждают, что это был гуманистический псевдоним, принятый Баттистой «в Помпонианской академии в Риме» (Grayson C. Alberti L.B. // Dizionario biografico degli italiani. v.I. Roma, 1960, p.702).

<sup>2</sup> Существует несколько международных организаций, занимающихся исследованием Альберти, в том числе SILBA (Международное общество Л.Б.Альберти) с центром в Париже, где издается 24-х томное полное собрание сочинений гуманиста, Fondazione Alberti в Мантуе; регулярно проходят международные конференции по его творчеству; к 600-летию юбилею был открыт ряд масштабных выставок: во Флоренции, Мантуе, Венеции, Генуе, Париже. Параллели между Леонардо и Альберти проводятся очень часто, см. например, работу Л.М.Баткина, упоминаемую ниже в прим. 42. Сопоставление с Макиавелли см., например, в кн.: Herlihy D., Klapisch-Zuber Ch. Tuscans and their families. New Haven – L., 1983, p. 360.

<sup>3</sup> Тем более, что сын Макиавелли Гвидо и, возможно, племянник Дж.Риччи переводили на народный язык латинский текст «Мама» Альберти. Boschetto L. Leon Battista Alberti e Firenze. Biografia, storia, letteratura, Firenze, 2000, p.181, n.109.

<sup>4</sup> Lefavre L., Leon Battista Alberti: some new facets of the polyhedron // Design Book Review, issue 34, fall 1994. Эта канадская исследовательница разделяет выдвинутую в 70-е гг. гипотезу о том, что Альберти был автором трактата «Гипнеротомахия Полифила», хотя она пока не получила широкого признания. См.: Lefavre L. Leon Battista Alberti's Hypnerotomachia Poliphili. Cambridge, Mass., 1995.

<sup>5</sup> Borsi F. Leon Battista Alberti. L'Opera completa. Milano, 1980, p.10. De re aedificatoria. IX. XI. Возможно, он разрабатывал свои архитек-

турные проекты из благодарности к покровителям при папской курии и высокопоставленным друзьям, то есть эти работы скорее относятся к распространенному в то время феномену обмена дарами, остававшемуся важным подспорьем для существования интеллектуалов.

<sup>6</sup> Boschetto L. *Op.cit.*, p.78. В то же время на существующих портретах Альберти изображен без тонзуры, которая полагалась бы духовному лицу.

<sup>7</sup> Отличить грандов от пополанов во Флоренции не всегда возможно. Альберти были богатыми купцами и банкирами, обслуживавшими, в частности, папский двор, но в горной местности Катеная в области Казентино между Тосканой и Романьей до своего переселения в начале XIII века в город они владели замками. Семья считалась очень знатной. К.Ландино делает такое замечание о Баттисте: «Принадлежность к Альберти не сделала его гордым, он прост со всеми, ни с кем не важничает». Цит. по: Гарэн Э. Исследования о Леоне Баттисте Альберти // Проблемы итальянского Возрождения. М., 1986, с. 196 (прим.9).

<sup>8</sup> I Libri della famiglia, III, p. 111. Цитируются по моему переводу публикации текста на сайте: [www.filosofico.net/albertifamiglia4libri.htm](http://www.filosofico.net/albertifamiglia4libri.htm)

<sup>9</sup> Иларио ди Адовардо. Boschetto L. *Op.cit.*, p.74.

<sup>10</sup> I Libri della famiglia, III, p. 162. Смысл в том, что земля рано или поздно приносит урожай, а деньги, как показывает пример той же семьи Альберти, легко расхитить.

<sup>11</sup> В 1412 г. многих Альберти заочно приговорили к смертной казни, объявив мятежниками (Boschetto L. *Op.cit.*, p.4). Но женщины и дети из рода Альберти могли оставаться во Флоренции, а в дальнейшем были введены послабления, позволявшие некоторым членам семейства вести там дела. Кстати, именно 16-летний возраст считался совершеннолетием, позволяющим вступить в брак, что косвенно подтверждается упоминанием в трактате Альберти «О семье» о неженатых членах рода «от 16 до 36 лет».

<sup>12</sup> См. Краснова И.А. Деловые люди Флоренции XIV – XV вв. ч. II. М., Ставрополь, 1995, с. 25: «В рассматриваемых источниках почти не встречаются случаи женитьбы в чужой стране, зато много бастардов родилось за пределами Флоренции...»

<sup>13</sup> Например, в пресс-релизе выставки L'uomo del Rinascimento Leon Battista Alberti в палаццо Строцци во Флоренции, от 10 марта 2006 г.

<sup>14</sup> См. Bertolini Lucia. Leon Battista Alberti // Nuova Informazione Bibliografica. 2004. № 2 (aprile – giugno), p. 245-288.

<sup>15</sup> Mancini G. Vita, p. 51 e sgg. Вместе с тем семейное имущество им не досталось, быть может, в силу их сомнительного статуса. В трактате о семье в уста Лоренцо вложены такие слова: «Я, дорогие дети, принадлежу к числу тех людей, кто предпочел бы оставить вам в наследство добродетель, а не большое богатство...». Вместе с тем: «состояние, которое я вам оставляю, вы должны истратить и применить таким образом, чтобы заслужить уважение и своих близких, и посторонних людей...» (I Libri della famiglia. I, p.14).

<sup>16</sup> Boschetto L. *Op.cit.*, p.76.

<sup>17</sup> *Ibid.*, n.16.

<sup>18</sup> *Ibid.*, p.7.

<sup>19</sup> Аббревиаторы были не чем-то вроде нотариусов, как иногда утверждают вслед за Дж.Манчини, а составителями черновиков папских булл и других документов. Окончательный текст этих документов составляли писцы – скрипторы.

<sup>20</sup> Borsi F. *Op.cit.*, p.17.

<sup>21</sup> *Ibidem*. Папа Сикст IV отменил эти распоряжения.

<sup>22</sup> Grayson C. *Op.cit.*, p.702.

<sup>23</sup> «Sempre quello colore piglia el quale è nella cosa della quale serve».

Цит. по Borsi F. *Op.cit.*, p.7.

<sup>24</sup> «E come diceano sapea Alcibiade, cosi noi imitaremò el cameleonte, animale quale dicono a ogni prossimo colore si varia ad assimigliarlo. Così noi co' tristi saremo severi, co' iocundi festivi, co' liberali magnifici» (*I Libri della famiglia*. IV, p.218). Это рассуждение несколько напоминает будущий ход мысли Макиавелли.

<sup>25</sup> Гарэн Э. Ук. соч., с.182.

<sup>26</sup> Там же, с. 183.

<sup>27</sup> Там же, с. 187, ср. также подробнее на с. 205.

<sup>28</sup> Аретино был автором нескольких томов биографий святых, которыми очень гордился; Макиавелли написал «Увещание о покаянии».

<sup>29</sup> Гарэн Э. Ук. соч., с. 191.

<sup>30</sup> Boschetto L. *Op.cit.*, p. 91.

<sup>31</sup> Здесь возникает хронологическая нестыковка: если считать датой завершения создания первых трех книг даже 1435-1436 гг., то до 1441 г. остается все равно более трех лет, поэтому можно предположить, что четвертая книга была написана ранее указанной даты.

<sup>32</sup> Sestan E. *La famiglia nella società di Quattrocento // Convegno internazionale indetto sul V Centenario di Leon Battista Alberti* (Roma, Mantua, Firenze 25.04-29.04.1972). Roma, 1974, p.241.

<sup>33</sup> Краснова И.А. Ук. соч. ч. II, гл. I. Ср.: «Именно связь отец–сын являлась стержнем малой семьи...», с. 46.

<sup>34</sup> Boschetto L. *Op.cit.*, p.19, со ссылкой на: Foster, Susanna Kerr. *The Ties That Bind: Kinship Association and Marriage in the Alberti Family 1378-1428*. Ph.D. diss. Cornell University, 1985.

<sup>35</sup> См.: Брагина Л.М. *Семья, общество и государство в творчестве Леона Баттиста Альберти // Она же. Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Идеалы и практика культуры*. М., 2002, с. 199, где трактат Альберти рассматривается как апология большой семьи.

<sup>36</sup> *I Libri della famiglia*. III, p.120.

<sup>37</sup> Э.Гарэн указывает на сходство Альберти и Леонардо в этом отношении. Гарэн Э. Ук. соч., с. 225.

<sup>38</sup> Альберти говорит о легкомыслии и других опасных свойствах, присущих женщинам по природе. В молодости он переложил на народный язык трактат Вальтера Мапа «Увещание к Валерию не жениться», а в конце 30-х гг. написал небольшое сочинение

«Uxorìa» (О браке), в котором описывает множество тягот, доставляемых мужьям характером жен.

<sup>39</sup> Цит. по: Borsi F. Op. cit., p. 377: «dimmi come te la passi con le donne».

<sup>40</sup> Ср. «Диалоги о любви» Лоренцо Пизано, где речь о природной любви произносит юноша Чиприано. См. в кн.: О любви и красотах женщин. Трактаты о любви эпохи Возрождения. М., 1992, с. 19 – 47.

<sup>41</sup> I Libri della famiglia. II, p. 59. Это ответ на слова собеседника Баттисты Лионардо: «Не лучше ли было объявить о том, что ты влюблен, и сознаться в своем заблуждении, чем доказывать, что любовь – не заблуждение».

<sup>42</sup> См., например, его работы: Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М., 1995. Он же. Петрарка на острие собственного пера. Авторское самосознание в письмах поэта. М., 1995; Он же. Леон Альберти и Леонардо да Винчи о жесте в живописи. М., 2002.

<sup>43</sup> См. о сознательном конструировании гуманистических автобиографий: Зарецкий Ю.П. Ренессансная автобиография и самосознание личности: Энеа Сильвио Пикколомини (Пий II). Н.Новгород, 2000.

<sup>44</sup> Vita di Leon Battista Alberti / A cura di R.Fubini e A.Menci Gallorini // Rinascimento. II serie. V. II, Firenze, 1972. («Sibi enim litteras, quibus tantopere delectaretur, interdum gemmas floridasque atque odoratissimas videri, adeo ut a libris vix posset fame aut somno distrahi; interdum autem litteras ipsas suis sub oculis inglomerari persimiles scorpionibus, ut nihil posset rerum omnium minus quam libros intueri»). В таких случаях от чтения Баттиста переходил к занятиям музыкой и живописью. Постепенное развитие недомоганий, сопровождавшееся бытовыми лишениями, заставило его прервать изучение права и на время обратиться к философии и математике, «которые, как он знал, больше требуют напряжения ума, нежели памяти (*ingenium magis quam memoriam exercendam intelligeret*)».

<sup>45</sup> «Я очень высоко ценю мнение Аристотеля, утверждавшего, что человек похож на счастливого смертного бога, который понимает и действует с помощью разума и добродетели... Человек создан для угождения Богу, для познания первого и истинного начала вещей, из которого произошла такая пестрота, такое несходство, такое изобилие и множество животных, их форм, видов, нарядов и красок... Природа, то есть Бог, сотворила человека отчасти небесным и божественным, отчасти прекраснейшим и благороднейшим из всех смертных вещей... человек рожден не для того, чтобы чахнуть в праздности, а для того, чтобы посвятить себя великим и грандиозным делам, которые прежде всего будут угодны Богу и достойны его, а также укрепят самого человека в совершенной доблести и сделают его счастливым» (I Libri della famiglia. II, p. 85-86). Ср.: Брагина Л.М. Альберти – гуманист // Леон Баттиста Альберти. М., 1977, с. 10 – 49.

<sup>46</sup> Подобные идеи Альберти развивает в своем раннем трактате «О преимуществах и неудобствах изучения наук» (*De commodis litterarum atque incommodis*).

<sup>47</sup> I *Libri della famiglia*. II, p. 87: «Если я, будучи беден, пожелаю заниматься науками, но не найду, чем покрывать расходы, которых будет в этом случае немало, то это занятие окажется для меня непригодным».

<sup>48</sup> В «Жизнеописании» рассказывается, что Баттиста приглашал к себе людей всякого ремесла, чтобы учиться у них, причем наряду с зодчими и кораблестроителями здесь фигурируют сапожники и портные.

<sup>49</sup> Сходные аргументы, как можно предположить, содержатся в статье: Kuehn T. *Reading between the Patriline: Leon Battista Alberti's Della Famiglia in Light of His Illegitimacy // Law, Family, and Women: Toward a Legal Anthropology of Renaissance Italy*. Chicago, 1991, которая в полной мере была для меня недоступна.

<sup>50</sup> Это «подношение родине, имеющее целью, однако, прославить знаменитый род, увековечить память рано скончавшегося отца, упрочить кровные узы; и главное, доказать, что именно гонимый и преследуемый сирота способен, овладев презираемой словесностью, придать новый блеск династии гордых купцов. В общем, талант восторжествовал здесь над деньгами, доблесть праздновала победу над судьбой.» (Гарэн Э. Ук. соч., с. 178).

**Маттео Пальмиери – флорентийский гуманист и политик**

В итальянском гуманизме понятие личности было тесно связано с новыми этическими идеалами, рождавшимися в эпоху Возрождения, которая усилиями ее деятелей стремилась отойти от традиций Средневековья, пытаясь восстановить во всей широте преемственную связь с Античностью. Эта ренессансная парадигма особенно четко выражена в гуманистической мысли Италии XV в. – здесь в опоре на философию древних активно разрабатывалось учение о человеке с акцентом на значении личности, ее индивидуальной неповторимости, об особом месте человека в системе мироздания, но также о его роли в обустройстве своего земного бытия. Проблема самоидентификации человека, как и его восприятия и оценки обществом, стала предметом рефлексии и литературного дискурса не только в среде гуманистов, интеллектуалов нового склада, но и в более широких образованных кругах, включая правящую элиту, игравшую активную роль в городах-государствах, особенно там, где еще сохранялись республиканские порядки. Во Флоренции XV в., особенно в первой половине столетия, были живы и в политическом плане весьма актуальны традиции республиканизма, а идеализация пополанской демократии, расцвет которой пришелся на XIV век, питала менталитет ее граждан и находила отражение в лозунгах сохранения республиканских свобод, которые рассматривались как необходимое условие дальнейшего процветания этого богатейшего города- государства<sup>1</sup>.

Не случайным, но предопределенным особенностями исторического развития Флоренции стало формирование в ее культурной и политической атмосфере первой половины XV в. влиятельного идейного направления, получившего в историографии название «гражданский гуманизм»<sup>2</sup>. Его зачинатели и адепты – Колуччо Салютати, Леонардо Бруни, Поджо Браччолини, Донато Аччайуоли, Аламанно Ринуччини, Маттео Пальмиери, другие гуманисты и политические деятели Флорентийской республики – стали олицетворением идеала человека и гражданина, который обосновывался в их трудах и находил отражение в представлениях немалой части сограждан. Об этом сохранилось множество свидетельств не только в сочинениях самих гуманистов, но также в широко распространенной купеческой мемуарной литературе, переписке, хрониках, официальных речах магистратов<sup>3</sup>. Все это позволяет рассматривать проблему идентификации человека в Италии XV в. во всех ее аспектах на достаточно надежной источниковой основе, выявляя при этом то новое, что привносили в давнюю литератур-

ную традицию реалии времени. В рамках данной статьи я постараюсь показать возможность постановки такой проблемы на примере Маттео Пальмиери, видного политического деятеля Флорентийской республики, известного писателя, разрабатывавшего идеи гражданского гуманизма<sup>4</sup>.

Маттео Пальмиери (1406-1475) принадлежал к знатной, восходившей к княжескому германскому роду, семье Флоренции, не обладавшей, впрочем, большим состоянием и занимавшейся аптекарским делом. Образование Маттео получил в гуманистической школе Созомено да Пистойя, где изучал грамматику и риторику по правилам весьма активно складывавшейся в ту пору новой педагогики с ориентацией на античных авторов. Следующей ступенью в постижении наук стали занятия Маттео в университете Флоренции (Студио) – он посещал лекции известных гуманистов Карло Марсуппини и Амброджо Траверсари по дисциплинам, входившим в комплекс *studia humanitatis*. В зрелые годы Пальмиери изучал теологию и философию в кружке гуманистов, которым руководил византийский грек Иоанн Аргиропулос (Джованни Аргиропуло), преподававший в университете философию Аристотеля и устроивший у себя дома своеобразную школу, где он свободно комментировал сочинения Платона и неоплатоников. Маттео Пальмиери связывали тесные дружеские узы с многими флорентийскими гуманистами – Леонардо Бруни, Поджо Браччолини, Аламанно Ринуччини, Дона-то Аччайуоли, Леонардо Дати. Гуманистическими дисциплинами Пальмиери занимался на протяжении многих лет жизни, отдавая предпочтение моральной философии, истории и педагогике. В культуру Возрождения он вошел как автор получившего широкую известность и признание сочинения на вольгаре «Гражданская жизнь» (*Vita civile*, ок. 1439 г.), обширной итальянской поэмы в терцинах «Град жизни» (*La città di vita*, 1464), вызвавшей неоднозначные оценки и резкую критику со стороны официальной церкви, а также историческими трудами на латыни – «Жизнеописание Никколо Аччайуоли» (*Vita Nicolai Acciaiuoli*, ок. 1440), «О взятии Пизы» (*De captivitate Pisanorum*, 1440-е гг.), «О временах» (*De temporibus*, 1448) и «История Флоренции» (охватывает события с 1432 по 1475 гг.).

Современникам Маттео Пальмиери был хорошо известен не только как гуманист, но в еще большей мере как активный политический деятель Флоренции, отдавший государственной службе более сорока лет. трудно перечислить все посты – административные, дипломатические, военные, которые он занимал с 1432 по 1475 гг., их было более пятидесяти (следует иметь в виду, что все магистратуры во Флоренции были краткосрочными – от двух месяцев до одного года). Начало его государственной службы при-

шло на время активной политической борьбы двух олигархических группировок – их возглавляли кланы Альбицци и Медичи, – но в 1433 г. победу одержали первые, добившись от Синьории решения об изгнании из Флоренции Козимо Медичи, одного из богатейших купцов-предпринимателей европейского масштаба. Козимо имел немало сторонников из разных слоев городского населения, они-то и начали борьбу за его возвращение. Маттео Пальмиери, которому в то время не было и 27 лет, в 1432 г. вошел в состав одной из важных магистратур – «Восемь синдиков при Подеста», наделенных полицейско-административными правами, а в 1434 г. он был избран в Балию (временную комиссию), которая санкционировала решение о возвращении Козимо Медичи во Флоренцию. С той поры Пальмиери оставался верным сторонником Медичи.

Совмещая служебную карьеру с хозяйственными делами аптекарской боттеги и литературной деятельностью, Пальмиери занимал множество самых разных постов – от члена правления Банка республики (Monte) или одного из ректоров Флорентийского университета до военных должностей в подвластных Флоренции городах-коммунах Тосканы (так, в 1460 г. он был капитаном Пистойи, а в 1461-1462 гг. – одним из пяти заместителей Пизы). В начале 1475 г., незадолго до кончины в апреле того же года, Пальмиери был избран в высшую военную магистратуру – «Восемь обороны» (Otto di guardia). Республика поручала ему также решение важных дипломатических задач в составе посольских миссий в Риме, Болонье, Перудже, других итальянских государствах. Пальмиери избирали в руководство гвельфской партии (в 1471 г. он был одним из ее капитанов), которая заметно влияла на политическую жизнь Флоренции, а принадлежность к ней считалась проявлением особого патриотизма (такая традиция была связана с победой гвельфов и принятием в конце XIII в. «Установлений правосудия», заложивших основу посполанской конституции). Нельзя не упомянуть и о деятельности Пальмиери в Торговой палате (Mercanzia), а также в судебных магистратурах – в 1447 г. и в 1459 г. его избирали в состав «Охранителей законов» (Conservatores legum). Не раз он исполнял почетную должность гонфалоньера компании (избирался от квартала Сан Джованни), при вступлении в которую (в 1437 г. или 1440 г.) произнес официальную «Речь о справедливости». Пальмиери принадлежал к цеху медиков и аптекарей и как его представитель несколько раз оказывался в числе приоров Синьории, причем дважды – в 1453 и 1468 годах – занимал высшую должность Гонфалоньера правосудия<sup>5</sup>.

Флорентийцы высоко ценили Пальмиери-гражданина, видели в нем пример безупречной нравственности и честного служения

долгу. «Не отклоняясь от пути справедливости, – говорил Аламанно Ринуччини на пышно устроенных похоронах Пальмиери, – он отвергал попытки подкупа и сохранял на государственной службе твердость, благоразумие, безупречную честность», чем «заслужил уважение не только правительства, но и всего народа, о чем свидетельствует оказываемый ему почет и большое число занимаемых им должностей..., которые он исполнял со славой и достоинством»<sup>6</sup>. Высокую оценку Пальмиери-политика в официальной траурной речи Ринуччини, его близкого друга, можно было бы счесть данью канонам жанра и личным симпатиям, однако она находит подтверждение и в других источниках. Так, современник и первый биограф Пальмиери Веспасиано да Бистиччи, оставивший жизнеописания многих известных итальянцев XV в., отмечал, что видные политические деятели Италии ценили советы и мудрость этого государственного мужа<sup>7</sup>. Видный английский историк Лауро Мартинес, изучавший социальное положение и источники доходов флорентийских гуманистов на основе многочисленных архивных документов, пришел к заключению, что Пальмиери «не использовал государственную службу для личного обогащения», хотя она была главным источником его доходов на протяжении многих лет<sup>8</sup>. Фармацевтическая боттега, которой Маттео владел вместе с братом, не давала ощутимой прибыли, а иной предпринимательской деятельностью он не занимался, отдавая время, свободное от государственной службы (она стала его основной профессией) гуманистическим штудиям и писательскому труду. Ринуччини, формируя в траурной речи идеальный образ политика-гражданина-ученого, воплощением которого считал Маттео Пальмиери, подчеркнул его особое умение сочетать на протяжении всей жизни идеалы *vita activa* и *vita contemplativa*. «Ведь двойственный характер счастья указывает нам на выдвинутые философами два образа жизни, один из которых состоит в общественной гражданской активности, другой, удаленный от всякой деятельности, устремлен к познанию высших материй. Благоразумный муж, избравший среднее между двумя этими путями, подавал с ранних лет большие надежды на доблестное будущее, которые он вскоре далеко превзошел»<sup>9</sup>. Близкий Ринуччини «средний путь» к обретению счастья все более активно утверждался в гуманистической литературе второй половины XV в., расширяя рамки нравственного идеала активной жизни, который был выдвинут в начале столетия Леонардо Бруни и его последователями. При этом, однако, придавалось особое значение общественной полезности научных занятий, о чем писали многие гуманисты – не только Ринуччини, но также Кристофоро Ландино, Донато Аччайуоли и ряд других. Это стало нравственной нормой и для

Пальмиери, писавшего свои главные труды на вольгаре, предназначенная их широкому читателю, а не только узкому кругу ученых. Как отмечает в своей речи Ринуччини, «тщательно распределяя время, он старался, чтобы занятия науками доставляли радость и украшение не только ему, но чтобы его сочинения приносили пользу другим»<sup>10</sup>. Гражданственность в широком понимании обретала у Пальмиери, и не только у него, характер этической максимы, без которой невозможно самоуважение и признание обществом, и становилась главным принципом самоидентификации личности. Об этом ярко свидетельствует не только его политическая деятельность, но в еще большей мере гуманистическая концепция морали, широко обоснованная им в сочинении «Гражданская жизнь».

Пальмиери понимал гражданскую жизнь как выражение естественного, или божественного, закона, который предназначил людей к жизни сообща, в рамках социума, и к созданию государства, основанного на справедливых законах, учитывающих интересы всех членов общества<sup>11</sup>. Смысл человеческих законов должна определять справедливость: без нее «не может существовать не только город, но даже маленькая группа людей. Справедливость – основа согласия; согласие – основа порядка; порядок – основа спокойной и мирной жизни»<sup>12</sup>. Отсюда и долг магистратов – руководствоваться в своей деятельности принципом законности и справедливости, имея в виду равенство всех граждан перед законом. Усилиями магистратов в первую очередь должны поддерживаться в городе мир и порядок<sup>13</sup>. И еще один важный постулат выдвинул Пальмиери, в частности, в «Речи справедливости», которую он произнес, вступая в должность гонфалоньера компании: честный, доблестный магистрат служит не тем, кто управляет, а тем, кем управляют, то есть рядовым гражданам. Эту задачу правителей он определил предельно четко: «Весь народ государства старайтесь сохранить в единстве и всякое ваше слово и дело направляйте к общему благу, пренебрегая частной выгодой и собственной пользой»<sup>14</sup>. Этот исходный принцип этики гражданского гуманизма Пальмиери не рассматривал лишь как умозрительный постулат, имевший давнюю философскую традицию, но как призыв к действию, которому стремился и сам следовать в делах государственной службы. Он не мыслил себя вне рамок гражданского долга, отождествляемого с нравственной чистотой, которая становилась для него и главным принципом самоидентификации. В этом не было противоречия и с установками общественной морали, где справедливость определялась как «кодекс чести» магистрата, а служение общему благу как главная добродетель.

Пальмиери-гуманист много размышлял о путях внедрения в реальную государственную политику принципа справедливости. В сочинении «Гражданская жизнь» он утверждал, что принцип справедливости можно воплотить в жизнь общества, с одной стороны, осуществляя пропорциональное распределение налогов среди граждан, однако, так, чтобы не слишком пострадали при этом крупные состояния, на которых держится благосостояние государства, а с другой стороны – с помощью благотворительности по отношению к неимущим<sup>15</sup>. Категорию последних он ограничивал немощными и престарелыми, исключая из нее тех, кто не желал трудиться. Широко понимая социальную справедливость, Пальмиери тесно связывал ее с обязательным для всех членов общества трудом, подчеркивая, что только труд может быть основой всякого богатства, ибо иные пути неизбежно ведут к несправедливости. Поэтому тех, кто честно занимается общественно полезным трудом и превосходит других богатством, не следует порицать, а наоборот, их необходимо поддерживать как самых достойных и нужных для общего блага граждан. Праздность и паразитизм не только знати, но и люмпенов гуманист решительно осуждал<sup>16</sup>. Развивая идеи гражданской этики, Пальмиери подчеркивал, что в созидательном труде наиболее полно раскрывается предопределенный самой природой общественный характер человека, поэтому оказывается главной составляющей близкого гуманисту идеала активной жизни. В духе гражданского гуманизма Пальмиери видел земное предназначение человека в нравственном совершенствовании в рамках мирской жизни (а не монашеского отшельничества), исполненной труда на пользу себе и всему обществу, а венцом ее должны стать почет и слава, высшее проявление которой он связывал с заслугами перед отечеством.

В написанной на склоне лет поэме на вольгаре «Град жизни» (1464 г.) опыт политика приводит Пальмиери к несколько иной трактовке справедливости. Хотя и здесь она выступает как естественный закон разума, определяющий все человеческие установления, и в то же время оказывается идеалом, трудно достижимым в реальной жизни. Ведь люди по-разному понимают справедливость, сетует Пальмиери: униженный мечтает о том, чтобы закон уравнял его с могущественным, а имеющий власть, напротив, стремится сохранить освящающий ее закон<sup>17</sup>. Автор поэмы остро ощущает несправедливость реально существующих социальных контрастов и приходит к мысли, впрочем, не новой, что в основе их лежит частная собственность: «Теперь человеческие блага доступны лишь немногим, а бедняки не имеют подчас необходимого»<sup>18</sup>. Однако невозможно, по убеждению Пальмиери, вернуться к начальной по-

ре человечества, когда у людей все было общим. Высший идеал социального устройства он видит в государстве Платона, «где все общее и повсюду царят доброта и честность»<sup>19</sup>. И все же более реальным ему представляется идеал Цицерона, сочетающий частную и коллективную собственность. «Правда, это не тот идеальный строй, который можно было бы вообразить, но более близкий к тому, что можно осуществить на земле»<sup>20</sup>.

Признавая причиной всех социальных бед частную собственность, Пальмиери выступает как один из предшественников Томаса Мора, а также итальянских утопистов XVI в., на которых он оказал заметное влияние<sup>21</sup>. Поэма «Град жизни», несмотря на критические выпады оппонентов и даже обвинения в ереси со стороны церковных кругов, имела большой общественный резонанс и поддержку – не случайно этот его труд был положен ему на грудь во время похорон. Многие разделяли его идеи, видели в нем достойного государственного мужа, воплощение идеала гражданина, мысли и дела которого были подчинены служению общему благу. Личность целостная, Пальмиери не оставлял сомнений в честном исполнении им своих служебных обязанностей, равно как в искренности тех размышлений и советов, которыми он стремился быть полезным своим согражданам и Флорентийской республике. Маттео Пальмиери как политический деятель и гуманист стал ярким представителем людей нового склада, которых рождала ренессансная эпоха.

---

<sup>1</sup> Tenenti A. Firenze dal comune al Lorenzo il Magnifico. 1350-1494. Milano, 1970; Rubinstein N. The government of Florence under the Medici (1434 to 1494), 2 ed., Oxford, 1968; Brucker G. The civic world of early Renaissance Florence. Princeton, 1977; Fubini R. Quattrocento fiorentino: politica, diplomazia, cultura. Pisa, 1996.

<sup>2</sup> Baron H. From Petrarch to Leonardo Bruni. Studies in humanistic and political literature. Chicago, 1968; Garin E. L'umanesimo italiano. Filosofia e vita civile nel Rinascimento. 3 ed., Roma, Bari, 1973.

<sup>3</sup> Bec C. Cultura e società a Firenze nell'età della Rinascenza. Roma, 1981; Idem. Les livres des florentins. Firenze, 1984; Mercanti scrittori. Ricordi nella Firenze tra Medioevo e Rinascimento / A cura di V.Branca. Milano, 1986; Краснова И.А. Деловые люди Флоренции XV-XVI веков. Ч.1-2, М., Ставрополь, 1995.

<sup>4</sup> Buck A. Matteo Palmieri (1406-1475) als Repräsentant des Florentiner Bürgerhumanismus // Archiv für Kulturgeschichte, 1965, Bd. 47, H.1, S.77-95; Брагина Л.М. Гражданский гуманизм в творчестве Маттео Пальмиери // Средние века. Вып. 44. М., 1981. С.197-224; Она же. Социально-этические взгляды итальянских гуманистов (вторая половина XV в.). М. 1983 (раздел о Пальмиери – с.28-59); Braghina L.M. Il pensiero etico-sociale di Matteo Palmieri nella «Vita civile» // Filosofia e cultura. Per Eugenio

---

Garin / A cura di M.Ciliberto e C.Vasoli. Roma, 1991; Брагина Л.М. Образ гражданина в гуманистической литературе Флоренции XV в. // Человек в культуре Возрождения. М. 2001. С.87-100.

<sup>5</sup> Messeri A. Matteo Palmieri cittadino di Firenze del secolo XV // Archivio storico italiano. 1894, v.13, p.257-340.

<sup>6</sup> Rinuccini A. Lettere ed orazioni / A cura di V.R.Giustiniani. Firenze, 1953, p.83-84. Русский перевод «Речи Аламанно Ринуччини на похоронах Маттео Пальмиери» см.: Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV век). М., 1985, с.186-189.

<sup>7</sup> Vespasiano da Bisticci. Le vite. Firenze, 1970, v.1, p.564.

<sup>8</sup> Martines L. The social world of the Florentine humanists (1390-1460). L., 1963, p.138-142.

<sup>9</sup> Ринуччини А. Речь на похоронах... с.187-188.

<sup>10</sup> Там же, с.188.

<sup>11</sup> Palmieri M. Vita civile / A cura di G.Belloni. Firenze. 1982, p.173-174.

<sup>12</sup> Ibid., p.104.

<sup>13</sup> Ibid., p.131-132.

<sup>14</sup> Речь, составленная Маттео Пальмиери, гонфалоньером компании, по приказу Синьории, в которой Ректоры и другие должностные лица побуждаются управлять справедливо (Пер.О.Ф.Кудрявцева) // Сочинения итальянских гуманистов... с.146.

<sup>15</sup> Palmieri M. Vita civile, p.139-140.

<sup>16</sup> Ibid., p.141,154,177.

<sup>17</sup> Libro del poema chiamato Città di vita composto da Matteo Palmieri fiorentino / Ed. M.Rooke // Smith College Studies in Modern Languages, 1927. Vol. VIII. N.1-4. L.3, с.XIII, 13-16.

<sup>18</sup> Ibid., L.3, с.XIII, 6-7.

<sup>19</sup> Ibid., L.3, с.XXII, 36-40.

<sup>20</sup> Ibid., L.3, с.XXII, 41-42.

<sup>21</sup> См.: Кудрявцев О.Ф. Ренессансный гуманизм и «Утопия». М., 1991; Чиколлини Л.С. Социальная утопия в Италии. XVI—начало XVII в. М., 1980.

**Зачем писать это?  
(Послание римского папы турецкому султану)<sup>1</sup>**

А так как человек рожден матерью, а не выведен в пробирке, то опыт существования других людей и значение их действий, конечно же, являются первым и наиболее изначальным эмпирическим наблюдением.

Альфред Шюц

Прошлое – чужая страна: они там все делают по-другому.

Лесли Поулс Хартли

Понимать – это значит объяснять поступки, исходя из того, что известно о ценностях другого..., или же «понимать» – это *выяснить* цели другого путем ретродикции или реконструкции.

Поль Вен

Эта работа – опыт реконструкции мотивов, которыми руководствовался один европеец XV века, создавая сочинение, форма, содержание и обстоятельства рождения которого кажутся нам сегодня странно противоречивыми. Предлагаемая реконструкция основывается на тезисе антропологов о необходимости «признания многообразия способов конструирования людьми собственных жизней в ходе управления ими»<sup>2</sup>. В первой ее части представляется текст сочинения и его автор; во второй приводятся объяснения причин появления этого сочинения, имеющиеся в историографии; наконец, в третьей предлагается реинтерпретация, исходящая из возможности иной, по сравнению с привычной нам, мотивации поступков «исторических персонажей».

### **I. Текст и его автор**

Документ, о котором идет речь, был хорошо известен в ренессансной Европе. На сегодняшний день сохранилось по меньшей мере сорок его рукописных копий и несколько печатных изданий XV в.<sup>3</sup>

Авторство его и время появления не вызывают серьезных разночтений: он создан римским папой Пием II между октябрём и декабрем 1461 г.<sup>4</sup> Это довольно пространственный текст (около ста страниц стандартного книжного формата), написанный на образ-

цовой гуманистической латыни. Главное его содержание составляет обращение папы к турецкому султану Мехмеду II с призывом принять христианство и в результате стать самым могущественным правителем Запада.

Начинается текст с почтительного обращения Пия к адресату, облаченного в характерные для античной эпистолы риторические формулы<sup>5</sup>:

*Пий, епископ, раб рабов Божьих прославленному Мехмеду государю турок со страхом к Божьему имени и любовью.*

*Поскольку мы намереваемся сказать тебе нечто ради твоего спасения, славы и ради взаимного покоя и мира многих народов, выслушай благожелательно наши слова, не проклиная до тех пор, пока не рассудишь, и не судя до тех пор, пока не постигнешь смысл каждого. Прими то, что мы пишем, с добрым расположением духа и выслушай терпеливо до конца (1).*

Затем излагается главная идея обращения папы к султану – призыв к принятию христианства – и подробно, с множеством риторических красот, разъясняются блага, которые ожидают человечество в случае согласия Мехмеда:

*О, сколь обильными могут стать плоды мира, сколь великим ликование христиан, сколь великой радость на всей земле! Снова наступят времена Августа, которые поэты зовут золотым веком. Будут жить вместе леопард с ягнёнком и теленок со львом; мечи будут перекованы в серпы, все железо снова пойдет на лемехи и мотыги; будут обрабатываться поля, земля, покрытая сорняками, будет взрыхлена, будут восстановлены поселения и города; святые храмы Божьи, пришедшие в упадок, возродятся; поднимутся разрушенные монастыри и, заполненные монахами, все окрест огласят божественными хвалами. (12)*

Чтобы убедить своего адресата, автор использует определенный набор аргументов. Среди них – исторические примеры, особенно подробно – случай принятия христианства императором Константином:

*Мы не склоняем к чему-то новому или необычному; путь, который мы указываем, проторен; многие и великие правители на него вступали. (22) Сам Константин, император и самодержец, открыл дорогу, на которую ты и тебе подобные могли бы безотлагательно ступить. (23)*

Он, в частности, увещевает Мехмеда, привлекая его внимание к величайшим земным благам, полученным Константином в результате обращения, и в заключение добавляет:

*Чего же более в этом мире ему было желать? (25)*

*Мы уверены, что то же самое, несомненно, ожидает тебя, если ты вместе с нами будешь по своему благоразумию почитать Христа и подражать Константину Великому; как римляне стали христианами с их императором, так и турки примут крещение вместе с тобой... (26)*

Однако, безусловно, центральным аргументом в пользу обращения султана, наиболее подробно и отчетливо обоснованным в тексте, является тезис о превосходстве христианства над исламом. Разъяснению его Пий посвящает несколько десятков страниц. Не имея возможности вдаваться в детали аргументации папы, приведу лишь зачин этого своеобразного полемического мини-трактата:

*Выслушай же правду о вере. ...Мы расскажем тебе очень кратко о сокровенном смысле нашего вероисповедания, начиная от сотворения мира до смерти нашего Спасителя Христа; затем мы скажем немного о твоей религии и сравним одну с другой... (38)*

Примечательно, что разъяснения Пия относительно превосходства христианства над мусульманством нередко содержат высказывания совершенно очевидно оскорбительные и недопустимые не только для диалога с мусульманином, но и вообще с любым другим человеком:

*...Твои родители обманывали тебя и сами себя из-за своей невежественности. (44)*

*Твоя религия обещает реки молока, меда и вина в загробном мире, так же, как и изысканную пищу, обилие жен и наложниц, связи с девственницами ... и всего, чего жаждет плоть. Это скорее рай для быка и осла, а не для человека! (85)*

*Если бы нам потребовалось перечислить все ошибки твоей веры, ни у нас не хватило бы времени их описать, ни у тебя прочесть. И ты сам хорошо понимаешь, поскольку ты умен, что многие из этих вещей настолько глупы, что нет никакой возможности их защищать. (101)*

*Но твой пророк не просто лжет, но лжет легкомысленно, невежественно, безрассудно, глупо и сам себе часто противоречит, когда это делает, что ясно увидит любой, кто изучит его закон. Бесчисленны его нелепицы, бабьи рассказы и детский лепет... (134)*

*Это [откровение Мохаммеда] было изобретением дьявола! (127)*

Следует добавить, что речь Пия постоянно прерывается призывами к султану, в которых автор, явно щеголяя своим крас-

норечием, на разные лады говорит о великих земных благах, ожидающих Мехмеда в случае обращения:

*Малая вещь может сделать тебя величайшим, самым могущественным и знаменитым из ныне живущих людей. Ты спрашиваешь, какая именно? О ней нетрудно догадаться и ее не нужно далеко искать; ибо она везде, где есть люди: это немножечко воды, которой ты можешь быть крещен и приобщен к христианским обрядам и вере в Евангелие. Если ты сделаешь это, в мире не будет правителя, который превзошел бы тебя славой или сравнялся с тобой в могуществе. Мы назовем тебя повелителем греков и Востока, тем, что ты сейчас удерживаешь силой и несправедливостью, ты станешь владеть по праву. (9)*

*Неужели ты не видишь, сколько славы может принести тебе крещальная купель, каким величественным и знаменитым тебя может сделать Христос? Кто удерживает тебя от воды? Чего ты боишься? (18)*

Этими обращениями-призывами, сопровождаемыми обещаниями Мехмеду спасения и вечной славы, и заканчивается документ:

*Поэтому, доблестный государь, поскольку ты не лишен способности рассуждать и не обделен умом, собери все, что мы сказали, и храни это в памяти... Оставь тьму и следуй за светом! Теперь ты видишь, как хромает твоя вера, как изобилует она ошибками, как далеко отошла она от истины... (147)*

*Запомни же наши слова и получи надежный совет: прими крещение во Христе и омовение Святого Духа! Отдайся святому Евангелию и целиком вверься ему! Так ты извлечешь пользу для своей души и будешь способствовать благу турецкого народа, так исполнятся твои мечты, и будет прославлено твое имя на века, так вся Греция, Италия и Европа будут восхищаться тобой, так будешь ты прославлен в латинской, греческой, еврейской, арабской и всей варварской словесности... (148)*

*Но если ты пренебрежешь нашими советами, твоя слава исчезнет как дым, и ты, согласно человеческому уделу, превратившись в прах, умрешь весь. Да будет Христос царствовать вечно, каковому честь и слава во веки веков. Аминь. (149)*

Несколько слов об авторе этого текста. До того, как стать папой в 1458 г., он звался Энеа Сильвио Пикколомини (1405-1464) и был хорошо известен не только в Италии, но и в других странах Западной и Центральной Европы как писатель, поэт и оратор, носитель новой гуманистической образованности. Он создал разно-

образные по жанру сочинения в подражание древним, вошел в число наиболее активных участников схизматического Базельского собора, за свои литературные заслуги получил множество должностей и наград (как светских, так и духовных). Энеа был секретарем нескольких кардиналов, «антипапы» Феликса V, затем германского императора Фридриха III и папы Евгения IV. При дворе Фридриха он провел несколько лет и был удостоен своим повелителем лаврового венка поэта. В Германии отношение Энеа к власти Римского папы претерпевает радикальные изменения. Он приходит к осуждению решений Базельского собора и в 1445 г. получает от Евгения IV не только прощение, но и почетные церковные должности. Как императорский и папский посол Энеа много путешествует по странам Европы. В 1456 г. папа Каликст III назначает его кардиналом, а меньше чем через два года после этого Энеа восходит на Римский престол под именем Пия II. Его понтификат отмечен канонизацией Екатерины Сиенской, переносом в Рим мощей св. Андрея, двумя номинациями кардиналов, большим строительством в его родном городке Корсиньяно и переименованием его в Пиенцу, но больше всего – страстными призывами к единению христианских государей и организации крестового похода против турок. Летом 1464 г. Пий, несмотря на тяжелую болезнь, прибыл в Анкону для того, чтобы возглавить небольшой отряд крестоносцев, готовый отправиться к берегам Малой Азии. Однако он скончался, так и не успев взойти на палубу судна.

## ii. Интерпретации

Обращение Пия к Мехмеду не осталось обойденным вниманием исследователей – как филологов, так и историков. В XX веке, после его первой научной публикации Дж. Тоффанином в 1959 г.<sup>6</sup>, оно переиздавалось несколько раз и было переведено на итальянский, английский и – совсем недавно – немецкий и французский языки<sup>7</sup>. В этих новейших изданиях (так же, как и в первых, XV-XVII вв., включая рукописные) сочинение обычно обозначается как «письмо» или «послание» (*Pii Secundi epistola ad Mahumetem*)<sup>8</sup>. Содержание сочинения начинает получать различные толкования ученых примерно с середины XIX в. Я остановлюсь на тех из них, которые так или иначе рассматривают «Послание» с точки зрения его интенциональности, т.е. отвечают на вопрос «зачем писать это?».

Большинство толкований имеет одну общую черту, отмеченную еще в 1965 г. авторитетным знатоком документа Франко Газта. «Традиция его интерпретации, – отмечал итальянский историк, – достаточно длительна, и она всегда рассматривала "По-

слание" как головоломку или странность»<sup>9</sup>. Обратимся к наиболее характерным из этих интерпретаций, условно разделив их на три группы<sup>10</sup>.

1. К первой относятся истолкования, рассматривающие «Послание» как политический документ. В них поступок папы чаще всего объясняется двумя его индивидуальными чертами: наивностью и романтизмом. Письмо выступает как «одна из гениальных фантазий главы христиан» (Грегоровий)<sup>11</sup>, «странная мысль Пия» (Георг Фойгт)<sup>12</sup>, «наполовину языческая, наполовину христианская утопия» (Сесилия Эди)<sup>13</sup>, «великая мечта Энеа Сильвио» (Газта)<sup>14</sup> и т.п. Некоторые историки, впрочем, не замечают ничего особенного в обращении папы к султану. По мнению Людвиг фон Пастора, это была «смелая мысль», вдохновленная убеждением, что Коран не сможет одержать верх над христианской культурой<sup>15</sup>.

В новейшее время в историографии уделяется меньше внимания рассмотрению политической мотивации послания, однако возможность ее все же в той или иной мере допускается. Эудженио Гарэн, создавший одухотворенный портрет папы-гуманиста, считает, что дело отнюдь не в наивности автора. По его мнению, письмо продиктовано духом политического рационализма, замешанного на безысходности: перед лицом растущей разобщенности Европы и усиливавшегося ощущения несбыточности задуманного им похода Пию ничего не оставалось, как обратиться к Мехмеду<sup>16</sup>.

2. Вторая группа интерпретаций представляет «Послание» как документ, рожденный одновременно политической и творческой (писательской) волей Пия.

Джузеппе Тоффанин, признавая, что «с исторической точки зрения» послание остается для него загадкой, пытается решить ее в особо интересующем нас в данном случае личном плане. Все дело в том, считает Тоффанин, что в душе Пия уживались две могучие силы, рациональная и иррациональная (как это часто бывает, добавляет историк, у людей мысли и действия). Пий-рационалист собирал в поход христианское воинство, а Пий-мечтатель искренне хотел добиться мира и гармонии чисто гуманистическими средствами – с помощью изящной словесности<sup>17</sup>.

Роберто Бака говорит о Пие примерно то же: «Трудности организации крестового похода потребовали его пристального внимания. Неудивительно поэтому, что он искал альтернативного способа достижения своей цели. Он полагал, что литература, так хорошо послужившая ему в прошлом как средство распространения его идей, давала ему такую альтернативу». Этой альтернати-

вой и явилось письмо, адресованное самому Мехмеду II, где он попытался убедить завоевателя Константинополя «в преимуществах мирного разрешения противсречий, разделивших Восток и Запад»<sup>18</sup>.

Вильям Баултинг считает, что Пий, обращаясь к Мехмеду, видел себя инструментом Божественного Провидения, но одновременно был убежден в силе разума и логических доводов настолько, что считал возможным с их помощью обратиться к султану. Эта убежденность и позволила ему создать документ, совершенный с точки зрения аргументированности и композиционной стройности<sup>19</sup>.

Несколько иначе расставляются акценты мотивации папы в биографическом исследовании Розамонд Митчелл, утверждающей, что Пий был настолько ослеплен безграничной верой в гуманистические ценности, что ожидал немедленного обращения Мехмеда в христианство. Папа, пишет она, не был абсолютно несведущ в целях и идеалах своего противника, однако он готов был приписать ему «способ мысли» (*habit of mind*) итальянского гуманиста. Впрочем, было бы неверно считать, заключает Митчелл, что Пий зря потратил время на написание послания: оно, несомненно, дало христианским государям повод для размышлений и живой дискуссии, сформулировав позицию Запада в христианско-мусульманском противостоянии. Неприятие же во внимание турецкой точки зрения (*Turkish mind*), свидетельствует о том, что его автор был далек от признания пропасти, лежащей между магомедом и христианином<sup>20</sup>.

Нужно заметить, что в некоторых других реконструкциях интенций Пия этого же типа (т.е. соединяющих папу-политика и папу-писателя) аргументация исследователей и ход их мысли в целом кажутся более убедительными. В частности в тех, которые развивают идею о скрытом адресате «Послания». По мнению Дж. Папарелли, оно было обращено не столько к султану, сколько к христианским правителям, и имело целью одновременно пристыдить их и вдохновить на новый крестовый поход<sup>21</sup>. Такая политическая интенция, считает историк, объясняет его пышную литературную форму<sup>22</sup>.

3. Наконец, третью группу составляют интерпретации текста «Послания», которые не ставят прямо вопрос об индивидуальных мотивах написания его Пием, но по необходимости («странность» документа продолжает оставаться вопросом, который трудно обойти), так или иначе их обозначают. К этой группе можно отнести целую серию новейших прочтений документа, уделяющих первоочередное внимание его интертекстуальности,

связи его содержания с христианско-мусульманским диалогом середины XV в. В них подробно и тщательно анализируются источники, которыми пользовался папа, в частности, трактаты его друга Николая Кузанского (*De pace fidei* и особенно посвященный Пию *Cribratio Aichorani*), а также *Contra principales errores perfidi Machometi* Хуана де Торкемады<sup>23</sup>.

Письмо папы к султану в них обычно предстает как один из эпизодов сложных отношений между христианским и мусульманским мирами в ренессансный период. Эпизод, который свидетельствует, что противоречия между Западом и Османской империей в XV веке были не столь драматичны, как до сих пор считалось. Само появление «Послания» выступает как доказательство того, что даже после падения Константинополя христиане продолжали полемику по вопросам веры со своим главным политическим противником. А также как веский аргумент в пользу необходимости переосмысления историками места и роли ислама в культуре ренессансной Европы.

Чаще всего сочинение Пия в этих новейших работах уже не рассматривается как документ, продиктованный искренним стремлением папы обратить султана в христианство<sup>24</sup>. Ему приписываются более сложные и неоднозначные мотивы. Так, Лука д'Ашиа утверждает, что, создавая его, папа хотел просто заново огласить свою концепцию отношений между Церковью и Империей, а также пригрозить туркофильской группировке европейских политиков. Впрочем, одновременно д'Ашиа считает, что документ следует понимать как памятник, который папа сам себе построил (при этом историк подробно не разъясняет, что он имеет в виду)<sup>25</sup>.

### III. Ре-интерпретация

*Неудовлетворенности существующими интерпретациями.* Приведенные истолкования «Послания» как индивидуального поступка оставляют достаточно места для разного рода неудовлетворенностей и вопросов. Прежде всего потому, что сами эти истолкования содержат слишком очевидные противоречия, не снимающие ощущение «странности» эпизода с телеологической точки зрения.

Начнем с интерпретаций, исходящих из того, что «Послание» продиктовано политическими мотивами. Если предположить, что Пий действительно хотел с его помощью обратить в христианство Мехмеда, то его попытка представляется совершенно уникальной и революционной, абсолютно выпадающей из общего контекста европейской политики и дипломатии. К моменту написания письма Константинополь почти восемь лет находился в ру-

ках турок, которые на протяжении нескольких десятилетий воспринимались подавляющим большинством европейских владык как их главный и самый страшный враг. К тому же политическая программа Пия в отношении турок была вполне определенной и последовательной, не допускавшей никакого оппортунизма. Он был хорошо известен как наиболее решительный сторонник войны, и его план крестового похода не предполагал диалога с противником, не говоря уже о таком «компромиссе», как предложение султану императорской короны.

Ставит под сомнение политическую значимость «Послания» и последующая судьба созданного папой текста. Историкам не удалось найти никаких следов того, что обращение Пия было отправлено Мехмеду и вообще было известно при дворе султана<sup>26</sup>. Скорее всего, о его существовании знали лишь приближенные папе лица, в их числе биографы Пия Кампано и Платина, упоминающие о «Послании» в своих сочинениях<sup>27</sup>. Что касается самого папы, то он также (по причинам, о которых можно лишь гадать) замалчивает его существование в своих автобиографических «Записках»<sup>28</sup>. Основываясь на этих скрупулезно выверенных данных, современные исследователи даже называют текст документа «неопубликованным»<sup>29</sup>. Единственное доступное нам свидетельство «отклика» – это короткое письмо некоего Морбисана в форме ответа Пию, которое считается большинством исследователей более поздней подделкой<sup>30</sup>. «Послание» получило широкую известность (причем скорее литературного, нежели политического свойства) только после смерти папы.

Нельзя не задаться и другими вопросами. Например, могло ли рассчитывать на успех обращение к оппоненту-мусульманину, содержащее оскорбительные выпады против ислама? Как соотносится с задачей обращения Мехмеда обилие в нем имен античных авторов, многочисленные примеры из древней истории, наконец, классическая риторическая форма и гуманистическая латынь? В общем, обнаруживается разительное несоответствие между заявленной в документе задачей и способами ее достижения<sup>31</sup>. Если цель документа – обратить Мехмеда, то зачем помещать в нем столько риторических красот и известных только гуманистически образованному европейцу примеров? Если же это литературное сочинение и его цель – завоевать славу великого писателя, то зачем выбирать именно такую «реалистическую» форму? И неужели время, когда угроза турецкого завоевания христианского мира (или, по крайней мере, его части) пугала европейцев своей реальностью, было подходящим для того, чтобы «первому христианину» практиковать такого рода литературные

упражнения? Что касается «раздвоения личности» папы, то такой психологический диагноз (как, впрочем, и любые другие) малополезен историку, пытающемуся реконструировать конкретные ситуации в силу своей универсальности и, соответственно, внеисторичности. Признание непонятного нам действия человека патологическим отклонением в его психике, даже если диагноз точно не установлен, автоматически освобождает нас от необходимости разобраться в особенностях «патологии», перелаяя эту задачу на плечи специалиста из другой области.

*Интенциональность и два способа понимания людей прошлого.* Очевидно, полезно поразмыслить об общих причинах обозначенных трудностей истолкования этого случая. Что заставляло историков выстраивать множество замысловатых версий происшедшего и почему эти версии все же остаются малоубедительными?

Первой причиной следует назвать сам предмет рассмотрения. Человеческая интенциональность, объяснение мотивации поступков других людей – вещь сама по себе тонкая, подвижная, плохо поддающаяся однозначному определению<sup>32</sup>. Ясно также, что понятие интенциональности не относится к числу любимых в гуманитарных и общественных науках (помимо, конечно, психологии). В истории же считается само собой разумеющимся, что создать убедительную реконструкцию мотивов действий людей, живших столетия назад, «почти» невозможно. Такая реконструкция – занятие вообще в известном смысле «ненаучное», подобающее в большей мере исторической беллетристике и романистике. Эту трудность признают и сами историки. «Отношения между сознанием и поступком, – пишет Поль Вен, – остаются самой сложной проблемой исторического синтеза, поскольку они составляют его важнейшую часть; история вращается вокруг наших целей, а они не понятны нам самим»<sup>33</sup>.

Однако остается совершенно очевидным и иное: наше желание понять прошлое невозможно без попыток такого рода реконструкций. Без них это прошлое остается обедненным, урезанным, лишенным важнейшего измерения. В общем, несмотря ни на что, потребность в понимании мотивации людей продолжает быть так или иначе актуальной для наших представлений об истории. И не только истории. Трудно не согласиться с А. Шюцем, считавшим, что наблюдение за опытом существования других составляет важную часть человеческого бытия<sup>34</sup>.

В этой связи обращает на себя внимание, что в историографии вопреки очевидным теоретико-методологическим трудностям складываются новые направления со специфическими ис-

следовательскими задачами и методологией. Эти направления не в последнюю очередь имеют своей задачей как раз реконструкцию интенциональности: например, так называемая «персональная история», основным исследовательским объектом которой «являются персональные тексты, а предметом исследования – “история одной жизни” во всей ее уникальности и полноте»<sup>35</sup>. «Если до последнего времени, – замечает Поль Вен, – историческая антропология оставляла за кадром проблему самоидентификации личности, личного интереса, целеполагания, индивидуального рационального выбора и инициативы, то, в конечном счете, ответ на вопрос, каким образом унаследованные культурные традиции, обычаи, представления определяли поведение людей в специфических исторических обстоятельствах (а, тем самым, и весь ход событий и их последствия), потребовал выхода на уровень анализа индивидуального сознания, индивидуального опыта и индивидуальной деятельности»<sup>36</sup>.

Дело, по-видимому, заключается не только в сложностях, связанных с предметом рассмотрения – мотивацией поступков людей. Отмеченные трудности в истолковании случая с «Посланием» Пия имеют и эпистемологическую составляющую, обусловленную позицией исследователя по отношению к человеку прошлого. В самом общем плане можно говорить о существовании двух основных способов восприятия/понимания людей, «населявших прошлое», «из сегодняшнего дня». Первый, наиболее распространенный и наиболее укорененный в историографии, исходит из того, что между «ними» и историком, о них рассказывающем, нет никаких принципиальных сущностных различий (в наиболее ригористичном виде эта позиция может быть обозначена известной формулой о «неизменности человеческой природы»<sup>37</sup>). И даже если различия между «ними» и «нами» признаются, все же по умолчанию они не считаются принципиально значимыми, в особенности когда речь идет о мотивации индивида и его поведенческих моделях. Такой подход фактически признает, что и историк, и человек (или люди), о которых он рассказывает, мыслят по одним и тем же «правилам». Иначе говоря, тот присущий европейцам Нового времени тип мышления, который Макс Вебер назвал «практической рациональностью»<sup>38</sup>, противостоящей мифологическим верованиям, постепенно исчезнувшим в ходе исторического прогресса, признается универсальным и единственно верным. Наша рациональность, таким образом, «навязывается» людям прошлых эпох<sup>39</sup>.

Второй способ понимания людей прошлого, отчетливо заявивший о себе в историографии второй половины XX в., напротив,

в первую очередь, предполагает наличие существенных различий между «ними» и «нами», декларируя тезис о том, что «они» другие, не похожие на «нас». Его слоганом могут быть взятые на щит некоторыми историками конца прошлого столетия слова английского романиста Л.П. Хартли: «Прошлое – чужая страна: они там все делают по-другому»<sup>40</sup>. Этот способ первыми ярко продемонстрировали историки «Анналов», разработавшие понятие «ментальность», позднее он нашел развитие в некоторых направлениях исторической антропологии<sup>41</sup>. Он исходит из тезиса о том, что человек, рассказывающий историю о прошлом, и люди, о которых он говорит, мыслили по-разному, причем эти различия несводимы к оппозиции рационального/иррационального. Теоретические основания такого подхода были разработаны в последние десятилетия в культурной антропологии, показавшей, что в разных культурах мы встречаем разные концепты рационального, т.е. «стандарты» *ratio* в них не совпадают. Следовательно, привычное нам новоевропейское понимание рациональности (логика отношения к миру западного человека и его «здравый смысл») является не универсальным, а исторически специфическим, рожденным, по мнению Маршалла Салинса, просто определенным соотношением практической рациональности и эмпирического реализма («буржуазного реализма здравого смысла») <sup>42</sup>. Из этого вытекает, что прямолинейное применение исследователем «наших» стандартов для понимания «их», является ошибкой или даже неким «символическим насилием, производимым над другими временами и другими культурами»<sup>43</sup>. Что же ему в таком случае делать? Попытаться «избавиться от диктата универсальной практической рациональности» в понимании другого<sup>44</sup>. Мы не должны допускать, считает Салинс, что та «разновидность сенсорной эпистемологии и объективного реализма, которая представлена в западной науке», доминирует во всякой культуре, которую мы изучаем<sup>45</sup>. Чтобы быть понятыми, «мысли и практики других людей должны быть помещены в их собственный контекст, т.е. должны быть осмыслены как относительные ценности в сфере их собственных культурных связей, а не присвоены понятиями, исходящими из наших моральных и интеллектуальных категорий»<sup>46</sup>.

Если теперь вернуться к приведенным интерпретациям «Послания» Пия, то станет очевидным, что они в подавляющем большинстве своем исходят из первого допущения (т.е. что «они» принципиально не отличаются от «нас»). Эти интерпретации рассматривают и автора, и его текст как фактически принадлежащий *нашему* времени, т.е. с точки зрения *нашего* здравого смысла, *нашего* понимания законов политики, и т.п. И главная причина не

преодоленной загадочности казуса, похоже, кроется именно в этом.

*Построение контекста.* В дальнейшем история с «Посланием» папы будет интерпретирована исходя из второго допущения. Его поступок будет рассматриваться как поступок «другого», принадлежащего отличной от нашей культуре и, соответственно, обладающего другими представлениями о том, какие поступки следует считать «правильными», «разумными», «соответствующими ситуации» и т.п. Иными словами, поиск ответа на вопрос «зачем писать это?» будет основан на вполне антропологической (в духе Маршалла Салинса) позиции, которую можно свести к формуле: «разные культуры – разные интенциональности»<sup>47</sup>. Только вместо полинезийцев, марокканцев и других неевропейских народов, с которых преимущественно говорят антропологи, в качестве объекта внимания будет выбрана вполне определенная культурно обособленная группа: ученые итальянцы XIV-XVI вв., известные в историографии как «писатели-гуманисты», одним из которых и был наш автор «Послания к Мехмеду».

При подобном подходе главной задачей оказывается нахождение (или конструирование) культурного контекста, в котором случай с написанием папой письма султану станет более понятным. Таким контекстом, очевидно, могут стать существующие в современной историографии трактовки итальянской гуманистической культуры как «другой» и ее творцов – как людей, отличных от нас. Обратимся к одной из них – модели, предложенной Л.М. Баткиным в исследовании 1978 г., описывающем «стиль жизни» и «стиль мышления» итальянских гуманистов<sup>48</sup>. «Для новоевропейского рационального и позитивного аналитического подхода, – подчеркивает эту культурную инаковость автор, – Возрождение – трудная загадка»<sup>49</sup>. Очевидно, что здесь придется ограничиться только отдельными основными контурами этой историографической модели.

Работа Баткина полна примерами «странностей», с которыми сталкивается современный исследователь ренессансной культуры. Прежде всего, они обнаруживаются в том, как итальянские гуманисты подражали древним, в их *стилизации* жизни. Так, исследователь подробно рассказывает о флорентийском собирателе книг Никколо Никколи, который «носил подобие тоги, часами говорил на языке Цицерона» и «старался уподобить древнеримским образцам свой быт и повадки»<sup>50</sup>. По Баткину, это был не просто спектакль, разыгрываемый на потеху публике, но нечто иное, гораздо более значимое – «серьезная игра», укорененная в способе существования гуманистов. «Современное противопос-

тавление жизненной серьезности и игры, – подчеркивает он, – для Ренессанса непригодно»<sup>51</sup>. Но как нам понять эту «странность»? Для этого, говорит Баткин, нужно уяснить «структуру мысли», прочитать «жизненную обстановку» гуманиста как *текст*<sup>52</sup>.

Такое прочтение приводит его к заключению, что для понимания «стиля жизни и стиля мышления» гуманистов следует отказаться от использования понятия «стилизация». Это понятие «отягощено – в привычной для нас системе оценок – оттенками отчужденности, сознательной анахроничности, иллюзорности». Стилизация «неотделима от позднеевропейской антитезы “поэзии” и “правды”, мечты и реальности». Вместо него автор предлагает использовать понятие «мифологизация» как более точно обозначающее природу исследуемого феномена, имея в виду, что «гуманисты хотели жить – в качестве *sapientes* – в мире культурных образов, который был ими выстроен с помощью старых книг»<sup>53</sup>. В этом мире «две реальности, “земная” и “небесная”, могли пронизывать друг друга, потому что возникающая из этого пронизывающая тотальная реальность была истолкована ренессансными людьми как открытая и становящаяся»<sup>54</sup>. Гуманисты «чувствовали себя словно бы находящимися в огромном историческом амфитатре, где на них взирают бесчисленные нынешние и грядущие зрители... Поэтому слова и жесты нужно было рассчитывать на века. Стиль мышления переходил в стиль жизни»<sup>55</sup>. Определяя место подобного типа мышления на оси исторического времени, Л.М. Баткин подчеркивает его переходность, обозначая ее как начало разрыва с традиционалистским мифологическим сознанием. По мнению исследователя, «речь идет о *проблеме ренессансного типа мышления как процесса перерождения мифа, при котором миф выходит за собственные пределы и становится немифом*»<sup>56</sup>.

*Истолкование.* Попробуем теперь, имея в виду сказанное, вернуться к нашему случаю с Пием с тем, чтобы попытаться реконструировать мотивы, которыми он руководствовался, создавая свое «Послание».

Жизнь как текст. Если внимательно присмотреться к тому, что известно о жизни Энеа Пикколомини, то легко выяснится, что случай с написанием «Послания» в ней – далеко не единственный странный ее эпизод, мешающий нам «прочсть» эту жизнь как нечто более-менее цельное, руководствуясь логикой «здравого смысла». Обнаружится и немало других эпизодов, открыто с этим «здравым смыслом» спорящих. Причем их количество в его биографии заметно возрастает после восхождения Энеа на папский престол. Пожалуй, наиболее трудным для биографов папы ока-

зывается истолкование необычайного, часто даже кажущегося историкам маниакальным, упорства нашего героя в организации антитурецкого крестового похода. Вопреки реалиям европейской политической жизни он не уставал призывать к единению христианских государей и вступлению в войну с Мехмедом. Несмотря на то, что созванный им для принятия соответствующих решений съезд в Мантуе (1460 г.) заканчивается провалом, Пий продолжает упорно настаивать на своей идее. Наконец летом 1464 г., будучи уже тяжело больным, он отправляется (на носилках!) в Анкону, чтобы возглавить совершенно безнадежное предприятие: в месте назначения его ждало всего несколько крестоносных судов, готовых отплыть к берегам Малой Азии.

Но, пожалуй, еще более удивительным, чем это упорство, оказывается содержание обращения папы к кардиналам накануне его отъезда из Рима в Мантую. В нем Пий провозглашает свое горячее стремление сразиться с противником, но... не столько, чтобы победить, сколько, чтобы отдать свою жизнь за христиан, за свое «стадо». Он прямо указывает на свое намерение повторить жизненный подвиг Спасителя: «Мы дадим вам пример, – обращается он к кардиналам, – чтобы вы могли поступить точно так же, как поступим мы. Мы же будем подражать нашему учителю и повелителю Иисусу Христу, благочестивому и святому пастырю, который без колебаний отдал за своих овец душу. Отдадим и мы нашу жизнь за наше стадо, поскольку иначе мы никак не можем спасти христианскую веру от попрания турецкими воинами»<sup>57</sup>.

Таким образом, папа одновременно декларировал и свою победу в военной кампании, и собственную гибель в ней! К этому нелишне добавить, что за 3-4 года до смерти Пий составил автоэпитафию, в которой описал свой конец: он идет на войну с турками и погибает в сражении от смертельной раны (что касается исхода самого сражения, то он в автоэпитафии никак не обозначается)<sup>58</sup>.

К странностям/загадкам биографии папы историки относят и выбор Энеа Пикколomini имени «Пий» при восшествии на трон св. Петра (имел он в виду, делая этот выбор, своего предшественника Пия I или Вергилиевского Энея?), и содержание его «Буллы отречения», в которой он призывает всех «отречься от Энея, принять Пия», и целый ряд других эпизодов<sup>59</sup>.

Текст как жизнь. В истолковании этих (как, впрочем, и других) «странных» эпизодов биографии Энеа/Пия (или, точнее сказать, в реконструкции его намерений?) может оказаться полезным анализ одного важного документа: описания папой своей жизни в автобиографических «Записках о достопамятных деяниях». Пре-

вращение событий собственной жизни в текст, в связный рассказ, придает ей цельность, определенную логику и наделяет новыми смыслами. В чем, однако, эта цельность и логика состоит? Какие нарративные модели и стратегии использует автор, рассказывая о своем жизненном пути?

В рассказе папы о себе отчетливо прослеживаются четыре таких модели: Вергилиевого Энея, Юлия Цезаря, святого мученика и великого оратора и поэта. Причем в описании одного биографического эпизода доминирует одна модель, другого – другая и т.д. Пий строит рассказ о себе как о «новом Энее», прямом наследнике легендарного героя, на новом витке истории повторяющем его жизнь (он подчеркивает, что не случайно носит имя Эней Сильвий, после долгих скитаний воцаряется в Риме и т.п.). Одновременно он создает в «Записках» (вовсе не случайно носящих то же название, что и сочинение великого римского полководца – *Commentarii*) и автобиографический образ «нового Цезаря». Кроме этого, конструируя рассказ о себе в тексте сочинения, Пий следует еще жизненному идеалу святого мученика, подражающего Христу, а также античного оратора и поэта («нового Цицерона» и «нового Вергилия»)<sup>60</sup>.

Выявив наличие этих биографических моделей и обозначив их как проявление авторского намерения сделать героя «Записок» подобием величайших героев античной и христианской традиций, попробуем с учетом этого нового знания взглянуть на историю жизни Пикколомини-Пия по-новому. Помня о том, как он «моделировал» собственную жизнь в автобиографии, можно предположить, что и в своей повседневной деятельности Пий занимался тем же самым. Т.е. руководствовался не только политической прагматикой достижения вершин власти и другими задачами, продиктованными «практической рациональностью», но также стремился своими делами оставить о себе память совершенно определенного рода, которая позволила бы потомкам говорить о нем как о прославленном герое его времени, аккумулирующем в себе черты величайших людей прошлого.

Возвращаясь к «Посланию» папы и отвечая на главный вопрос, поднятый в этой работе – «зачем писать это?», – можно заключить, что «Послание» было составлено Пием не для того, чтобы достичь какой-либо политической цели, а для того, чтобы навеки остаться в памяти потомков величайшим писателем своего времени, «новым Цицероном». Турецкие завоевания, Мехмед II и политика вообще в данном случае были не больше, чем удобным предлогом для его написания. Став главой христианского мира, Энея Пикколомини не перестал быть частью того особого

мира гуманистов и той особой культуры, к которой принадлежал ранее. И само «Послание» по своему жанру и функции вовсе не являлось неким подобием современного письма одного государственного деятеля другому. Это была гуманистическая эпистола, т.е. сочинение особого рода, предполагавшее, что его коммуникативная функция и даже его адресат не важны. Главное в таком сочинении – совершенство стиля, близость к Цицеронианским и Овидианским моделям.

Чтобы разъяснить этот тезис, снова обращусь к тому месту цитированной выше работы Л.М. Баткина, где говорится о гуманистической эпистоле как жанре и как части мифологизированной культуры итальянских гуманистов.

«Может быть, ни один другой вид источников, – пишет историк, – так выразительно не показывает искусственность, выстроенность, придуманность, стилизованность жизни и общения гуманистов, как их эпистолы. ...Корреспонденты рядились “в тоги латинистов” и пользовались письмами не для обмена злободневной и личной информацией, а для общих рассуждений и упражнений в элоквенции по Цицероновскому образцу. ...Это были, собственно, не письма, как мы их понимаем, а сочинения особого литературного жанра». И дальше, ссылаясь на авторитет Леонардо Ольшки, подчеркивает, что «со времен Петрарки письма с самого начала предназначались для опубликования, интерес к ним существовал “не личный, а чисто стилистический”»<sup>61</sup>.

Для такого рода утверждений существует достаточно оснований: «авторы, накопив изрядное количество эпистол, составляли из них сборники, распределяли в обдуманном порядке и включали в прижизненные издания своих сочинений. Замечательный пример первым подал Петрарка. Он перерабатывал и редактировал свои “Письма к близким” задним числом. Первые две книги петрарковского “Эпистолярия”, датированные 1330-1340 гг., были на самом деле написаны заново преимущественно около 1351-1353 гг. и пополнялись или исправлялись до 1366 г. ...Эти письма были адресованы подчас людям, жившим более тысячелетия тому назад, – Цицерону, Сенеке, Титу Ливию, а одно письмо обращено к потомкам...»<sup>62</sup>.

Л.М. Баткин приводит и еще одно важное наблюдение. «...Знаменательно, – отмечает он, – что ...послания, обращенные к античным классикам, тщательно интонировались и оформлялись как “настоящие” письма, имея, помимо даты, еще и обозначение места написания, всегда избиравшегося со значением, по ассоциации с адресатом. ...Грань между повседневностью существования воклюзского отшельника и идеализированностью его

умственных увлечений, таким образом, сознательно размывалась и делалась плохо различимой»<sup>63</sup>.

В качестве иллюстрации этой *ludum serium* приведу начало письма Петрарки, адресованного, – ни много, ни мало, – Гомеру (Fam. XXIV, 12):

«Франциск шлет привет Гомеру, повелителю греческой поэзии. Задолго до того, как твое письмо достигло меня, я имел намерение написать тебе, и я бы несомненно сделал это, если б не отсутствие единого языка...»<sup>64</sup>.

Остается добавить, что комментаторы этого письма, не признающие за Петраркой возможности быть «другим» и руководствоваться в своих поступках иными мотивами, не продиктованными «здравым смыслом» и «практической рациональностью», продолжают упорствовать в своем нежелании допустить, что «первый поэт современности» обращался именно к Гомеру, а не к кому-либо еще. В комментариях к одному из изданий писем поэта 1985 г. указывается, что письмо это было обращено к «неизвестному корреспонденту» Петрарки и являлось «ответом на длинное и очень обстоятельное послание, адресованное ему от имени поэта Гомера из царства мертвых»<sup>65</sup>. Комментатор, впрочем, вынужден добавить, что идентификация этого корреспондента для историков до сих пор остается неразрешимой загадкой.

---

<sup>1</sup> Работа написана при поддержке исследовательского гранта Institute for Advanced Studies, Collegium Budapest.

<sup>2</sup> Geertz C. Local Knowledge. NY., 1983. P. 16.

<sup>3</sup> См. о них подробно в новых немецкой и итальянской публикациях документа: Pius II. Epistola ad Mahumetem: Einleitung, kritische Edition, Übersetzung / Reinhold F. Gleiß und Markus Köhler; unter Mitw. von Beate Kobusch. Trier, 2001. S.98-111; D'Ascia L. Il Corano e la tiara: L'epistola a Maometto II di Enea Silvio Piccolomini (Papa Pio II) / Intr. ed ed. di Luca D'Ascia; pref. di Adriano Prosperi. Bologna, 2001. P.144.

<sup>4</sup> Лука Д'Ашиа считает, что письмо редактировалось и позднее, в начале 1462 г.: D'Ascia L. Il Corano e la tiara. P.100.

<sup>5</sup> Здесь и далее цитаты приводятся по указанному выше трирскому изданию 2001 г. (S.130-326) в соответствии с принятой в нем разбивкой на параграфы.

<sup>6</sup> Pius II. Epistola ad Mahumetem / A cura di G. Toffanin. Napoli, 1953.

<sup>7</sup> См. кроме указанных выше в прим.3: Pie II. Lettre à Mahomet II / Trad. e Préf. par A. Duprat. Paris, 2002.

<sup>8</sup> В подавляющем большинстве рукописей либо в *incipit*, либо в *explicit* сочинение также обозначается именно как письмо (*epistola*), причем письмо, имеющее вполне определенного адресата: Мехмеда II (*ad imperatorem turcorum, ad illustrem Mahumethem principem turcorum, и т.п.*). Только в одной из рукописей (Be1) в *incipit* оно называ-

ется «речью», обращенной к Мехмеду (Pij pape Secundi oratio ad illustrissimum Mahumetem turcorum principem) – Pius II. Epistola ad Mahumetem: Einleitung, kritische Edition, Übersetzung. S.98-111.

<sup>9</sup> Gaeta F. Sulla «Lettera a Maometto» di Pio II // *Bulletino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio Muratoriano* 77 (1965): 177-178.

<sup>10</sup> Условность такого деления совершенно очевидна, поскольку исследователи, объясняя поступок Пия, часто называют не один, а несколько разных порой противоречивых мотивов – об этом речь пойдет дальше.

<sup>11</sup> Gregorovius F. *Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter. Vom 5. bis zum 16. Jahrhundert. Bd.3* (Цит. по: Gaeta F. Sulla «Lettera a Maometto» di Pio II. P.178).

<sup>12</sup> «Wunderlicher Gedanke» – Voigt G. *Enea Silvio Piccolomini als Papst Pius II. und sein Zeitalter. Bd.3* (Цит. по: Gaeta F. Sulla «Lettera a Maometto» di Pio II. P.179).

<sup>13</sup> Ady C.M. *Pius II (Aeneas Silvio Piccolomini) the Humanist Pope. L., 1913* (Цит. по: Gaeta F. Sulla «Lettera a Maometto» di Pio II. P.180).

<sup>14</sup> Gaeta F. Sulla «Lettera a Maometto» di Pio II. P.191. Следует отметить, что Гаэта дает неоднозначную интерпретацию казуса, предпринимая попытку историоризировать поступок Пия (P.190-192).

<sup>15</sup> Pastor L. *Geschichte der Papste seit dem Ausgang des Mittelalters. Freiburg, 1894. Bd.2.* (Цит. по: Gaeta F. Sulla «Lettera a Maometto» di Pio II. P.179).

<sup>16</sup> Garin E. *Ritratti di umanisti. Firenze, 1967. P.34.*

<sup>17</sup> Toffanin G. *Introduzione // Pius II. Epistola ad Mahumetem. P.X,XI,XVIII.*

<sup>18</sup> Baca A.R. *Introduction // Pius II. Epistola ad Mahomatem II (Epistle to Mohammed II) / Ed. and transl. by Albert R. Baca. N.Y., 1990. P.4.*

<sup>19</sup> Boulting W. *Aeneas Silvius. L., 1908. P.340-341.*

<sup>20</sup> Mitchell R.J. *The Laurels and the Tiara. Pope Pius II (1458-1464). L., 1962. P.171-173.*

<sup>21</sup> Paparelli G. E.S. *Piccolomini (Pio II). Bari, 1950. P.323.*

<sup>22</sup> С литературной точки, считает историк, это был шедевр, воплотивший в себе «Zeitgeist»: «Из всех писаний, которые вышли из-под пера Пия, нет ни одного, в котором дух гуманизма (понимаемый не как чисто литературные упражнения, но как определенная концепция жизни и идейная позиция) отражается и распознается лучше, чем в этом» – Paparelli G. E.S. *Piccolomini (Pio II). P.233.*

<sup>23</sup> См. напр.: D'Ascia L. *El Pontífice romano y el Emperador troyano. La carta de Pío II (Enea Silvio Piccolomini) al Sultán Mehmed II // Averroes dialogado: y otros momentos literarios y sociales de la interacción cristiano-musulmana en España e Italia / Coordinación y edición de André Stoll. Kassel, 1998. P.55-86.*

<sup>24</sup> См.: D'Ascia L. *Il Corano e la tiara. P.102; Bisaha N. Pius II's Letter to Sultan Mehmed II: A Reexamination // Crusades: The Journal of the Society for the Study of the Crusades and the Latin East* 1 (2002): 183-200;

Idem. Pope Pius II and the Crusade // *Crusading in the Fifteenth Century. Message and impact* / Ed. Norman Housley. L., 2004.

<sup>25</sup> D'Ascia L. El Pontifice romano y el Emperador troyano. P.82.

<sup>26</sup> Gaeta F. Sulla «Lettera a Maometto» di Pio II. P.191-192.

<sup>27</sup> Campanus I. Vita Pii II Pontificis Maximi // *Rerum Italicorum Scriptores*. Milano, 1734. T.3, Pars 2; Platina B. *De vitis pontificorum historia*. Venezia, 1511.

<sup>28</sup> Pius II. *Commentarii rerum memorabilium que temporibus suis contingerunt* / Ed. A. van Heck. Vaticano, 1984. См. отрывок на русском языке: Пий II. Записки о достопамятных деяниях / Пер. Ю.П. Зарецкого // *Средние века*. Вып.59. М., 1997. С.233-252.

<sup>29</sup> D'Ascia L. Il Corano e la tiara. P.104.

<sup>30</sup> Gaeta F. Sulla «Lettera a Maometto» di Pio II. P.130. Письмо Морбисана опубликовано: Pius II. *Epistola ad Mahumetem* / A cura di G. Toffanin. P.181-182.

<sup>31</sup> Исследователи, придерживающиеся противоположной точки зрения, выдвигают в ее поддержку свои аргументы. Они стремятся доказать, что во времена Пия многие влиятельные деятели церкви не рассматривали различия между христианством и мусульманством как непреодолимую пропасть. В качестве примеров приводится тот факт, что еще в 1431 г. на Базельском соборе Хуан де Сеговия предлагал организовать встречу (*contrafaerentia*) между христианами и мусульманами для обсуждения возможности преодоления различий в обеих религиях, призывы Кузанца к *concordia religionum* и его молитва о том, чтобы Господь даровал Мехмеду II мудрость принять Евангелие в упоминавшемся выше трактате *Cribatio Alchorani*, посвященном Пию, и др. Кроме того, ими подчеркивается, что мать Мехмеда была христианкой. Это обстоятельство, по их мнению, является дополнительным свидетельством того, что замысел папы был не совсем абсурдным.

<sup>32</sup> См. об этом напр.: Девятко И.Ф. Логические и содержательные трудности рационального объяснения действия // *Социологический форум* 1 (1998).

<sup>33</sup> Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии. Приложение: Фуко совершает переворот в истории. М., 2003. С.250. В другом месте историк разъясняет этот тезис: «...Мучимый вполне естественной жадой славы, царь начал войну и был побежден, так как противник имел численное превосходство, поскольку небольшое войско, как правило, уступает крупному войску. История никогда не поднимается над этим простейшим уровнем объяснения; по сути, она остается рассказом, и то, что называют объяснением, – всего лишь средство сделать рассказ с понятной интригой». Историческое объяснение «не заслуживает особых восторгов и ничем не отличается от типа объяснений, применяемых в повседневной жизни или в любом романе, где рассказывается об этой жизни; оно заключается только в ясности, которая исходит от рассказа со ссылками на источники; историк получает объяснение в самом повествовании и, как в романе, оно не

является операцией, отделенной от повествования. Все, о чем рассказано, понятно постольку, поскольку об этом можно рассказать» (Там же. С.111). См. также весь раздел IX: Сознание не является основой поступка (с.212-253).

<sup>34</sup> Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках // Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М., 2004. С.59-60.

<sup>35</sup> Репина Л.П. Вместо Предисловия // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып.5. М., 2001. С.7.

<sup>36</sup> Вен П. Как пишут историю. С.219.

<sup>37</sup> О подходах к проблеме «природы человека» в гуманитарных науках новейшего времени см. содержательную статью Роджера Смита: Smith R. The history of human nature: more of the same or facing the other? // Коллаж – 5. Социально-философский и философско-антропологический альманах. М., 2005. С. 8-34.

<sup>38</sup> Согласно Хабермасу, прокомментировавшему это понятие, «соединение инструменально-рационального и ценностно-рационального действия произвело тип действия, который соответствовал *практической рациональности как таковой*» – Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Band I: Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Frankfurt a. M., 1987. S.245.

<sup>39</sup> Критика и переосмысление подобного подхода в антропологии стали особенно очевидными после Второй мировой войны – см. напр.: Winch P. Understanding a primitive society // Rationality / Ed. B.R. Wilson. Oxford, 1964.

<sup>40</sup> «The past is a foreign country: they do things differently there» (Hartley L.P. The Go-Between). См. влиятельную книгу английского географа Дэвида Лоуэнтала, давшую повод для оживленной дискуссии: Lowenthal D. The Past is a Foreign Country. Cambridge, 1985 (Рус. пер.: Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. СПб., 2004).

<sup>41</sup> См., например, большую серию работ А.Я. Гуревича о культуре Средневековья: от «Категорий средневековой культуры» (М., 1972) до «Индивида и социума на средневековом Западе» (М., 2005) (первое изд.: Gurjewitsch A. Das Individuum in europäischem Mittelalter. München, 1994).

<sup>42</sup> Sahlins M. How «natives» think: about Captain Cook, for example. Chicago, 1995. P.5-8, 9, 152-153.

<sup>43</sup> Ibid. P.14. Ср. у Поля Вена: «Нет ничего более изменчивого, чем представление о рациональности...» (Вен П. Греки и мифология: вера или неверие? (Опыт о конституирующем воображении). М., 2003. С.155).

<sup>44</sup> Sahlins M. How «natives» think. P.7.

<sup>45</sup> Ibid. P.158.

<sup>46</sup> Ibid. P.274.

<sup>47</sup> Эта формула перекликается с заглавием статьи Стивена Люкса «Разные культуры, разные рациональности?», в основу которой легли материалы содержательной дискуссии американских антрополо-

гов конца 1980-х гг. (Lukes S. Different cultures, different rationalities? // History of the Human Sciences 13 (2000). №1: 3-18). Нужно заметить, что к обозначенной Люксом позиции близок и подход «культурной психологии» Брюнера. Главный тезис, отстаиваемый ученым – «культура придает форму сознанию, она снабжает нас набором инструментов, с помощью которых мы конструируем не только наши миры, но и представления о самих себе и наших возможностях» (Bruner J. The Culture of Education. Cambridge (Mass.), 1996. P.X.) – выглядит как весьма привлекательная перспектива для исторических исследований, связанных с проблемами индивида (См. об этом, в частности: Gouwens K. Perceiving the Past: Renaissance Humanism after the «Cognitive Turn» // The American Historical Review 1 (1998): P.55-56, 77). Такая позиция в определенной степени противостоит большинству традиционных подходов, согласно которым личность формируется в первую очередь в силу экономических и социальных обстоятельств (См. напр. статью Натали Земон Дэвис об индивиде в XVI в., где в качестве определяющих факторов его самоидентификации называются социальные институты: семья, род, монашеский орден, религиозная община, сословие, цех, государство и т.д. – Davis N.Z. Boundaries and the Sense of Self in Sixteenth-Century France // Reconstructing Individualism: Autonomy, Individuality and the Self in Western Thought. Stanford, 1986. P.53-63).

<sup>48</sup> Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М., 1978. Замечу, что модель гуманистической культуры Л.М. Баткина, используемая в настоящей работе, на мой взгляд, не является единственно возможной для истолкования казуса с посланием Пия. К аналогичным результатам можно было бы, по-видимому, прийти и используя «контексты», созданные другими исследованиями гуманистической культуры, которые исходят из тезиса о ее инаковости.

<sup>49</sup> Там же. С.148.

<sup>50</sup> Там же. С.4.

<sup>51</sup> Там же. С.94, 111.

<sup>52</sup> Там же. С.98, 99.

<sup>53</sup> Там же. С.112.

<sup>54</sup> Там же. С.121-122.

<sup>55</sup> Там же. С.91.

<sup>56</sup> Там же. С.113.

<sup>57</sup> *Exemplum dabimus vobis ut quemadmodum nos ipsi facturi sumus, ita et vos faciatis. Nos autem magistrum et dominum nostrum Iesum Christum, piwm et sanctum pastorem, imitabimur qui pro suis ovibus animam ponere non dubitavit. Ponemus et nos vitam nostram pro grege nostro, quando aliter christiani religioni, ne Turcorum viribus conculcetur, subvenire non possumus. Amabimus classem quantam pro facultatibus Ecclesie instuere poterimus. Ascendemus navem, quamvis senes morbisque conquassati. Dabimus vela ventis atque in Greciam et Asiam navigabimus* (Pius II. Commentarii rerum memorabilium / Ed. A. van Heck. Vaticano, 1984. XII, 31).

---

<sup>58</sup> См.: Bernetti G. Saggi e studi sugli scritti di Enea Silvio Piccolomini, papa Pio II (1405-1464). Firenze, 1971. P.43.

<sup>59</sup> См. об этом подробнее: Зарецкий Ю.П. Ренессансная автобиография и самосознание личности: Энеа Сильвио Пикколомини (Пий II). Нижний Новгород, 2000. С. 88-99.

<sup>60</sup> Там же. С.65-83.

<sup>61</sup> Баткин Л.М. Итальянские гуманисты. С.101-102.

<sup>62</sup> Там же. С.103.

<sup>63</sup> Там же. С.104.

<sup>64</sup> Franciscus Homero gratie muse principi salutem. Dudum te scripto alloqui mens fuerat, et fecissem nisi quia lingue commercium non erat... (Petrarca, Francesco. Le familiari / Per cura di Vittorio Rossi e Umberto Bosco. Vol IV. Firenze, 1942. P.253-263).

<sup>65</sup> Petrarca F. Letters on Familiar Matters, Rerum familiarium libri XVII-XXIV / Tr. Aldo S. Bernardo. Baltimore, 1985. P.342.

## Кастильские государи и аристократы XV в. глазами хрониста Фернандо дель Пульгара.

Фернандо дель Пульгар, произведения которого попали в поле нашего зрения, – один из интереснейших испанских авторов XV века. Разносторонне одаренный, хорошо образованный, он оставил после себя наследие, к которому обращаются снова и снова. Точная дата рождения Пульгара не известна: он родился до 1430 года предположительно в Толедо, воспитывался при дворе короля Хуана II, а при его сыне Энрике IV стал секретарем. Пульгар знал латынь, французский, считался хорошим ритором и благодаря своим способностям побывал в Риме (1473), во Франции (1475), выполняя посольские обязанности. При Католических королях он был секретарем, послом, советником, доверенным лицом, а в начале 80-х годов королева Изабелла назначила его придворным хронистом. Во время Гранадской войны (1482-1492) Пульгар сопровождал королей в походах. Хронист жил во времена постоянных беспорядков и междоусобиц, в которых, однако, не принимал участия, оставаясь всегда на стороне монархов – сначала Энрике IV, затем Католических королей. Большую часть жизни находясь при дворе, он имел обширный круг знакомств, среди которых отметим знакомство с латинистом Алонсо де Картахеной и хронистом Алонсо де Паленсией. Последний писал о Пульгаре, что тот был мастером своего дела, человеком одаренным и проницательным<sup>1</sup>. Большое влияние на творчество хрониста оказало знакомство с Фернандо Пересом де Гусманом и его сборником биографий (середина XV века). Пульгар является автором «Хроники Католических королей», сборника жизнеописаний «Знаменитые мужи Кастилии», также были изданы его письма. Кроме того, ему приписывается авторство трактата о Гранадских королях<sup>2</sup>.

В начале 80-х годов королева Изабелла поручила Пульгару составление официальной хроники. В «Хронике Католических королей»<sup>3</sup> рассказывается о событиях второй половины правления Энрике IV и царствовании Католических королей, заканчивается она 1490-м годом<sup>4</sup>. Хроника состоит из двух частей: первая посвящена, главным образом, гражданской войне, внутренней и внешней политике Католических королей, а вторая – истории завоевания Гранады. Предполагается, что первую часть Пульгар отредактировал к 1484 году. Автор был очевидцем событий, знал лично их участников, че-

рез него проходила обширная документация, а королева по возможности содействовала его работе. Несмотря на то, что хроника задумывалась как официальная, она не увидела свет при жизни автора, и была опубликована только в 1545 году. В хронике четко обрисованы образы Изабеллы, Фердинанда, а также заходит речь об их предшественниках – Хуане II и Энрике IV.

При жизни Пульгара свет увидели его письма и сборник жизнеописаний (Толедо, 1486). Пульгар состоял в переписке со многими влиятельными людьми своего времени, включая королеву. Благодаря изысканному стилю Пульгара письма имеют как историческое, так и большое литературное значение<sup>5</sup>. Они были написаны в период от последних лет правления Энрике IV до 1484 года. В сборник входят 34 письма. Среди адресатов Пульгара королева Изабелла, король Португалии, влиятельнейшие магнаты королевства, прелаты, друзья Пульгара, его дочь и т.д. Письма имеют различную тематику: есть и официальные письма (например, к королю Португалии, *Letra VII*), и письма более интимного характера (к дочери, *Letra XXIII*). Некоторые из них вставлены в хронику (*III, VII, XVI*).

Самым интересным для нас источником стали «Знаменитые мужи Кастилии»<sup>6</sup> – сборник жизнеописаний, составленный Пульгаром, скорее всего, в первой половине 80-х гг. Первое его издание относится к 1486 году. Свидетельством того, насколько это произведение было популярно в то время, является количество изданий, которые претерпела книга, и их частота. Так, например, уже в 1493 году сборник и письма Пульгара переиздаются в Сарагосе. Далее последовала целая серия изданий: две публикации от 1500 года, 1543, 1545, 1632, 1670, 1747 и т.д. В XX веке «Знаменитые мужи» также издаются несколько раз. Используемая нами публикация 1985 года была подготовлена Робертом Тэйтом, который впервые тщательно изучил и критически проанализировал это произведение<sup>7</sup>.

Свой сборник жизнеописаний Пульгар посвятил Изабелле Католической, что указывается в преамбуле, где автор напрямую обращается к королеве. В него вошли портреты тех персон, которых Пульгар знал лично, «чьи деяния и замечательные поступки должны быть рассказаны». Свое знакомство с произведениями жанра жизнеописаний Пульгар демонстрирует неоднократно. Свою книгу он начинает с небольшого историографического экскурса, где упоминает имена людей, писавших в этом жанре. Он ссылается на античных авторов, лю-

бимыми из которых для него были Плутарх и Валерий Максим. Очевидно его знакомство и с работами раннесредневековых писателей: Иеронима Стридонского, Августина, Исидора Севильского. Из современников автор особо выделяет секретаря французского короля Карла VII Жоржа де ла Вернада, с работой которого у него была возможность ознакомиться во время пребывания во Франции<sup>8</sup>. Определенное влияние на творчество Пульгара оказали идеи итальянского Возрождения, в частности произведения гуманиста Бартоломео Фацио<sup>9</sup>. Наконец, важной вехой в жизни Пульгара стало его знакомство со своим старшим современником Фернаном Пересом де Гусманом и его произведениями. Последний стал непосредственным предшественником Пульгара в жанре биографии: он «описал в стихах некоторых знаменитых мужей», а также был автором сборника жизнеописаний в прозе «Поколения и биографии»<sup>10</sup>. Без сомнения, Пульгар очень ценил эту работу, многому научился у ее автора, которого дважды упомянул в своих «Знаменитых мужах»: в предисловии и заключении<sup>11</sup>.

Существует несомненное сходство «Поколений и биографий» и «Знаменитых мужей», но есть и довольно существенные различия, как в структуре портретов, выборе героев, в манере написания, так и в отношении к персонажам. Исследователи редко избегают сравнения этих работ<sup>12</sup>. Сам Пульгар называет биографии Переса де Гусмана краткими, и, если сравнивать с его собственной работой, это действительно так. Если Перес де Гусман может ограничиться коротким рассказом о предках, внешности и характере героя, то биографии Пульгара гораздо многословнее и подробнее за счет более пристального внимания к характеру и поступкам героя. Если основное внимание Переса де Гусмана приковано подчас к происхождению героя, то Пульгар, хотя и следует той же схеме, но делает акцент, скорее, на нравственном облике персонажей, и в его жизнеописаниях гораздо больше «теории». Благодаря этому, по мнению исследователя Бермехо Кабре, биографии Пульгара не только приобретают оригинальность, но также предлагают читателю более разработанные рыцарские архетипы<sup>13</sup>.

У Пульгара сильнее чувствуется влияние итальянского Возрождения. Это выражается не только в пристальном внимании к личности героев, но и в том, что личность выходит на первый план. Переса де Гусмана может смутить невысокое происхождение персонажа, и он пишет о нем с некоторым пренебрежением<sup>14</sup>. Исследовательница Мария Кинтанилья

Расо усмотрела сильное сословное предубеждение в основе подхода Переса де Гусмана к рассказу о незнатных персонажах, о «выскачках»<sup>15</sup>. Пульгар же в своих рассуждениях более свободен. Он включает в свой сборник рассказы о персонажах незнатного происхождения, и этот факт не влияет на его к ним отношение (епископы, рыцари, граф Рибадео).

Различия отчасти можно объяснить тем, что авторы творили в разное время: эпоха Переса де Гусмана – это бесконечные войны и беспорядок, а Пульгар был свидетелем того, как Католические короли положили им конец.

Рассказ о герое строится по традиционной схеме: сначала Пульгар повествует о ближайших предках, родственниках, если речь идет о знатной фамилии. Далее следует описание внешности героя: в нескольких фразах, но с интересными мелкими деталями. Далее идет собственно жизнеописание, психологический портрет. В нескольких местах рассказы прерываются короткими вставками из античной истории. Кроме того, Пульгар позволяет себе отвлекаться на собственные размышления, которые только украшают работу. В книгу вошли рассказы о короле Энрике IV, восьми прелатах и пятнадцати представителях дворянства, по преимуществу титулованной знати.

Пульгар жил при следующих кастильских монархах: Хуане II (1406-1454), его сыне Энрике IV (1454-1474) и Католических королях – Изабелле и Фердинанде (1474-1516).

О Хуане II Пульгар пишет мало. В «Знаменитых мужах» мы не найдем отдельной главы, посвященной этому монарху. Это и не удивительно, поскольку в сочинении Переса де Гусмана уже таксвая имелась<sup>16</sup>, на что хронист указывает в предисловии, тем самым подчеркивая преемственность. У Пульгара Хуан II упоминается чаще как отец Энрике и Изабеллы. В хронике имеются краткие сведения о браках Хуана II, его супругах<sup>17</sup>, есть отсылки к событиям периода его правления. Многие герои «Знаменитых мужей» жили во время правления Хуана II, и в биографиях речь заходит об их участии в событиях того времени. Здесь для Пульгара важно, какую роль в беспорядках той эпохи играл описываемый им герой: был ли он на стороне короля и его фаворита Альваро де Луны, коннетабля Кастилии, или входил в одну из оппозиционных группировок знати<sup>18</sup>.

Говоря о Хуане II, Пульгар применяет обычные формулы: «высочайший и могущественный» (*my alto & poderoso*) и «единственный естественный король» (*único rey natural*) Кас-

тилии. Однако позиция хрониста не столь однозначна, и в своих редких суждениях о Хуане II как личности и правителе, а также о периоде его правления Пульгар осторожен. Хуан действительно был единственным королем по рождению (*natural*), но фактически страной правил его фаворит. Автор пишет о той большой любви, которую король выказывал и на словах, и на деле по отношению к Альваро де Луне. Он неоднократно говорит о том, к каким тяжелым последствиям привело безграничное доверие короля к своему приближенному, видя в действиях фаворита причину «войн и скандалов в королевстве». Свое отношение к фаворитизму Пульгар высказывает на примере героев: Фадрике Энрикес, активный участник событий тех лет, присоединяется к противникам короля и Луны, но не заслуживает порицания со стороны автора, более того – его биография помещена первой среди портретов аристократии. Пульгар, который по своим взглядам был противником любого восстания против законного короля, пусть даже слабого, вероятно считает, что его герой имел существенную причину для выступления против Хуана II<sup>19</sup>. Отсюда очевидно отношение хрониста к персоне Альваро де Луны как к источнику бед королевства. Согласно Пульгару, Хуана II, а потом и Энрике IV, окружали люди, которые преследовали свои собственные интересы, вместо того, чтобы блюсти интересы королевства. И, руководствуясь личными соображениями, они «восславляли то, о чем должны были молчать, и умалчивали о том, что нужно было порицать», и если кто-то говорил «разумные вещи», то он мог вызвать тем самым ненависть и осуждение<sup>20</sup>.

«Могущество» Хуана II также ставится Пульгаром под сомнение. Если хронист обращается к событиям того периода, то чаще всего речь идет о беспорядках: в «Знаменитых мужах» фоном для нескольких биографий служат антикоролевские и междоусобные войны; в хронике речь заходит о волнениях в Галисии, неповиновении жителей Толедо, битве при Ольмедо<sup>21</sup> и т.д. Король не всегда оказывался в состоянии повлиять на ситуацию и иногда поступал против своей воли, в угоду чьим-то интересам. Так было с пожалованием города Пласенсии Педро де Суньиге (1442), которое Пульгар называл «вынужденным» и «излишним». С другой стороны, такое отношение хрониста могло быть вызвано его желанием объяснить, почему Католические короли вернули этот город в казну<sup>22</sup>.

Несмотря на все изложенное выше, Пульгар, так порой несдержанный в своих отзывах о героях, в том числе королях,

прямо не осуждает Хуана II, не позволяет себе резко высказываться в его адрес. В Хронике Хуан II выступает и как положительный пример: в речи, адресованной королеве Изабелле в связи с наведением порядка в Севилье (1477), автор вспоминает о том, что Хуан II объявил о всеобщем помиловании после войн с арагонскими инфантами<sup>23</sup>.

Для Пульгара Хуан II – прежде всего отец королевы Изабеллы, адресата «Знаменитых мужей» и «заказчицы» хроники. Пожалуй, это ключевой момент в восприятии и изображении Хуана II в произведениях Пульгара.

Намного более ярким и полным в произведениях Пульгара рисуется портрет брата Изабеллы короля Энрике VI. Его жизнеописание, – пожалуй, самый эмоциональный рассказ «Знаменитых мужей»<sup>24</sup>. Часто к событиям того времени обращается Пульгар и в хронике.

Автор не жалеет слов, чтобы рассказать о недостатках монарха. Хронист упоминает о тех из них, которые, по его мнению, были в годы юности принца почти безобидными для окружающих, но оказались определяющими уже для судьбы всей страны в период его правления. Так, Пульгар замечает, что принц предавался тем наслаждениям, которые «легкомыслие требует, а благоразумие должно отвергать»<sup>25</sup>. Он окружал себя молодыми людьми, которых «очень любил и делал им богатые подарки». А те использовали в своих собственных интересах возможность влиять на принца, а потом и на короля<sup>26</sup>. Более резким в отношении личности Энрике был лишь современник Пульгара, хронист Алонсо де Паленсия<sup>27</sup>, который рисовал его человеком, обладавшим противоестественными наклонностями. Паленсия не раз рассказывает о «развратных привычках инфанта, только и занятого дикостями и мерзостями»<sup>28</sup>.

Пульгар подчеркивает нежелание и полное отсутствие у Энрике IV способности к управлению государством: он оказывается небрежным, и едва ли сведущим в чем-либо, не касающемся его развлечений. Причину этого Пульгар видит в том, что в этом человеке желание всегда руководило разумом, а помыслы о наслаждениях занимали все свободное время, и это отрицательно сказывалось на управлении королевствами. По Пульгару, король никогда не отказывал себе в том, чего требовала его испорченная натура<sup>29</sup>. Энрике IV в произведениях Пульгара обладал и положительными, с точки зрения общечеловеческих ценностей, качествами, такими как милосердие, мягкость, щедрость, но в хорошем монархе, ка-

ковым хронист его не считал, все должно быть в меру. Паленсия, напротив, рисует Энрике жестоким<sup>30</sup>.

Правление Энрике IV Пульгар условно делит на два периода по десять лет каждый. Первые десять лет король был очень богатым и могущественным – в его распоряжении имелась сильная армия, делавшая его знаменитым на весь мир, и правители соседних государств так опасались его силы, что не осмеливались поступать против его воли<sup>31</sup>. В тот период король, по мнению Пульгара, еще не во всем полагался на мнение приближенных. Но уже тогда хронист усматривает источник бедствий для страны в склонности короля окружать себя фаворитами.

Вторая половина правления Энрике IV – время бессилия короля, фаворитизма, беспорядочных пожалований и бесконечных внутренних войн. По мнению Пульгара, за непослушание отцу король был наказан Богом неповиновением своих приближенных<sup>32</sup>. «Господь Бог, который иногда позволяет случаться злодеяниям, чтобы каждый был наказан в соответствии с тяжестью совершенного греха, допустил такие войны по всему королевству, что никто не смог бы сказать, что он свободен от совершавшихся злодеяний»<sup>33</sup>.

Окружавшие короля люди преследовали свои собственные интересы, подчиняя им действия монарха. А по Пульгару, и король, и его приближенные должны думать и стремиться к всеобщему благу («bien común», «bien general»). Пульгар признает, что для каждого человека, в том числе и для него самого, естественным является желание владеть имуществом, добиваться земных благ и почитания. Также естественно прилагать усилия к тому, чтобы увеличить то, чем уже обладаешь. Однако добродетелью, по мнению Пульгара, будет в данном случае не стремление приумножить свое имущество, в первую очередь земельное, а забота о могуществе государства. В этой связи щедрость Энрике IV, согласно Пульгару, была чрезмерной. Даже упоминая о более удачном для короля периоде правления, хронист замечает, что он был очень расточительным – часто случались пожалования земель и титулов. А примерно с 1464 года начинается очередная мощная волна пожалований, и это нередко ставило под угрозу принадлежность к королевскому домену даже крупных городов<sup>34</sup>.

Выделяя щедрыми дарениями одних, король вызывал зависть со стороны тех, чьи надежды на власть и пожалования были обмануты<sup>35</sup>. Отсюда та ненависть, которой проникались «обделенные» королевским вниманием и пожалованиями

ми аристократы. А ненависть в свою очередь порождала «плохие помыслы и худшие поступки», а именно: у этих людей появлялось намерение захватить короля и даже убить его. И лишь только то обстоятельство, что король был набожным, смогло уберечь его от смерти в руках «обиженных»<sup>36</sup>. И здесь автор в который раз подчеркивает, что не должно королям выделять кого-либо из окружения, признавая при этом, что в данном случае Энрике IV повинуются естественному человеческому свойству любить одних людей больше других.

Важным моментом в описании Пульгаром Энрике было признание его неспособности иметь детей. В хронике много раз повторяется, что инфанта Хуана, соперница Изабеллы в династической борьбе, не является дочерью короля<sup>37</sup>. Это не вызывает у хрониста сомнений, или, по крайней мере, он очень старается, чтобы у читателей они не возникали.

На отношение Пульгара к правлению Католических королей, Изабеллы и Фердинанда, оказывали сильное влияние несколько факторов. Во-первых, он был придворным хронистом королевства, что не могло не накладывать определенный отпечаток на его позицию. Изабелла сама участвовала в составлении хроники, предоставляя Пульгару различную документацию. Далее, беспристрастность повествования ограничивалась важной задачей создать нарративное обоснование прав Изабеллы на кастильский трон. Правомерность нахождения последней у власти была поставлена под сомнение еще при жизни Энрике IV, а после коронации Изабеллы и Фердинанда началась гражданская война, в которой против королей выступила часть кастильской аристократии. Мятежные гранды привлекли на свою сторону короля Португалии Афонсу V, предложив ему жениться на дочери Энрике IV Хуане и таким образом занять кастильский престол. Изабелла и Фердинанд победили в этой войне, но успех нужно было закрепить. Хроника – один из способов сделать это, и даже ее структура подчинена указанной идее.

Наконец, при Католических королях, в жизни государства произошли значительные перемены. Объединив своим браком Кастилию и Арагон, Изабелла и Фердинанд боролись с центробежными силами и проводили активную государственную политику, направленную на укрепление внутреннего и внешнего положения Испании. Осознание значительных перемен в жизни страны, уже произошедших и еще происходящих, также сильно влияло на позицию Пульгара. Если годы правления их предшественников – это время несправедливо-

сти, неповиновения и правонарушений, то при Католических монархах на смену ему приходит эпоха справедливости, послушания и порядка<sup>38</sup>. И как царствование Католических королей отличается от правления Энрике IV, так и образы королевской четы рисуются во многом прямо противоположными портрету их предшественника.

Как становится понятно уже в самом начале хроники, гораздо больше внимания Пульгар уделяет Изабелле, нежели её супругу. Это объясняется несколькими обстоятельствами. Изабелла и Фердинанд – короли Кастилии, но если Фердинанд – король не только благодаря браку с Изабеллой (он имел право на кастильский трон как представитель боковой ветви династии Трастамара, являясь правнуком Хуана I Кастильского по прямой мужской линии), то права последней нужно было обосновывать. Одна из сквозных идей хроники – мысль о том, что Хуана не является дочерью Энрике IV, а, значит, не может находиться во главе государства. Изабелла, по Пульгару, – единственная законная наследница и королева милостью Божьей. К тому же сам хронист был ближе к окружению именно королевы Изабеллы, как Паленсия – к свите Фердинанда, что нашло отражение в обеих хрониках.

Что касается физического облика Католических королей, то оба, по утверждению Пульгара, хорошо сложены, внешность их приятна взору, а Изабелла красива. Психологические портреты монархов, нарисованные Пульгаром, довольно сильно разнятся и построены отчасти на принципе контраста. Фердинанд у Пульгара храбрый воин, искусный охотник. Он приветлив и дружелюбен, чем вызывает любовь окружающих. Одновременно Фердинанд – натура чрезмерно увлекающаяся: слишком много времени отдает всевозможным играм, любит женщин, в то время как Изабелла ему верна. Как и уже упоминавшиеся нами монархи, Фердинанд поддается влиянию и может изменять свои решения в угоду интересам других. Изабелла – женщина редких качеств. Мудрая, сдержанная, талантливая, она объединяет в себе обычно не сочетаемые черты характера. В принятии решений она руководствуется скорее своим собственным мнением, нежели советами окружающих. В действиях Изабелла благоразумна и осмотрительна: выбирая жениха из нескольких кандидатур, она руководствуется скорее государственным интересом, нежели личной симпатией<sup>39</sup>. Она сдержанна – умеет скрывать истинные чувства, когда того требуют обстоятельства<sup>40</sup>. В реках своих королева умеренна.

Главное, что отмечает Пульгар в Изабелле-инфанте, – ее стремление поступать по закону: она не выступает против своего брата Энрике IV, когда мятежная знать предлагает ей стать королевой при его жизни<sup>41</sup>. Напротив, Изабелле не нравятся действия знати, отказавшейся от повиновения законному королю и тем самым в очередной раз спровоцировавшей беспорядки в государстве. С самого детства Изабелла видела «бесконечные разрушения и тирании», «скандалы и волнения», которые ее расстраивали. Очень показательна в этом отношении проникновенная сцена обращения королевы к Богу с просьбой помочь навести порядок в королевстве<sup>42</sup>. Пульгар, как и его главная героиня, осуждает беспорядки, ссылаясь на Священное Писание, которое «предписывает нам повиноваться королям, даже если они беспутные»<sup>43</sup>. Желанием блюсти закон продиктовано несогласие Изабеллы с тем, чтобы кастильский престол заняла инфанта Хуана, так как последняя не является дочерью её брата. Не по закону, считает Пульгар, в этой ситуации поступает сам Энрике, который сначала признает Изабеллу своей наследницей, а потом отказывается соблюдать договор<sup>44</sup>.

Деяниями Католических королей руководит рука Господа. Важнейшие их свершения – борьба с ересями и Гранадская война. Королева религиозна и в минуты печали и радости обращается к Богу: Пульгар вставляет в хронику сцены, где Изабелла воссылает благодарственные молитвы после побед или просит помощи в наведении порядка в королевствах. Особо отмечается основание монастырей, церквей. Королева уважительно относится к служителям церкви, советуется с ними, в первую очередь со своим духовником Эрнандо де Талаверой<sup>45</sup>. Фердинанд – человек «по своей природе очень набожный», именно это качество, по Пульгару, заставляет его, например, не наказывать укрывавшихся в церкви сторонников португальского короля<sup>46</sup>.

Короли милосердны, об этом в хронике говорится не раз. Однако сердечность их избирательна, не переходит границ допустимого для монархов. Изабелла легко может простить проступки, совершенные против своей персоны, но в отношении преступлений против других она менее уступчива – ее сострадание на стороне потерпевшего и никогда не направлено против правосудия<sup>47</sup>. Изабелла человек сдержанный, но несправедливость может вызвать в королеве негодование. Гнева Изабеллы, по Пульгару, подданные опасались.

Как государственные деятели Католические короли заботятся о всеобщем благе, поступают так, как лучше будет

подданным, принимают беды государства близко к сердцу<sup>48</sup>. Достаточно подробно историк рассказывает, как умело Изабелла справляется с решением различных вопросов. Можно сказать, что королева для него – идеал государыни: «ни душа ее не переставала думать, ни тело – трудиться»<sup>49</sup>. Она решительна, обычно поступает без промедления, рассудительна в принятии важных решений – выслушивает мнения советников, но имеет и свой взгляд на вещи. Хронист отмечает, что королева серьезно относится к государственным делам, даже изучает для этого латынь. Изабелла понимает, что монарх должен выглядеть достойно в глазах своих подданных, и заботится о сохранении этого королевского достоинства<sup>50</sup>.

Отметим существенный момент – Изабелла, которую Пульгар выводит на первый план, имеет влияние на мужа, прибегающего к ее советам, поскольку он знает о «выдающихся способностях и благоразумии» супруги<sup>51</sup>. И оба монарха в минуты сомнений обращаются за помощью к кардиналу Мендосе, который на страницах хроники Пульгара действительно становится «третьим королем» Испании. Часто встречаем пространные речи, якобы произнесенные кардиналом, его инициатива в решении государственных вопросов всячески подчеркивается<sup>52</sup>.

Много внимания Пульгар уделяет образу Фердинанда-воина. Король хорошо владеет оружием, ловко сидит в седле. С детства он на поле боя и часто участвует в военных кампаниях. Он не знает страха в битве, но тут его храбрость граничит с безрассудством, поскольку Фердинанд любит риск: «Его просили много раз, чтобы он не подвергал себя опасности». Хотя пример Фердинанда воодушевляет его войско, королю, по мнению Пульгара, не следует так рисковать и сражаться наравне с обычными воинами. Помимо того, что короля нельзя допускать в особо опасные места боевых действий, его также необходимо охранять, для чего нужно определенное число вооруженных людей, постоянно находящихся рядом с ним. Во время продолжительных сражений Фердинанд заботится обо всех необходимых для успешного боя вещах, будь то провиант, вооружение или расположение на ночлег<sup>53</sup>.

Пульгар немногословен в описании придворной жизни, однако упоминает о склонности королевы окружать себя знатными людьми, «такими знатными, каких не было ни у кого ранее при дворе», которые бы покорно ей служили. Отмечает хронист и любовь королевы к украшениям и нарядам. В другом каком-либо случае все это можно было бы считать гре-

хом, однако здесь хронист не видит порока и излишней помпезности и считает, что для человека в положении короля такое приемлемо<sup>54</sup>.

Особо Пульгар выделял желание королевы учить латынь. Он признавал, что этот язык труден для усвоения тем, кто постоянно занят делами. Но при этом он верил в то, что королева справится, и латынь ей покорится, ведь благодаря своим способностям Изабелла выучила уже не один иностранный язык<sup>55</sup>.

В отношениях Изабеллы и Фердинанда царят гармония и понимание. Католические короли любимы подданными, и это являлось одним из весомых стимулов для верной им службы; их боялись, они вызывали уважение за сердечность и умение решать государственные задачи<sup>56</sup>. Свое могущество они сполна продемонстрировали в войне с маврами.

Пульгар, который любит упоминать о событиях античной истории в «Знаменитых мужах», пишет, что кастильские государи отличались от римских правителей в выгодную сторону, поскольку «не убивали своих детей, больше сдерживали свои чувства, умели очень хорошо управлять своими землями и провинциями»<sup>57</sup>.

В «Знаменитых мужах» содержатся рассказы о представителях аристократии времен Хуана II, Энрике IV и первых лет правления Католических королей. Жизнеописания получились очень разными, как по содержанию, так и по эмоциональной нагрузке. В хронике автор не останавливается подробно на рассказах об аристократии, основное внимание уделено событиям описываемых лет. В центре внимания Пульгара оказываются главные действующие лица сначала войны с Португалией, затем – Гранадской войны.

При описании внешнего облика Пульгар всегда указывает рост, чаще всего это средний рост, иногда форму носа – широкий или острый, иногда цвет глаз и волос. Автор обращает пристальное внимание на культуру речи, на манеру изъясняться. Например, маркиз Вильена «говорил с изяществом, речь его была хорошо аргументирована, немногословна», а Энрике Энрикес, граф Альба де Листе, «был придворным и всегда говорил кратко и изящно». Пульгар акцентирует внимание на дефектах речи, если таковые были: графы Сифуэнтес и Мединасели, к примеру, шепелявили, а у маркиза Вильены из-за болезни дрожал голос.

Важное значение Пульгар придает генеалогическому экскурсу. Это обычно несколько родственников, страна проис-

хождения, если род не кастильский; обращает он внимание и на древность линияжа. Пульгар особо выделяет португальское происхождение маркизов Вильены и Алонсо Каррильо, архиепископа Толедского<sup>58</sup>. В некоторых случаях подчеркивается чистота крови.

Пульгар анализирует систему ценностей человека того времени и делает вывод о том, что понималось под словом «могущество» (*autoridad*), и что определяло отношение к представителю аристократии. Могущественным, влиятельным человека в то время делали линияж (чем древнее, тем лучше), обладание титулами, состоянием, наличие богатых знатных родственников. Большое влияние на отношение окружающих к человеку оказывали его личностные качества. При этом подчеркивается, что если человек выдающихся способностей и добродетелей, то это делает его более уважаемым вне зависимости от того, каким он обладает состоянием. Например, так было в случае Энрике Энрикеса, на которого за его храбрость и суждения «всегда смотрели с большим уважением, чем на других, имевших большее состояние, чем его собственное»<sup>59</sup>. Отличительной чертой характера Хуана де Сильвы, графа Сифуэнтес, было его стремление говорить только правду, даже если она не нравилась собеседнику. Это качество в нем очень ценили – он выступал в кортесах и при дворе<sup>60</sup>.

Добродетелями, которые непременно должны были вызывать уважение, по Пульгару, были, в первую очередь, преданность королю и постоянство.

Кастилия XV века – это поле боя различных группировок знати; войны велись как междоусобные, так и антикоролевские, и замешаны в них были представители многих знатных родов государства. В сборник Пульгара попали члены различных группировок знати, в разное время участвовавших в этих беспорядках. Тема междоусобиц и выступлений знати против королевской власти была еще очень актуальна в первые годы правления Католических королей. Пульгар высказывался против антикоролевских восстаний. По его мнению, королевство представляет собой «естественное тело», головой которого является король. И даже если голова заболевает, человек не может отнять то, что давал не он. Короли помазаны самим Богом, и нельзя полагать, что смертному дозволено нарушать волю Всевышнего. Поэтому необходимо избегать любого восстания против королевской власти. При Хуане II на сторону Арагонских инфантов переходят братья Энрикесы –

адмирал Фадрике и Энрике. Однако, Пульгар не только прямо их не осуждает, но и помещает рассказ об адмирале Фадрике в начало сборника. Дело в том, что адмирал выдал свою дочь за Хуана Арагонского, отца Фердинанда. Об участии братьев в войнах против короля Пульгар пишет относительно коротко и находит виноватого скорее в лице фаворита Хуана II, Альваро де Луны. Тем самым Пульгар будто предостерегает Изабеллу, указывая ей на опасность, исходящую от приближения и выделения кого-либо из знати. Оправданием брату адмирала, Энрике Энрикесу, графу Альба де Листе, стала преданная служба Изабелле, что для Пульгара оказывается важнее темного прошлого. Вину Педро Фернандеса де Веласко, графа Аро, который какое-то время также занимал проарагонскую позицию, Пульгар готов списать на его молодость и неопытность<sup>61</sup>.

Если речь идет о распрях времен Хуана II, то в своих оценках Пульгар довольно сдержан, однако в рассказе о беспорядках времен правления Энрике IV и тем более Католических королей тон повествования несколько меняется. Здесь имеются в виду представители рода Пачеко (Хуан Пачеко, магистр ордена Сантьяго, и его сын Диего Лопес Пачеко, маркизы Вильена). Они наделены, по мнению Пульгара, не лучшими человеческими качествами: их отличает стяжательство и способность использовать других людей в своих корыстных целях. Среди прелатов по той же причине резко выделяется портрет архиепископа Толедского, Альфонсо Каррильо, принимавшего активное участие в войне португальского короля против испанских монархов.

Героями на таком фоне выглядят представители рода Мендоса. По Пульгару, преданность королю, верное ему служение – это истинная добродетель. Ею обладали Диего Уртадо де Мендоса (первый герцог Инфантадо), Педро де Суньига, Гастон де Ла Серда, Родриго Диас де Мендоса. К семье Мендоса у автора особое отношение. Как мы уже упоминали, в хронике кардинал Педро Гонсалес де Мендоса – один из главных героев. Кардинал и Пульгар имеют схожие политические взгляды: Мендоса так же, как и хронист, например, относится к королевской власти. Хронику отличает пристальное внимание в целом к семье Мендоса, с которой у автора были хорошие отношения, по крайней мере, с 1474 года<sup>62</sup>.

Еще одной добродетелью Пульгар считает воинскую доблесть. Ценится смелость, находчивость, опытность, проныцательность, способность воодушевить своих рыцарей. Превосходными воинскими качествами отличались, к приме-

ру, маркиз Сантьяна и граф Паредес. Похвальной Пульгар считает готовность служить королю даже в преклонном возрасте, как делал это Педро де Суньига, граф Пласенсия. Коннетабль Кастилии Педро Фернандес де Веласко не мог находиться на мирной земле, даже по приказу королей, если знал, что где-то идет война<sup>63</sup>. Безупречное исполнение воинской обязанности ведет к великой славе, однако она может быть сопряжена с большими опасностями и бедами. Но всем попавшим в беду воздастся, так как, по Пульгару, Бог после несчастья всегда дает благоденствие, и после многих слез и печали имеет обыкновение расточать свое милосердие<sup>64</sup>. Храбрым рыцарям и капитанам историк уделил много внимания, утверждая, что в воинской доблести кастильцы превосходят и античных героев, и современных рыцарей из других стран<sup>65</sup>.

Приветствуется автором стремление к занятиям наукой. Граф Аро, Педро Фернандес де Веласко изучал, например, латынь и был знаком с хрониками. Хорошее знание Священного Писания Пульгар отмечает у Диего Уртадо де Мендосы<sup>66</sup>. В свой сборник хронист включил описание двух известнейших литераторов того времени – поэта Иньиго Лопеса де Мендосы, известного как маркиз Сантьяна, и латиниста, переводчика Алонсо де Картахены, епископа Бургоса.

Правильное управление своими землями – это тоже наука. Для того, чтобы её постичь, нужно обладать такими качествами, как благоразумие, расчетливость, усердие и терпение. Все это Пульгар увидел в графе Аро. Он заботился о благосостоянии своих подданных, обращаясь с ними по справедливости, никого при этом не ставя выше остальных. Поэтому земли его оставались в целостности и даже процветали<sup>67</sup>. Пульгар считает, что важно не столько приумножить земельное богатство, сколько сохранить его и передать потомкам в целостности и в хорошем состоянии, как это сделал Фадрике Энрикес. Одним из крупнейших землевладельцев являлся маркиз Вильена. Благодаря таким качествам, как сердечность и щедрость, он был любим своими преданными подданными<sup>68</sup>. Однако Пульгар дважды указывает на такую разрушительную черту человеческого характера, как страсть к приобретению все новых земель. Как уже говорилось, хронист считал, что заботиться нужно прежде всего не о своих корыстных интересах, а об общем благе. Этой добродетелью обладали графы Аро и Сифуэнтес.

Еще одной добродетелью Пульгар называет заботу о своей душе. Историк считает, что не следует придавать излишнее значение внешнему, мирскому. По его мнению, самый верный способ получить милость Божью – выказывать скромность и раскаяние<sup>69</sup>. Он подчеркивает религиозность в героях, если таковую находит. Достоянием его одобрения граф Аро, который основал монастырь и больницу.

Практически в каждой биографии мы видим, как автор выделяет одну идеальную, на его взгляд черту, ставя тем самым героя в пример читателю. Так, граф Пласенсия был образцом верности, Диего Уртадо де Мендоса – постоянства, а Энрике Энрикес – эталоном хорошего и храброго рыцаря. Ближе всего к портрету идеального представителя знати оказалась биография графа Аро, Педро Фернандеса де Веласко: за исключением периода борьбы с Арагонскими инфантами, он верен королю, заботится о всеобщем благе, умеет управлять землями, он умен, религиозен, сдержан, справедлив, знает латынь, а его сын – коннетабль Кастилии, храбрый воин<sup>70</sup>. Несколькими идеализируется Пульгаром и род Мендоса.

Как ни старается Пульгар быть беспристрастным в своих работах, все же его точка зрения как человека, близкого к местам свершения великих дел, легко угадывается. Короли и аристократы в произведениях талантливого мастера надолго обретают память в потомках, их четко прорисованные образы и сейчас вызывают живейший интерес. На примере своих главных героев историк доносит до читателей, что Господу нужно служить благочестием, королю – верностью, родине – любовью<sup>71</sup>.

---

<sup>1</sup> Fradejas Lebrero J. Fernando de Pulgar. Vida y obra // Isabel la Católica y Madrid. Madrid, 2006. P. 111.

<sup>2</sup> Tratado de los Reyes de Granada // Semanario Erudito de obras críticas, morales, instructivas, políticas etc. 1787-91. XII, pp.57-144. Ed. Antonio Vailladares de Sotomayor. Окончательно вопрос об авторстве не решен.

<sup>3</sup> Pulgar F. del. Crónica de los Reyes Católicos. Edición y estudio por J. de Mata Carriazo. V. I, II. Madrid, 1943 (Далее – Crónica).

<sup>4</sup> Видимо, вскоре после этого Пульгар умер.

<sup>5</sup> Pulgar F. del. Letras. Glosa a las Coplas de Mingo Revulgo. Edición y notas de J. Domínguez Bordona. Madrid, 1958 (Далее – Letras).

<sup>6</sup> Pulgar F. del. Claros varones de Castilla. Edición de Robert B. Tate. Madrid, 1985 (Далее – Claros varones).

<sup>7</sup> Tate R.B. Introducción // Claros varones.

<sup>8</sup> Claros varones. P. 82. Работа этого автора до наших дней не дошла.

<sup>9</sup> Romero J.L. Sobre la Biografía y la Historia. Buenos Aires, 1945. P. 164.

<sup>10</sup> López Casas M<sup>a</sup> Mercè. «Loores de los claros varones de España» de Fernán Pérez de Guzmán: estudio de la transmisión textual. Barcelona,

1996; Pérez de Guzmán F. Generaciones y Semblanzas. Edición de J.A. Barrio Sánchez. Madrid, 1998.

<sup>11</sup> Claros varones. P. 82, 148.

<sup>12</sup> См., например, работы, непосредственно посвященные сравнительному анализу: Folger R. Noble subjects: interpellation in Generaciones y semblanzas and Claros varones de Castilla // eHumanista: Journal of Iberian Studies. Vol. 4 (2004). P. 22-50; Zuber E.M. Fernán Pérez de Guzmán und Hernando del Pulgar. Ein Beitrag zur Geschichte des Literarischen Porträts in Spanien. Basel, 1971.

<sup>13</sup> Bermejo Cabrero J.L. La biografía como género historiográfico en Claros varones de Castilla // Cuadernos de historia, 6 (1975). P.457.

<sup>14</sup> К примеру, в главе об Алонсо де Роблесе, главном контадоре Хуана II, которому пожаловали дворянство.

<sup>15</sup> Quintanilla Raso M<sup>a</sup>. C. La renovación nobiliaria en la Castilla bajomedieval. Entre el debate y la propuesta // La nobleza peninsular en la Edad Media. León, 1999. P.265.

<sup>16</sup> Pérez de Guzmán F. Generaciones y Semblanzas. P. 164-179.

<sup>17</sup> Crónica. V. I, p. 4.

<sup>18</sup> Альваро де Луна (ум. 1453), коннетабль Кастилии, магистр ордена Сантьяго. Правление Хуана II – период войн со знатью, выступавшей в том числе и против всевластия королевского фаворита. Долгое время возглавляли оппозиционные группировки арагонские инфанты Хуан и Энрике.

<sup>19</sup> «Особенно он [Фадрике Энрикес – Н.Ф.] порицал ту большую любовь, которую король дон Хуан испытывал к магистру Сантьяго, дону Альваро де Луне, коннетаблю Кастилии, и ту большую власть, которую он ему дал при своем дворе и в королевстве, и те многочисленные подарки, которые он ему делал.» – Claros varones... P. 89-90.

<sup>20</sup> Claros varones... P. 114.

<sup>21</sup> Crónica. V. I, p. 344, 430. Битва при Ольмедо (1445) – одно из самых значительных столкновений сил короля и Луны с оппозицией, закончившееся победой королевских войск.

<sup>22</sup> Crónica. V. II, p.361. Примечательно, что в биографии Педро де Суньиги, верховного судьи, в «Знаменитых мужах» нет упоминания об этом пожаловании. При Хуане II пожалования были частыми, Пульгар фиксирует их в своем сборнике биографий, но практически никак не комментирует.

<sup>23</sup> В хронике эту речь произносит епископ Бургоса Алонсо де Солис. Crónica. V. I, p. 315. Letra XVI. P. 76.

<sup>24</sup> Главу из «Знаменитых мужей» об Энрике IV позаимствовал у Пульгара Андрес Бернальдес, также историк Католических королей, и без изменений включил ее в свою хронику. См.: Bernádez A. Historia de los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel // Biblioteca de autores españoles. V. LXX. Madrid, 1931.

<sup>25</sup> Claros varones... P. 83.

<sup>26</sup> Claros varones... P. 83, 86.

<sup>27</sup> Существует несколько хроник, рассказывающих о правлении Энрике IV: официальная хроника Диего Энрикеса дель Кастильо (Enríquez del Castillo D. Crónica de Enrique IV / Ed. A. Sánchez Martín. Valladolid, 1994), «Мемориал» Диего де Валеры (Valera D. de Memorial de diversas hazañas. Edición y estudio por J. de Mata Carriazo. Madrid, 1941.), хроника Алонсо де Паленсии (Palencia A. de. Crónica de Enrique IV. V. I-IV. Madrid, 1904-1908).

<sup>28</sup> Palencia A. de. Crónica. V. I, p. 89.

<sup>29</sup> Claros varones... P. 83, 85. Crónica. V. I, p. 20.

<sup>30</sup> Palencia A. de. Crónica. V. I, p. 12.

<sup>31</sup> Claros varones... P. 84, 85. Crónica. V. I, p. 7, 8.

<sup>32</sup> Claros varones... P. 87, 116

<sup>33</sup> Claros varones... P. 88.

<sup>34</sup> Денисенко Н.П. Испанская монархия в последней трети XV – начале XVI века. Иваново, 1996. С. 26.

<sup>35</sup> Claros varones... P. 87.

<sup>36</sup> Claros varones... P. 84, 85.

<sup>37</sup> Инфанта Хуана – дочь королевы Хуаны, второй жены Энрике IV. Возможно, отцом инфанты был фаворит Энрике граф Бельтран де Ла Куэва. Вопрос о том, кто на самом деле был отцом Хуаны, до сих пор является спорным; отнюдь не исключено, что это все же был Энрике.

<sup>38</sup> Letra XI. P. 53.

<sup>39</sup> Crónica. V. I, p.25.

<sup>40</sup> Crónica. V. II, p.31.

<sup>41</sup> Оппозиционно настроенная часть знати королевства при жизни Энрике IV устроила его «заочную» детронизацию (1465), провозгласив королем его несовершеннолетнего брата Альфонсо. После смерти последнего (1468) королевой Кастилии предлагают стать Изабелле, но она отказывается. Crónica. V. I, p. 10.

<sup>42</sup> Crónica. V. I, p. 101.

<sup>43</sup> Letra III, 17.

<sup>44</sup> В 1468 г. в Торос де Гисандо был подписан договор, согласно которому инфанта Изабелла должна была наследовать Энрике IV, но в 1470 г. Энрике договор аннулирует. Брак Изабеллы и Фердинанда, заключенный в 1469 г. без согласия Энрике, был достаточным основанием для такого решения.

<sup>45</sup> Crónica. V. I, p.101, 218, 289. V.II, p.24.

<sup>46</sup> Crónica. V. I, p.172.

<sup>47</sup> Crónica. V. I, p.180.

<sup>48</sup> Пульгар приводит слова Изабеллы, обращенные к подданным: «То, что угодно вам, угодно и мне». Crónica. V. I, p.271.

<sup>49</sup> Crónica. V. II, p.49.

<sup>50</sup> Crónica. V. I, p.269, 304.

<sup>51</sup> Crónica. V. I, p.75.

<sup>52</sup> Crónica. V. I, p.210, 222, 365.

<sup>53</sup> Crónica. V. I, p.75, 166, 297-298.

- 
- <sup>54</sup> Crónica. V. I, p.76, 78.  
<sup>55</sup> Letra XI. P.55.  
<sup>56</sup> Crónica. V. I, p.131, 288.  
<sup>57</sup> Claros varones... P.93-94.  
<sup>58</sup> Сын маркиза Вильены, героя «Знаменитых мужей», и Алонсо Каррильо во время гражданской войны вошли в состав антикоролевской лиги и выступили против Католических королей вместе с португальским монархом, поэтому упоминание об их происхождении не случайно.  
<sup>59</sup> Claros varones... P.120.  
<sup>60</sup> Claros varones... P.115.  
<sup>61</sup> Claros varones... P.92, 120.  
<sup>62</sup> Fradejas Lebrero J. Op. cit. P.110; Letra XX. P.83.  
<sup>63</sup> Crónica. V. II, p.  
<sup>64</sup> Letra II. P.11-12.  
<sup>65</sup> Claros varones... P.97, 117, 124-125, 131.  
<sup>66</sup> Claros varones... P.95, 101, 118.  
<sup>67</sup> Claros varones... P.93.  
<sup>68</sup> Claros varones... P.91, 107.  
<sup>69</sup> Letra XIX. P. 82.  
<sup>70</sup> Claros varones... P.92-96. Letra XIII. P.59.  
<sup>71</sup> Letra IX. P.52.

**Номпар де Комон:  
путешественник и моралист XV в<sup>1</sup>.**

Человек XV столетия, о котором пойдет речь, до настоящего времени мало интересовал современных историков. Между тем, Номпар де Комон, сеньор де Капельно, де Капелькюлье и де Бербегьер, чьи владения располагались на юго-западе Франции (в Гаскони, Перигоре, Аженэ), путешественник и моралист, оставил три сочинения: «Книгу Комон» с наставлениями его детям, «Путешествие в Сантьяго-де-Компостелу и Нотр-Дам де Финистер», а также «Заморское путешествие в Иерусалим». Именно благодаря его трудам история сохранила о нем память.

В 1845 г. была опубликована забытая и вновь обретенная в архиве города Перигё «Книга Комон, в которой содержатся поучения сеньора де Комона, составленные для его детей в 1416 году»<sup>2</sup>. Издатель Ж. Гали полагал, что ее сочинил Гийом Раймон II для своих сыновей Нонпара и Бранделиса. Вскоре после этого в Британском музее в Лондоне был найден манускрипт, который содержал еще одну «Книгу Комон». Оказалось, что она включает «Заморское путешествие в Иерусалим» сеньора де Комона, к которому последней главой примыкает упомянутое выше поучение детям, а предпоследней – «Путешествие в Сантьяго-де-Компостелу и Нотр Дам де Финистер». Причем, упомянутую книгу для детей автор представляет читателям как «еще один нравоучительный рассказ, который я составил»<sup>3</sup>. Оба манускрипта – перигорский и британский – ведут свое происхождение из замка де Ла Форс, принадлежавшего наследникам-потомкам рода Комонов. Издатель британского манускрипта Эдуард Лельевр де Ла Гранж считал, что все эти сочинения были написаны одним лицом – сеньором Номпаром де Комоном<sup>4</sup>, который в тексте сам несколько раз называет свое имя – Номпар (а также – Нонпар, Нопер) и проливает свет на некоторые обстоятельства своей жизни.

В позднее Средневековье проводить досуг за сочинительством не было оригинальным времяпрепровождением в аристократической среде. Сеньоры развлекались сочинением стихов, поучений, трактатов об охоте. Номпар де Комон интересен, безусловно, не только тем, что рифмовал свои поучения и вел своеобразный «путевой дневник» и уж тем более не тем, что его мысли пока мало интересовали совре-

менных историков. На материале его сочинений было бы любопытно проанализировать индивидуальный выбор модели поведения и жизненных приоритетов конкретного человека XV столетия, чья жизнь пришлось на период Столетней войны.

Время, когда были составлены сочинения Комона, т.е. 1416-1420 годы, известно очередным активным завоеванием Франции англичанами и считается одним из наиболее суровых в истории конфликта, именуемого в историографии Столетней войной. В период, о котором идет речь, основные усилия англичан, и прежде всего короля Генриха V, по завоеванию Франции были направлены на Нормандию. В октябре 1415 года в битве у селения Азенкур на севере Франции англичане в очередной раз одержали победу над французским войском, превышающим противников по численности, но не согласованным в действиях. Хронисты писали о «гибели цвета французского рыцарства», причем среди погибших были как павшие на поле боя, так и – вопреки общепринятым рыцарским традициям - убитые по приказу короля в плену. В начале 1419 года «новая Гиень»<sup>5</sup> была полностью завоевана Генрихом V. Оккупировав полстраны, он не остановился на достигнутом. Вскоре в «приданое» за французской принцессой Екатериной он потребует практически всю Францию (1420). В юго-западной части страны, очаге многовекового противостояния Англии и Франции, у войны был свой особый оттенок. Зачастую общегосударственный конфликт служил здесь лишь предлогом для возобновления старых противоречий привычных к традиции частных войн южан<sup>6</sup>. К войне с соседями в начале XV века добавилась гражданская война бургиньонов и арманьяков, а также трагическая болезнь короля Карла VI, приведшая к длительному регентству разных по своим интересам людей и в конце концов к троевластию в стране (англичане – бургундцы – «буржский» дофин). Множество претендентов на французский престол практически разделили между собой королевство. Историк, на мой взгляд, не может не быть интересно поразмышлять над тем, почему в такое тяжелое время, наполненное бурными событиями, исход которых касался бы всех и каждого, благородный гасконский дворянин проводит время за написанием книг для своих детей, ездит в путешествия и не слишком торопится обратно.

Номпар де Комон родился в предыдущем XIV столетии, около 1391 года. Владение землями в зоне англо-французского конфликта вынуждало его семью так или ина-

че принимать участие в войне. Семья, связанная с враждующими семействами разного рода альянсами (например, одновременно с издавна спорящими за земли графами Фуа и Арманьяками), была втянута в частные феодальные конфликты. Владения нередко разорялись, а сами сеньоры Комон поддерживали попеременно то английскую, то французскую стороны<sup>7</sup>. В самом роду Комонов бывало, что один из родственников переходил на сторону неприятеля. Так, например, случилось в 1404 году, когда представитель младшей ветви Комонов, Жан де Комон, сеньор де Лозэн, поклялся в верности французскому королю, в то время как глава старшей ветви рода, сенешаль Аженэ Номпар де Комон, оставался верным подданным Генриха IV<sup>8</sup>. Таковы были реалии войны.

Номпар де Комон младший, сын сенешаля, воспитывался у своего кузена графа де Фуа и женился, видимо, рано, поскольку к 1416 году у него уже было несколько детей. О его жене сведения отсутствуют. В 1416 году он написал поучительное сочинение в стихах для своих детей. В следующем году отправился паломником в Сантьяго-де-Компостелу, а в 1418 г. совершил путешествие в Святую землю. У сочинителя было двое сыновей – Номпар и Бранделис, а также другие дети, о которых нам на данный момент практически ничего не известно. О старшем мы знаем, что он в уже сознательном возрасте поддерживал англичан, за что лишился земель, удалился в изгнание в Англию и умер там в 1446 году. Младший брат Бранделис, сначала поддерживавший вместе с ним английскую «партию», перешел в 1442 году на сторону французского короля, за что Карл VII вернул ему земли Комонов, а Людовик XI разрешил отстроить разрушенные замки<sup>9</sup>. Таким образом, о Номпаре де Комоне – авторе трех книг, мы знаем, по сути, лишь то, что он сам захотел нам о себе поведать.

Прежде чем начать разговор о книгах этого автора, стоит отметить интересную их особенность. Все сочинения гасконского аристократа и вассала английского короля написаны на франсийском диалекте французского языка (диалект Иль-де-Франса, историческая основа современного литературного французского языка). Текст не лишен некоторых англо-норманских заимствований<sup>10</sup>, но автор не использует (за редчайшими исключениями) провансальский язык, в ареале распространения которого он жил. Этот факт может свидетельствовать о том, что язык Иль-де-Франса к этому времени уже мог широко распространиться и достичь Юга Франции

или же, если мы вспомним, что французский в Англии продолжал считаться языком аристократии, то это может свидетельствовать лишний раз о политических симпатиях автора.

В 1416 году 25 лет от роду Номпар де Комон пишет наставление детям. Книга написана катренами<sup>11</sup>, однако предваряется прозаическим прологом, в котором по обыкновению средневековых произведений изложены цели, преследуемые автором. Он в духе традиции размышляет о порочности мира, за которую воздастся сполна в мире ином, и о смерти, час которой не знает никто. Предаваясь этим несвеселым раздумьям, Номпар вспоминает о «своих маленьких детях»<sup>12</sup>. Он пишет книгу наставлений, которая будет их поучать вместо отца, когда тот покинет мир. Сочинитель рассуждает, что хотел бы показать детям как «завоевать честь в миру и избежать страшных мук» в ином мире<sup>13</sup>. Любопытно, что, несмотря на несколько адресатов, в основном тексте автор обращается к читателю во втором лице единственного числа. Пролог книги указывает на щедрые заимствования из распространенной в то время «Книги поучений дочерям» Жоффруа де Ла Тура Ландри (1371-1372)<sup>14</sup>. Хотя зачин пролога написан в духе «весенней» традиции популярного «Романа о Розе», текст все же отсылает нас именно к сочинению Жоффруа. Комон цитирует отдельные фразы своего предшественника или использует его мысли, пересказывая их своими словами. В основном тексте явных цитат встречается меньше, но идеи рыцаря де Ла Тура (не всегда, впрочем, оригинальные) и там находят свое место.

Мысли о любви и служении Господу, о разумном поведении в этом суровом мире и обществе, полном грешниками, были актуальны и в 1371 году, когда Жоффруа де Ла Тур писал книгу для дочерей, и в 1416 году, когда за подобное сочинение для сыновей принялся Номпар де Комон. Как и Ла Тур, он просит молиться за умерших (р. 54), предостерегает сыновей от «болтунов» (р.13), советует самим не болтать попусту (р. 16), не сплетничать (р. 47), не спорить (р. 11), не быть завистливыми (р.9) и т.д. Используя в качестве образца текст Жоффруа де Ла Тура, он, тем не менее, не берет на вооружение логику предшественника: писать в прозе, дабы детям было доступно и понятно. Как уже говорилось, все его произведение написано в стихах, за исключением пролога. Однако Номпар – не слепой подражатель, а вполне самостоятельный, в духе своего времени, автор. Используя детали пролога «Книги поучений», он строит совершенно новый

по целям и общему настрою текст. Он отказывается от куртуазно-поэтической поучительности Жоффруа де Ла Тура – тем более, что мода на это к началу XV века уже прошла – и заменяет ее на религиозность в современном ему «макабрическом» духе. Он говорит о смерти, о «преходящей» жизни, о том, что рано или поздно все умрут и автор в том числе, а книгу он пишет, чтобы она заменила детям отца и поучала их вместо него<sup>15</sup>.

Однако в начале XV века у гасконского сеньора, чьи владения были подчинены английскому королю, находятся и отличные от наставлений сеньора XIV столетия советы детям. Номпар де Комон учит верно служить своему сеньору (р. 7), поступать так, чтобы быть любимым своими подчиненными (р. 28), не быть алчным и не гоняться за богатством (р. 9), а если оно имеется, не тратить его бездумно (р. 12), жить сегодняшним днем, не дожидаясь старости, «помнить о смерти» (р. 17); запрещает посещать таверны (р. 34) и советует, отправляясь в путешествие, не облагать земли непосильными поборами, чтобы не вернуться к «разбитому корыту» (р. 52). Советы вполне в духе времени, когда сеньоры менялись в зависимости от политической ситуации, лишались богатств и снова их обретали, а жизнь в условиях войны ценилась недорого. Вместе с тем, поучительное сочинение Номпара де Комона соответствует и духу литературы его времени. Его советы и размышления придают трактату тот особый макабрический дух, свойственный сочинениям XV столетия, который отличает его от куртуазной поучительности книги Жоффруа де Ла Тура.

За описание своего заморского путешествия, а также предшествующего ему паломничества в Сантьяго-де-Компостелу, Номпар де Комон берется вскоре после возвращения из Святой Земли в апреле 1420 года. В путешествие за море он отправляется, памятуя о мечте своего покойного отца увидеть места, где их предки героически сражались в Крестовых походах, за что были воспеты в *chansons des gestes*<sup>16</sup>. Кроме того, его мучает тяжесть собственных совершенных грехов, за что он жаждет просить у Господа прощения. Номпар заранее обдумывает свое путешествие. Собственно «путевому дневнику» предшествует перечисление распоряжений, которые он оставляет перед отъездом. Эта часть текста весьма информативна и сообщает об авторе не меньше, чем весь остальной текст. Покидая своих близких и верных ему людей, он просит их молиться за него,

отмечая кто, по каким дням, какие молитвы и сколько раз должен прочитать. Например, к женщинам своих земель («*gentils femmes et autres quelxconques de ma ditte terre*») он обращается так: «Соблаговолите молиться за меня до моего возвращения, каждую субботу, начиная со дня отъезда, читая семь раз *Ave Marie*... а если в субботу будет недосуг или не сможете этого сделать [по иной причине], то в воскресенье»<sup>17</sup>. Подобным наказам посвящено несколько пунктов его распоряжений.

В одном из пунктов своего послания он обращается ко всем своим близким, призывая их жить в «добром мире, любви, согласии и покое», не ссориться друг с другом, быть добрыми и верными друзьями, «поскольку из-за раздоров все несчастья приходят в мир»<sup>18</sup>. Если же между кем-то возник спор, и стороны не смогут прийти к согласию, Номпар де Комон приглашает решить спор при его дворе (*court*), где все разрешится по праву и справедливости. Если же результат и тут их не устроит, он предлагает дождаться его возвращения.

В Прологе «Заморского путешествия», который располагается между его распоряжениями и собственно описанием пути, Номпар уделяет много внимания грустным размышлениям о «нынешней» жизни, сравнивая ее с прошедшими временами. Его идеи не оригинальны, подобные размышления можно найти у многих авторов эпохи. Можно выделить несколько основных мыслей: 1. Ныне христиане убивают христиан; 2. Сосед идет войной на соседа; 3. Люди забыли Божьи заповеди; 4. В нынешнем мире честь продается; за деньги вассалы оставляют своих сеньоров. Эти идеи он развивает, пересыпая их цитатами из Писания (их он приводит на латыни и тут же переводит на французский), пословицами и поучительными историями. В отношении своего времени, как и большинство моралистов, он настроен весьма пессимистически. «Сегодняшний мир полон тревог», — пишет автор. Разногласия возникают неожиданно из-за зависти или плохих отношений. Если что-то случится в его отсутствие, он просит разрешать проблемы следующим образом. Во-первых, не торопиться и хорошо подумать; управлять делами мудро, чтобы не вызвать никакого возмущения; а также руководствоваться мыслью о Боге, разумом и идеей справедливости<sup>19</sup>. О беспрестанных военных конфликтах на родине Номпар вспоминает, рассказывая об острове Родос. Он повествует, что когда-то здесь жило много рыцарей, которые

сражались с сарацинами. По его мнению, для христиан лучше бороться с неверными, чем сражаться друг с другом<sup>20</sup>.

Как мы поняли, автор одобряет лишь один вид войны – Крестовые походы против неверных. Вместе с этим, он считает пагубным ведение войны на собственной территории, рассказывая на эту тему историю о старом волке, поучающем молодых. Он учит их опасаться одной вещи: «Если вы хотите жить без забот, не делайте своим домом то место, где хотите найти добычу»<sup>21</sup>. Следует остерегаться причинять зло людям на своей земле, особенно ближайшим соседям, делает вывод автор и прибавляет поговорку, которую он «часто слышал»: «У кого злой сосед – у того дурное утро»<sup>22</sup>. По его мнению, лучше иметь сто лишних ливров ренты и быть любимым народом, чем тысячу – и при этом день и ночь быть вооруженным<sup>23</sup>. Не намекает ли здесь автор на утвержденное договором в Труа (май 1420 г.) регента и наследника французского трона английского короля Генриха V, которому приходилось завоевывать свою новую страну, разрушая все на своем пути, и чью политику по причине вассальной верности Номпар должен был поддерживать?

То, что Номпар видит вокруг, приводит его к неутешительным выводам. Люди не следуют заповеди Господа («Возлюби ближнего как самого себя»). С их сердцами, настроенными на зло и коварство (*barat*), им заказан путь в Царствие небесное<sup>24</sup>. Не удивительно, что, видя грех в душах и делах современников, он обращает свои мысли к прошлому. Короли, принцы и бароны прошлых времен строили монастыри и церкви (что для него является основополагающим фактором их добродетели)<sup>25</sup>. Его собственные предки участвовали в справедливой войне – Крестовых походах; об их героических подвигах он слышал в *chansons des gestes*. Как мечтал его отец, Номпар сам хочет пережить заново это прошлое – прошлое добродетельных сеньоров, отстаивающих веру, о которой забыли ныне его современники. Такую возможность ему предоставляет путешествие в Святую землю. Для него это настолько важно, что он оставляет маленьких детей и жену, которую сильно любит, чтобы отправиться в длительное и довольно опасное путешествие.

Номпар де Комон – очень религиозный человек, он посещает все церкви, которые встречаются на его пути, слушает мессы, много молится. Однако у него была и иная цель в Иерусалиме, о которой он не сразу сообщает читателям. В субботу, 8 июля 1419 года у Гроба Господня один из его дру-

зей, Санчо де Шо, со всеми полагающимися ритуалами посвящает Номпара в рыцари<sup>26</sup>.

Путешествие заняло у Номпара де Комона немногим больше года. В книге он рассказывает, какие реликвии видел, передает услышанные античные мифы и легенды, интересуется «достопримечательностями» и невиданными вещами, вроде процесса производства сахара в Палермо (р.117). Путь домой оказался опасен, на море их преследовали штормы, и Номпар с верными людьми, которые сопровождали его всю дорогу, предпочитали пережидать непогоду на суше. Так, например, на Сицилии они были вынуждены провести два месяца, ожидая благоприятных для путешествия условий. Надо сказать, что вся компания не скучала. Они провели это время в замке сеньора де Сент-Коломб, который когда-то воспитывался в Комоне у отца Номпара де Комона. Они охотились, развлекались. Автор признается, что никогда не проводил так весело время<sup>27</sup>. После чего его, видимо, стала мучить совесть, поскольку следующий лист он посвящает воспоминаниям о своей супруге, которую он нежно любит и даже видит во сне<sup>28</sup>. В своем заморском путешествии Номпар не забывает своих близких и привозит сундук с подарками, содержимое которого он подробно перечисляет в конце книги. Это редкие ткани, в больших количествах кошельки, ножи, перчатки, изделия из драгоценных и полудрагоценных камней (в основном религиозного значения): кольца, четки, кресты. Особенность этих сувениров была в том, что они, так или иначе, прикасались к Гробу Господню, в том числе четыре заморских розы, которые он привез в кипарисовом сундуке. Как пишет автор, эти драгоценные вещи были предназначены в подарок жене, а также дамам и сеньорам его земель.

Номпар де Комон возвращается домой в апреле 1420 года. Ситуация в стране тяжелая. Длительное перемирие в Гаскони наступит лишь после 1422 года<sup>29</sup>. Автор сопоставляет свое мироощущение с окружающей его реальностью. Наблюдаемые им противоречия весьма печальны для него. Он берется описать свои странствия и сопутствующие им размышления в книге. Путешествие в Иерусалим дало ему возможность выполнить то, о чем он давно мечтал: посетить героические места, связанные с памятью его семьи; быть посвященным в рыцари у Гроба Господня; молиться на Святой земле, а также, наряду с этим, подумать о прошлом и нынешнем и, возможно, определиться в своем отношении к нему.

<sup>1</sup> Статья подготовлена при финансовой поддержке La Fondation MSH (2006).

<sup>2</sup> Le livre Caumont, ou sont contenus les Dits et Enseignements du seigneur de Caumont composés pour ses enfans l'an mil quatre cent XVI. / Ed. J.Galy. P., 1845. Автор называет книгу своим именем в соответствии с традицией XV в. Подобным образом озаглавлены книги Антуана де Ла Салля «Салад», «Саль», а также историческая компиляция «Букешардьер» Жана де Курси, сеньора де Бург-Ашар.

<sup>3</sup> Voyage d'outremer en Jherusalem. / Ed. E. Lelievre de La Grange. P., 1858. P.2.

<sup>4</sup> Voyage d'outremer ... P. VIII.

<sup>5</sup> Seward D. The Hundred Years' War. The English in France. 1337-1453. L., 1978. P.179.

<sup>6</sup> Vale M.G.A. English Gascony 1399-1453. A Study of War, Government and Politics during the later stages of Hundred Years' War. Oxford, 1970. P.171.

<sup>7</sup> Voyage d'outremer ... P.IX.

<sup>8</sup> Vale M.G.A. English Gascony...P.205-206.

<sup>9</sup> Voyaige d'outremer... P. XVII-XIX.

<sup>10</sup> См. об этом: Noble P. Some traces of anglo-norman influence in early fifteenth-century Agenais // Medium aevum. 1977. Vol. XLVI. № 2.

<sup>11</sup> Катрен (франц. quatrain) – законченная по смыслу отдельная строфа из четырех строк.

<sup>12</sup> Le livre Caumont... P. 3-4.

<sup>13</sup> Le livre Caumont... P. 5.

<sup>14</sup> Крылова Ю.П. Жоффруа де Ла Тур Ландри: автор и общество в позднесредневековой Франции. Автореферат на соискание... к.и.н. М., 2006. С.20.

<sup>15</sup> Le livre Caumont... P.4-5.

<sup>16</sup> Voyaige d'outremer... P. x.

<sup>17</sup> Voyaige d'outremer... P.7.

<sup>18</sup> Voyaige d'outremer... P.11.

<sup>19</sup> Voyaige d'outremer... P.5-6.

<sup>20</sup> Voyaige d'outremer... P.43-44.

<sup>21</sup> Voyaige d'outremer... P.20.

<sup>22</sup> Voyaige d'outremer... P.21.

<sup>23</sup> Ibidem.

<sup>24</sup> Voyaige d'outremer... P.21-22.

<sup>25</sup> Voyaige d'outremer... P.20.

<sup>26</sup> Voyaige d'outremer... P.50-51.

<sup>27</sup> Voyaige d'outremer... P.109.

<sup>28</sup> Voyaige d'outremer... P.109-110.

<sup>29</sup> Vale M.G.A. English Gascony... P.188.

**Научное издание**

**Человек XV столетия: грани идентичности**

**Утверждено к печати  
Институтом всеобщей истории РАН**

**Л.Р. ИД № 01776 от 11 мая 2000 г.**

**Подписано в печать  
Гарнитура Таймс. Объем – 18,81 п.л.  
Тираж 250 экз.**

---

**ИВИ РАН. Ленинский пр., д. 32а**

